

За возрождение Урала

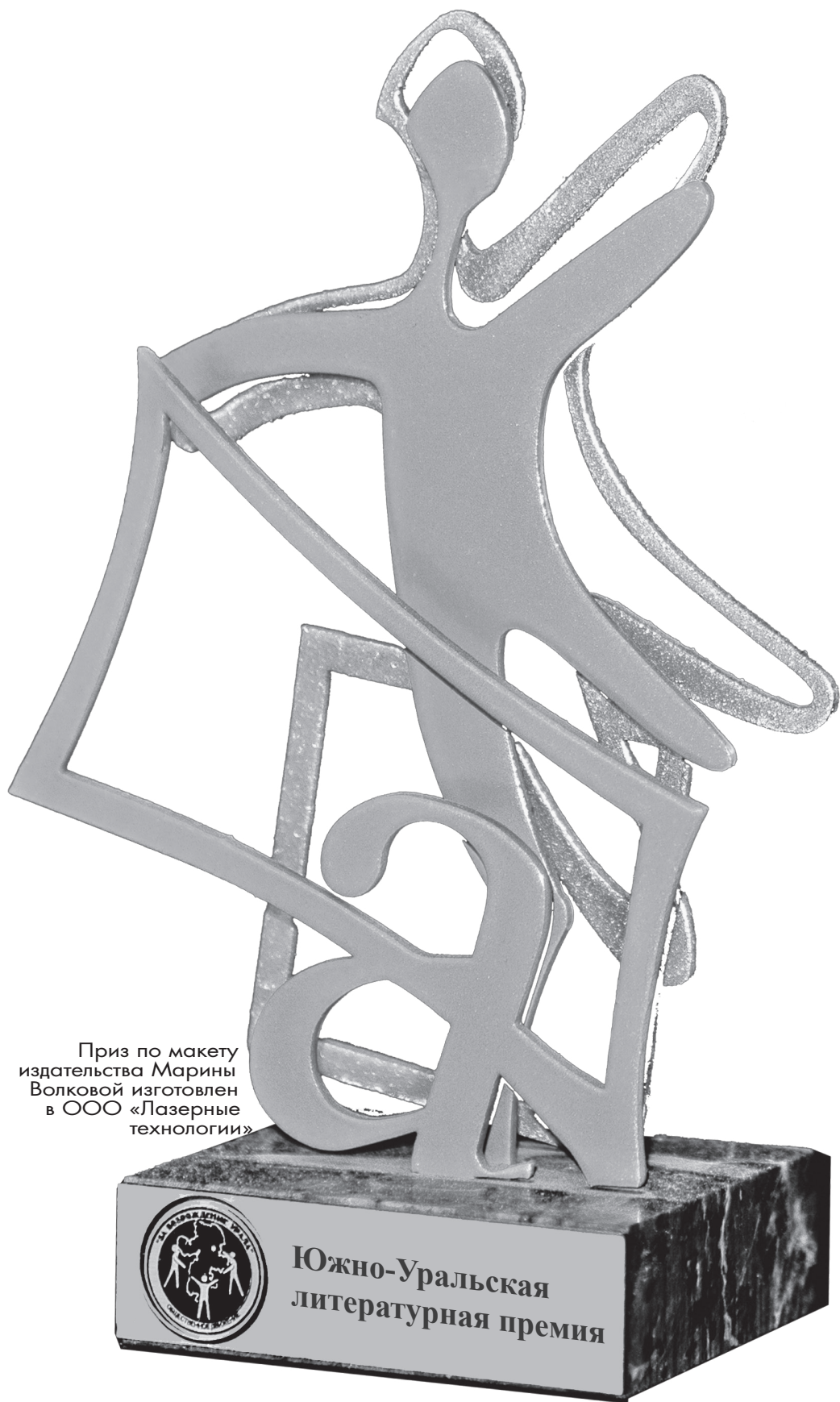
УРАЛЬСКАЯ ЛИНИЯ

литературно-художественный альманах
Южного Урала

№ 2

Челябинск

2014



Приз по макету
издательства Марины
Волковой изготовлен
в ООО «Лазерные
технологии»



Южно-Уральская
литературная премия

Уральская линия

Литературно-художественный альманах

№ 2. 2014 г.

УЧРЕДИТЕЛЬ
И ИЗДАТЕЛЬ:

**Челябинское
областное
общественное
социально-правовое
движение
«За возрождение
Урала».**

Главный редактор
Анна БЕЛЕШЕВА
Редакционная
коллегия:

Нина ЯГОДИНЦЕВА,
председатель жюри
Южно-Уральской
литературной премии,
поэт, переводчик,
литературный критик,
член Союза писателей
России;

Андрей РАСТОРГУЕВ,
поэт, переводчик,
публицист, член Союза
писателей России;

Ирина ГУДОВИЧ,
заслуженный работник
культуры РФ, директор
Челябинской областной
универсальной
научной библиотеки;

Кирилл ШИШОВ,
писатель, краевед,
кандидат технических
наук, заслуженный
работник культуры РФ,
член Союза Российских
писателей;

Михаил СТРИГИН,
участник движения
«За возрождение
Урала», кандидат
физико-математических
наук;

Анна БЕЛЕШЕВА,
первый заместитель
руководителя
аппарата движения
«За возрождение
Урала», главный
редактор газеты
«Возрождение Урала».

Оформление и вёрстка
Владимира Курбатова



Борис ДУБРОВСКИЙ,
исполняющий обязан-
ности губернатора
Челябинской области

Уважаемые читатели!

Южно-Уральская литературная премия сравнительно молода, вручается в третий раз, но уже стала знакомым культурным событием в жизни Челябинской области. Она служит хорошим перекрёстком для людей творческих, чьим самовыражением стало Слово, вобравшее в себя богатые традиции русской литературы, ценности и нравственные принципы отечественной культуры, удивительное своеобразие и историю родного края.

Ежегодно на премию представляется свыше 150 произведений: стихи, проза, литература для детей, краеведение и публицистика. По авторам можно изучать географию Южного Урала во всем её разнообразии. Одни имеют богатый литературный опыт, изданные книги, многочисленные публикации. Другие только начинают свой творческий путь, и премия послужит им хорошей поддержкой.

Альманах «Уральская линия» представляет творчество номинантов и победителей Южно-Уральской премии. Даст возможность познакомиться с многогранным литературным процессом, с темами и проблемами, которые волнуют наших современников. Уверен, что Южный Урал даст ещё немало поводов для глубокого художественного осмысления нашей жизни.



Денис РЫЖИЙ,
первый заместитель
председателя областного
Совета, руководитель
аппарата движения
«За возрождение Урала»

Дорогие друзья!

Очень важно, что Правительство страны определило культуру приоритетным направлением 2014 года. На Южном Урале уже не первый год проходит конкурс на соискание Южно-Уральской литературной премии. Этот творческий конкурс является актуальным отражением литературной жизни в Челябинской области. Южно-Уральская премия сегодня по праву считается одной из самых престижных литературных наград на Урале. Связь поколений, связь эпох, верность традициям родного края, высокий общественный статус – вот что отличает эту премию от многих других. Учреждая Южно-Уральскую литературную премию, областное движение «За возрождение Урала» ставило целью не только поддержать творческих людей – прозаиков, поэтов, драматургов, – но и поднять престиж книжного чтения, особенно среди молодежи, и вывести литературу Южного Урала на новые рубежи.

Ещё один знаковый момент Премии прошедшего года – у неё появился собственный литературный альманах «Уральская линия». В этом году в свет выходит второй выпуск литературного альманаха. Для признанных мастеров слова и для молодых, ярких и талантливых авторов Челябинской области альманах стал ещё одной творческой площадкой для самовыражения.

Я приношу слова признательности оргкомитету, членам жюри и всем участникам конкурса на соискание Южно-Уральской литературной премии. Спасибо вам за творческие порывы, яркие находки, неравнодушие к судьбе родного края. Все вместе мы вносим неоценимый вклад в улучшение имиджа Южного Урала.

Яркая и интересная история Южно-Уральской литературной премии продолжается.

СОДЕРЖАНИЕ

Южноуральская литературная премия — 2013 6

Фотомгновения 8

ЛАУРЕАТЫ

Литературное краеведение

Майя Дудко. **Люблю великую любовь.**
Глава из книги «Обретение поэта» 9

Проза

Сергей ПОЛЯКОВ. **Рассказы** 23

Светлана ЧУРАЕВА. **Чудеса несвятой Магдалины** 41

Поэзия

Юрий СЕДОВ. **По реке времени.** Стихотворения 55

Проза. Талантливая молодёжь

Анастасия КОЛЬЦОВА. **Умереть за Христа.** Повесть 63

Поэзия. Талантливая молодёжь

Елена ЕГОРОВА. **Камни в гор-ле.** Стихи 127

КОРОТКИЙ ЛИСТ

Проза

Анатолий АФОНИН. **Стечение обстоятельств.** Фантастическая повесть 165

Поэзия

Ольга ГРИГОРЬЕВА. **Река и речь.** Стихи 133

Вадим БОГДАНОВ. **Если бы я был...** Стихи 183

Проза. Талантливая молодёжь

Виктория ИВАНОВА. **Морские камни.** Миниатюры 191

Поэзия. Талантливая молодёжь

Юлия ЛИННИКОВА. **Стихи** 168

Роман ЯПИШИН. **Стихи** 189

ДИПЛОМ ПРЕМИИ

Надежда КАПИТОНОВА. Юрий Либединский . Очерк	15
Александр ПОПОВСКИЙ. Главное останется за скобками . Стихи	143
Александр МИШУТИН. Ясным днём, зарёй вечерней... Главы из повести	147
Марина ЮРИНА. Радужный ветер	199
Геннадий БРОДЯГИН. Хлебушко . Главы из книги	201

ЮЖНОУРАЛЬСКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ — 2013

ЛАУРЕАТЫ:

● **ПОЛЯКОВ Сергей Алексеевич**, прозаик, член Союза писателей России; живёт в городе Верхнем Уфалее; автор шести прозаических книг — «За одухотворение глубинной жизни Урала в сборнике прозаических произведений „По последнему льду“». (Номинация «Проза»).

● **ЧУРАЕВА Светлана Рустэмовна**, прозаик, член Союза писателей России; живёт в Уфе, работает заместителем главного редактора журнала «Бельские просторы» — «За искусный сплав эксперимента и традиции в рассказе „Чудеса несвятой Магдалины“». (Номинация «Проза»).

● **АРГУТИНА Ирина Марковна**, автор семи поэтических сборников, лауреат ряда литературных конкурсов, член редколлегии международного поэтического альманаха «45-я Параллель» — «За поэтическое мастерство и стойкость в книге стихотворений „На честном слове“». (Номинация «Поэзия»).

● **СЕДОВ Юрий (Юрий Фридрихович Фоос)**, поэт, автор многих поэтических книг, член Союза российских писателей, лауреат литературной премии имени П. П. Бажова — «За глубину духовной гармонии в книге стихотворений „Планета судьбы“». (Номинация «Поэзия»).

● **ДУДКО Майя Борисовна**, заслуженный учитель Российской Федерации, отличник просвещения — «За историко-литературоведческое исследование жизни и творчества поэта Михаила Чучелова в книге „Обретение поэта“». (Номинация «Литературное краеведение и публицистика»).

● **КОЛЬЦОВА Анастасия Сергеевна**, молодой поэт и прозаик из Оренбурга (ныне живёт в Серпухове); лауреат ряда литературных конкурсов; студентка Оренбургского педагогического университета — «За продолжение традиций художественного реализма и духовного поиска в повести „Умереть за Христа“». (Номинация «Проза. Талантливая молодёжь»).

● **ЕГОРОВА Елена**, студентка филологического факультета Челябинского государственного педагогического университета — «За поэтическую экспрессию в книге стихотворений „Камни в гор-ле!“». (Номинация «Поэзия. Талантливая молодёжь»).

ШОРТ-ЛИСТ ПРЕМИИ:

● **ТАЁЖНЫЙ Николай**, инженер-геофизик, автор двух книг прозы, член Союза писателей России; **АФОНИН Анатолий**, инженер-радиотехник, прозаик-фантаст, член Союза писателей России; **ЧЕРНОЗЕМЦЕВ Владимир**, прозаик, член Союза писателей России, лауреат литературной премии имени Д. С. Мамина-Сибиряка (Номинация «Проза»).

БОГДАНОВ Вадим, уфимский поэт, лауреат многих всероссийских литературных конкурсов; **ГРИГОРЬЕВА Ольга** (Казахстан), журналист, поэт, автор 14 поэтических книг, десяти книг для детей. (Номинация «Поэзия»).

ИВАНОВА Алёна, студентка Павлодарского государственного педагогического института; **ИВАНОВА Виктория**, студентка Челябинского государственного педагогического университета, участница межвузовского литературного форума имени Н. С. Гумилёва «Осиянное слово». (Номинация «Проза. Талантливая молодёжь»).

МОСТОВОЙ Владимир, спортивный журналист, обозреватель «Новой газеты»; **МОИСЕЕВЫ Александр, Валерий и Дмитрий**, уроженцы города Златоуста. (Номинация «Литературное краеведение и публицистика»).

ЛИННИКОВА Юлия, выпускница Уральского государственного университета физической культуры, преподаватель, переводчик; **ЯПИШИН Роман**, выпускник факультета экономики и управления ЮУрГУ. (Номинация «Поэзия. Талантливая молодёжь»).

ИГНАТОВСКАЯ Елена, прозаик выпускник литературного семинара «Мастер-класс» (Алма-Ата), победитель республиканского (Казахстан) куонкурса фонда «Бобек» за лучшее произведение для детей, золотой лауреат конкурса «Русский стиль — 2012», дипломант конкурса «Золотое перо Руси — 2009»; **СЕРЕДА Андрей**, прозаик, выпускник филологического факультета Челябинского педагогического института; **ЮРИНА Марина**, учитель биологии и обществознания в Челябинской школе № 67 при ЮУрГУ, автор пяти сборников стихотворений для детей, член Союза писателей России. (Номинация «Литература для детей»).

ОТМЕЧЕНЫ СПЕЦИАЛЬНЫМИ ПРИЗАМИ:

ДЫШАЛЕНКОВА Римма. («За создание образа Южного Урала в книге „Я живу на Урале“»).

КАПИТОНОВА Надежда. («За самоотверженную верность литературе и разработку методик её изучения в серии книг „Литературное краеведение“»).

ПОПОВСКИЙ Александр. («За лирико-драматическое осмысление современности в книге стихотворений „В шаге от райских ворот“»).

МИШУТИН Александр. («За сохранение ярких черт русского слова и народной культуры в книге „Ясным днём, зарёй вечерней“»).





Майя
ДУДКО



ОБРЕТЕНИЕ ПОЭТА

Глава 9

«Люблю великою любовью»

*Небо здесь высоко И озера сини.
И любовь глубока К матушке России.*

Ася Горская

Книга «Обретение поэта»* посвящена жизни и творчеству Михаила Чучелова — юного челябинского поэта, уральского самородка, прожившего до боли короткую жизнь. Он — автор «Утренника», первого поэтического сборника, изданного в Челябинске, и единственного, вышедшего в 1918 году.

«Сборник моих стихов стоил их автору слишком дорого, — пишет юноша, которому только исполнилось 20 лет. — Целых пять лет, полных сомнений, мучительных раздумий, исканий, радостей и разочарований прожито в полном уединении и замкнутости». Откуда у 16-летнего мальчика из провинциального захолустья великая жажда к самовыражению, к душевной раскованности, непостижимая любовь к Слову? Перелистывала трудно читаемые страницы: многие буквы не пропечатаны, есть пропуски слов, но оторваться не могла... Погружаешься в начало XX века — в лирический мир, полный светлых образов и трагических предчувствий:

*Я живу строкой напевной,
Вольной трелью соловья,
Хлопотливой, хрупкогневной
Струйкой светлого ручья*

1918г.

М. ДУДКО

* С этой книгой заслуженный учитель РФ Майя Борисовна стала лауреатом Южно-Уральской литературной премии 2013 года в номинации «Литературное краеведение». Публикуем только одну, девятую главу.

Тема Родины была основной в лирике русских поэтов. О чём бы ни писали они, образ родной земли, природа, исторические события, общественные перемены становились источниками вдохновения.

Любовью к природе, жизни, творчеству наполнены и многие стихи Михаила Чучелова. В удушливой атмосфере жизни они были трогательным напоминанием о вечном — Бог, природа, красота, любовь... В стихотворении «Я живу...» (1918) взгляд поэта-художника охватывает и землю, и небо. Под его пером картины природы оживают, наполняясь богатством красок, звуков, запахов:

*Я живу лобзаньем розы,
Ароматным вздохом зорь,
Тучкой, выронившей слезы,
Солнцем, выткавшим узор.
Я живу зазывным звоном
В небе реющих зарниц,
В полусумраке зелёном,
Переливным пеньем птиц.
Я живу строкой напевной,
Вольной трелью соловья,
Хлопотливой, хрупкогневной
Струйкой светлого ручья...*

На звучном стихотворении лежит печать изящества, гармоничности, талантливости. Оно наполнено нежным восхищённым отношением к окружающему миру. Мы чувствуем взволнованность души лирического героя, радостное ощущение собственного «я». Четыре чудесных метафоры! У поэта пространственное видение мира — вертикаль: роза, заря, туча, солнце. Лексическая анафора «Я живу» помогает ощутить полноту счастья лирического героя. Мироощущение поэта — гармония природы и космоса. Музыкальность, богатство аллитераций, цветовая и звуковая гаммы — отличительные черты. Это стихотворение можно считать программным в лирике Чучелова, а его — поэтом космическим, то есть несущим божественный свет, отзывчивым к красоте природы, чутким и внимательным к слову. Нас и сегодня поражают свежесть, неожиданность его образов, картинность, звучность, музыкальность. Не случайно это стихотворение легло на музыку.

Михаил Чучелов, как и другие поэты «серебряного века», мучительно размышлял о судьбе России, о её прошлом, настоящем и будущем. Родина, Россия — понятие общее и вместе с тем конкретное; грандиозное, но в то же время глубоко личное, интимное для каждого художника. Любовь к Родине М. Чучелова неоднозначна, он не может всё принять в своём отечестве. Стихотворение «Родине» (Челябинск, 1918 г.) объединяет в себе социальную тему, мотивы природы, любви, патриотизма.

*Не мил мне твой наряд убогий,
Одежды пышные господ,
Великолепные чертоги
И на вселенские дороги
Вступивший робко твой народ.
Люблю великою любовью
Я ширь нескошенных полей,*

*Избушки, крытые к зимовью,
И сказки медленных ночей.
Люблю берёзки и осины,
Ненастный, тихий, скучный день,
Узор из тонкой паутины,
И клёкот царственно-орлиный,
И всюду разлитую лень.*

С первых строк возникает аналогия со стихотворением М. Ю. Лермонтова. Такая же контрастная картина: «наряд убогий» и «одежды пышные господ», «великолепные чертоги» и народ, «робко» вступивший на «вселенские дороги», — можно сказать, космический характер изменяющейся эпохи отразился в этих строчках. И художественный приём изображения Родины одинаков: от большого к малому — сужение.

Во второй и третьей частях поэт пишет самое главное — о России, её природе, национальном характере.

Поэт открыл нам свою душу, высказал самое сокровенное. Конечно, стихотворение писалось в 1918 году, и это время не могло не отразиться в творчестве поэта. «Убогий наряд», «кровь», однообразная, бедная жизнь — это непостоянные черты России. О своей любви к Родине М. Чучелов говорит: «Люблю великою любовью...» Какой видится она ему? — «ширь нескошенных полей», «снега, не залитые кровью», «избушки, крытые к зимовью», «сказки медленных ночей». Образ Родины ассоциируется у него прежде всего с довольством, миром, поэзией и, конечно, с родной природой, пусть неяркой, как бы погружённой в сон, застывшей.

Эпитет «царственно-орлиный» и метафора «всюду разлитая лень» характеризуют русскую жизнь. В стихотворении единственный глагол, который повторяется дважды, — «люблю». Любовь поэта несомненна. Не любя народа и Родины, нельзя писать с такой искренней болью. Михаил Чучелов знал поэзию Лермонтова, Некрасова, Блока, и это сближает его стихотворение с творчеством классиков. Стихотворение «Ветерок» навеяно событиями русской революции. Если у А. Блока ветер — разгул стихии, то у Чучелова — ветерок — вызывает радость, веру в возможность преобразования существующего порядка.

Ветерок

*Легкий вольный ветерок
Нам лепечет бльз за бльзью,
Ткет узоры тонкой пылью
И размашистой кадрилию*

*В танце гибком мнет снежок.
В непрерывном, вольном беге
Струйки смелые ловлю,
В высь бросаю, тороплю,
Гонки звонкие люблю,
Оставляя след на снеге!..»
И стихийный, непонятный,
Белокурый, молодой,
Ветер, мощный, удалой,
С неба павшею звездой
Мчится в дали
необъятной.*

Весна. 1918 г.

Музыка стиха радостная, лёгкая, быстрая, передаётся яркой метафорой и легко ощущается слухом: движение ветра выражено в глаголах, которые так зримо его передают («лепечет», «ткёт», «мнёт», «мчится»), в существительных («бег», «гонки») и эпитетах — прилагательных (ветерок «белокурый», «молодой» превращается «в ветер мощный, удалой»). Ликующее чувство восторга, которое испытывает лирический герой, передаётся читателю.

Для М. Чучелова понятие «Родина» связано с крестьянским трудом. С какой любовью, знанием, мастерски он описывает сенокос в стихотворении «Серп»

Серп

*От межи и до межи
Ходит, бродит серп во ржи,
Стелет тонкой пеленой
Рожь над сонною землёй.
Сноп сплетает за снопом,
Точно строит малый дом;
За копной спешит копну
Ставить в поле. Не одну —
Много выставил копён,
Как бойцов со всех сторон,
И любитесь на них,
Каждый путник, если тих
И спокоен вечер дней
Грустной осени полей.*

1917 г.

Стихотворение кинематографично: мы ясно видим несколько картин. В основе — олицетворение, образ, имеющий самостоятельное предметное значение. Интересен звуковой строй: слова с фонемой [— ж] вызывают в нашем сознании звук серпа, срезающего траву. Поэт любит искусной работой крестьянина, который сметает сено в копны, «точно строит малый дом». Только сравнение «как бойцов со всех сторон» напоминает военное время. Живописны, пластичны эти картины, оптимизмом, спокойствием веет от них. Родной, близкий пейзаж — символ любимой Родины. С уважением и любовью описывает М. Чучелов нелёгкий крестьянский труд в стихотворении «Крестьянину».

*На поляны и на доли
И в весну, и в летний жар
Выходи на труд тяжёлый,
Славно вынесши удар.*

Выходи в поля с кошиницей,
 В землю кинь своё зерно —
 Колосистою пшеницей
 Будет к осени оно.
 Соберешь его в овины,
 Сложишь в закромы, в амбар —
 Не страшен тогда судьбины
 Непредвиденный удар!
 Будет спорен труд упорный,
 Не ужасен будет враг —
 Не по сердцу мир позорный
 Кровь пролившему за шаг!
 С хлебом в закромах амбара
 Будет биться до конца;
 У всемирного пожара
 Не видать еще конца.

«Утро Сибири», 30 июля 1918 г.

Лирический герой смотрит на действительность глазами крестьян. Не жалобы на тяжёлую жизнь, не упрёк, а понимание и вера в свои силы, в победу мира и труда. Стихотворение написано классическим размером — четырёхстопным ямбом с пиррихием, «выразительным, живописным, сабельным, ударным», который помогает передать мысли автора. Чёткий ритм, призывная интонация, бессоюзие, повторы, отсутствие эпитетов усиливают выразительность. Метафора «всемирного пожара», а у А. Блока «мирового пожара» подчёркивает тяжёлые длительные испытания, предстоящие России.

Для Михаила Чучелова Родина — это не только природа родного края, но и любовь, красота, тёплые воспоминания детства. Песня матери... умиротворяющая, светлая, монотонная — колыбельная песня. В ней отражается, что есть в душе матери лучшего, возвышенного, характер её чувств, заботы и тревоги. Пронизанная любовью, песня близка устному народному творчеству. Это всегда чистый источник, испить из которого — значит, прикоснуться к своим корням, поэтому «Колыбельная» (Омск. 1915 г.) есть у многих поэтов: М. Лермонтова, А. Майкова, Н. Некрасова, В. Брюсова, К. Бальмонта, М. Чучелова. О детях в «Утреннике» всего два стихотворения, причём написаны они семнадцатилетним поэтом. Стихотворение «Колыбельная песня», вероятно, было создано под влиянием нежного воспоминания, когда мать напевала ему колыбельную.

Спи, сыночек дорогой,
 И мани к себе покой.
 Сладкий сон, спокойный сон —
 Нам дороже жизни он;
 Спи, сыночек, засыпай,
 Ты во сне увидишь рай...
 Видишь, ты весь просветлел —
 Значит, ангела узрел.
 Он с небес тебе принёс
 Два букета пышных роз;
 Первый был составлен им,
 А второй — Творцом Самим.
 Ты букеты те храни
 Под покровами души:
 В золотой оправе снов
 Видим редко мы богов.
 Спи же, сын мой дорогой,
 И мани к себе покой:

*Сладкий сон, спокойный сон —
Нам дороже жизни он.*

Несмотря на лермонтовские и некрасовские мотивы, здесь ясно звучит собственный голос автора. С одной стороны, стихотворение романтично, но с другой — лирического героя беспокоит быстротечность жизни. Написанная четырёхстопным хореем, с кольцевой композицией, с повтором слов, в духе народной песни, «Колыбельная» не только убаюкивает малыша, но и желает ему сохранить в душе светлые образы «богов в золотой оправе снов», которые так часто покидают нас вместе с детством.

Поэтическое восприятие жизни, всего окружающего нас — величайший дар. Если человек не растеряет его на жизненном пути, то он поэт. Поражает, как юноша смог передать красоту материнских чувств в своеобразной колыбельной, близкой фольклору.

Стихотворение «Кудряшки» (1916 г.) отличается от предыдущего. Настроение у него радостное, жизнеобещающее, игривое.

*Золотистые кудряшки
Золотистым гребешком
У малютки-замарашки
Мать чесала вечерком.
Золотистый гребешочек —
Золотистый луч луны,
Замарашка — ручеёчек,
А кудряшки — бес волны.
Мать — луна, склонясь к дитяти,
Золотистым гребешком
Принимается чесати
Кудри в сумраке ночном.*

Стихотворение близко к народной теме и по жанру, и по языку и характерным повторам слов: «золотистый», «кудряшки», «гребешочек», «замарашка», глагол «чесать», к тому же употреблённый в древнерусской форме. Исключительную по своему значению роль в стихотворении играют различного рода повторы: аллитерации, ассонансы, слова, выражения, в результате чего достигается музыкальное звучание. Сколько любви, тепла, красоты в нём! Насколько тонкая у поэта душа, способная передать, извлечь из детской памяти теплоту и нежность материнского сердца.

Трепетным чувством сыновней любви к Родине проникнуто стихотворение «Земле», написанное летом 1918 года. Это взгляд из космоса на Землю.

*Облечённая тайнами грёзными,
В зачарованном круге планет,
В танце длительном медленных лет
Мчишься ты меж просторами звёздными,
Завершая заходом рассвет.*

*И, покорный твоим чарованиям,
Я — трепещущий раб — властелин —
На печальном кладбище руин
Предаясь шепотливым рыданиям,
Полный счастьем и горем твоим.*

*Я — твой сын!
Ты мне мать бесконечная!
И, припав в отдыхающей мгле,*

*Слышу твой поцелуй на челе
И молю, чтобы мудрость извечная
Вольно жить нам дала на земле.*

В стихотворении звучат державинские мотивы: Земля — часть мироздания, а человек — песчинка, трепещущий «раб — властелин». Лирический герой находится в бесконечном открытом пространстве мира — «небо» и «земля».

«Полный счастьем и горем» своей Земли, радуется и страдает, не теряя надежды на торжество мудрости и любви. Стихотворение чарует тонкостью восприятия, поэтичностью, красотой. Всё богатство словесной живописи, а также трёхсложный «задумчивый» анапест помогают передать необычайно притягательный образ Земли, близкой и в то же время такой далекой, загадочной. Поэт выделяет ее среди других планет, одушевляя и наделяя материнской любовью. Чувство близости лирического героя и природы часто приобретает характер космизма. Отсюда появление в стихотворении образа звёздного неба, в котором растворяется человек, «*тот голос над землёй летит в ночи, как будто бы о помощи кричит*» (А. Горская).

Это — элегия, похожая на песню, нежную, воздушную, самую создающую музыку. «Кто равен мне в моей певучей силе»? — спрашивал Бальмонт. Чучелов тоже обладал певучей силой.

Поразительно появление на фоне экономических и хозяйственных проблем текущего дня этого проникновенно-лирического стихотворения М. Чучелова, напечатанного в сельскохозяйственном и кооперативном журнале «Земля» под названием «Посвящение земле» 1 ноября 1918 года. Удивительна и следовавшая далее статья, которая интересна не только по содержанию, но и стилю, характерному для того времени. Челябинск. 1 октября 1918 года. Ощутим напряжённую атмосферу в Челябинске в разгар Гражданской войны.

«Настоящий номер журнала “Земля” первый после ухода большевиков с политической арены.

Исключительные условия вызвали отступление от программы, которую журнал себе наметил, это временное уклонение.

Скептики и неврастеники изуверились в настоящее России, изуверились и в будущее, и их притупленный слух не чувствует того, что ростки жизни уже появились, что шорохи жизни, как начинающийся морской прилив, идут и медленно, но мощно нарастают.

...Это действительно прилив со свежим, здоровым ветром; слышно, как он крепнет и устанавливается.

Ловцы, готовьте свои челны, осмотрите хорошенько паруса, твёрже руку, вернее глаз.

Быть может, свежий ветер перейдёт в бурю, но твёрдая рука и верный глаз вынесут чёлн в надежную пристань, и гордо забьётся смелое сердце, и радостью засверкают зоркие очи.

Мы тоже рыбаки жизни, мы тоже подобны смелым мореходам, подобны и мудрым политикам, и нам, пишущим о жизни, пишущим её историю и проникающим вперёд, также нужны твёрдая рука, верный глаз и чуткое ухо».

Этот очерк представляет обзор политических настроений в Челябинске 1 октября 1918 г., написанный в аллегорическом и поэтическом стиле. Он проникнут чувством обновления жизни и верой «в настоящее России и в её будущее».

Родина в стихах М. Чучелова раскрывается в различных ракурсах и аспектах — историческом, бытовом, «народном духе» и космическом. Это многокрасочный, многозвучный, таинственный мир поэта.

Чувство любви к Родине он выражает не отвлеченно, риторически, а в конкретных и зримых образах — через картины родного пейзажа, нелёгкого крестьянского труда, колыбельные песни, близкие народным, через поэтическое слово, которым поэт великолепно владел и которым щедро одарила его мать-природа.



Надежда КАПИТОНОВА



Надежда Капитонова

Юрий Либединский

Надежда Анатольевна Капитонова родилась в 1931 году в Москве. Среднюю школу окончила в г. Балхаше (Казахстан). В 1949–1953 годах училась в Московском государственном библиотечном институте, по окончании которого была направлена на работу в Центральную детскую библиотеку им. В. Маяковского в Челябинске, которая в 1954 была преобразована в областную (ЧОДБ). В 1966–1986 была её директором, умело сочетая огромную организационную работу с просветительской. Почти 40 лет вела телепередачи для детей «Встреча с книгой». Организовывала областные недели детской книги, областные праздники книги. После выхода на пенсию продолжает работать в ЧОДБ, активно пропагандирует в СМИ детскую книгу и творчество детских писателей, выступает перед детьми, педагогами, разрабатывает методические пособия. Заслуженный работник культуры РСФСР.

До того, как я начала работать в библиотеке, я знала, что был такой известный советский писатель Юрий Либединский. Но ни в школе, ни в институте нам о нём не рассказывали. Не попадалась мне в руки и его знаменитая в своё время «Неделя». Раньше я не связывала имя Либединского так близко с Челябинском, с детской литературой.

Гораздо позже я узнала, что время моей учёбы было временем опалы Юрия Николаевича.

Знать не знала, что судьба сведёт меня с семьёй писателя, что это имя будет особенно знаковым в моей работе и в жизни.

С чего начался интерес к этой фамилии? Где-то в конце пятидесятых годов попала мне в руки книга Татьяны Толстой «Детство Лермонтова» и удивила посвящением: «Маше, Тате, Лоле, Саше и Нине Либединским». Удивилась количеству детей у Либединского, связям автора книги и семьи Либединских. Оказывается, книгу написала родная бабушка этих детей

А в 1962 году получаем в библиотеке новые книги и среди них «Воспитание души» Либединского — книгу, изданную в Москве. Прочитала и ахнула — это же единственное художественное произведение для детей о наших краях начала прошлого века, о сложных временах: Первой мировой войны, революции, Гражданской войны. И написана книга не посторонним человеком, а молодым очевидцем и участником тех событий! Надо ещё учесть, что в то время для детей было очень мало книг об истории Южного Урала.

К этому времени уже была переиздана после двадцатилетнего перерыва «Неделя» Либединского. «Воспитание души» всё объяснила про появление «Недели», про то, кто и как её мог написать. Захотелось рассказать ребятам-читателям о книгах Либединского, а об авторе почти ничего нет, кроме самих книг, нет фотографий.

Узнала московский телефон Либединских, набралась смелости, позвонила. Лидия Борисовна Либединская — вдова Юрия Николаевича, так легко и так благожелательно откликнулась, так готова была помочь, что я заранее влюбилась в неё. А окончательно и бесповоротно я в неё влюбилась после первой же встречи в Москве, в их доме в Лаврушинском переулке (знаменитый писательский дом напротив Третьяковки). Она рассказывала о муже, показывала семейные фотографии. Слово «вдова» никак ей не подходило, она была удивительно обаятельным и совсем не старым человеком. Советский классик Либединский стал для меня как будто близко знакомым, живым человеком. Его

судьба оказалась очень похожей на судьбу моего отца. Родились в один год — 1898-й. Оба воевали в Гражданскую войну на стороне красных, оба вступили в партию в 1920-м, оба исключены из партии в тридцатых, чудом уцелели в 37-м, оба хлебнули лиха во время войны. Оба в молодости были романтиками, всю жизнь прожили честно, в трудах, удивительно добрыми к людям. Только отец не был писателем.

Детство и юность Либединского прошли у нас в Миассе, Челябинске, Златоусте. Нашим местам он и посвятил две очень дорогие для него и для нас книги: «Неделю», сделавшую его знаменитым, и «Воспитание души»- воспоминание о детстве и юности.

Детство Либединского

Родился Юрий Николаевич 10 декабря 1898 года в Одессе в семье врачей. Отец Юрия — Николай Львович Лебединский (такой была его фамилия) был выпускником Венского и Тартусского университетов. Лебединские считались в городе «неблагонадёжными». Когда мальчику было два с половиной года, семье пришлось уехать. Отец стал работать старшим врачом в Миасском заводе (так тогда называли город Миасс). Первый дом в Миассе, где жила семья Лебединских, не сохранился, но, как пишет Либединская о муже, этот дом «снился ему всю жизнь». Про отца писали, что он был очень добрым человеком, в бедных семьях он больному не только выписывал рецепт, но и незаметно оставлял деньги на лекарства и за лечение денег не брал. Позже семья Лебединских, в которой было уже трое детей, переехала в Челябинск, чтобы дети могли учиться. В 1910 году Юрий поступил в реальное училище. В этом здании по улице Красной (дом 38) сейчас один из факультетов агроинженерного университета. В реальном училище были очень хорошие преподаватели. «Челябинск был окраинным городом, куда царское правительство сылало учителей беспокойного образа мыслей. Это были знающие, благородные люди, и я до сих пор вспоминаю их с величайшей благодарностью...» («Первые шаги»).

Один из преподавателей реального училища Иван Гаврилович Горохов позже стал первым директором краеведческого музея в Челябинске. Многие выпускники училища стали известными людьми. Там впервые проявились литературные способности Юрия Либединского, он принимал участие в издании ученического литературного журнала «Первые шаги», писал рассказы под псевдонимом Ю. Логан. Издать два номера журнала помог редактор челябинской газеты «Голос Приуралья» А. Г. Туркин.

Первая мировая война. В Челябинске масса беженцев, болезни, голод. Отец Юрия работает в военном госпитале. Через станцию «Челябинск» идут солдатские эшелоны. Позже Юрий Николаевич в повести «Первые шаги» напишет: «Сколько раз мы, мальчики, со смутными чувствами уважения и жалости, вины и беспокойства провожали в те годы солдатские эшелоны».

Юность писателя

В городе поднимается волна революционного движения. Не случайно Юрий, росший в благополучной семье, потянулся к революционерам: «ожирение и богатство одних и безысходная бедность других всё время бросались в глаза и бередили юную совесть».

Лидия Борисовна рассказала мне о связях Юрия с семьей Елькиных. Глава семьи — владелец типографии. Старшие сыновья — революционеры Яков и Соломон (именем Соломона Елькина названа улица в центре города). Юрий учился вместе с их младшим братом — Эмилом, дружил с ним и его сестрой, бывал в их доме (дом сохранился на улице Елькина, бывшей Азиатской). Позже сестра Юрия — Рика — станет женой его друга Эмиля Елькина.

Влияние революционеров Елькиных не могло не сказаться на мировоззрении Юрия. Он стал много времени тратить на чтение в библиотеке-читальне Народного дома (теперь здесь ТЮЗ), с друзьями не раз бывал на митингах, наблюдал с балкона в Народном Доме в 1917 году бурные заседания Совета рабочих и солдатских депутатов. Слушал тех, чьими именами теперь названы улицы Челябинска: Цвиллинга, Колущенко, Васенко...

В апреле 1918 года окончено реальное училище. Юрий хотел поступить в Томский университет, но Михаил Голубых — друг Юрия по реальному училищу — зовёт его работать в Златоуст, в газету. Работа в Златоусте была прервана мятежом белочехов. Либединский прошёл с Красной Армией по Южному Уралу, Западной Сибири до Новониколаевска (Новосибирска). Был политруком. В колчаковском подполье вёл революционную пропаганду среди солдат. Его сатирическая поэма «Серый Патфидер» (марка автомобиля, на котором ездил Колчак), переписывалась от руки. В сентябре 1919 Либединский в Сибири был арестован и жестоко избит.

В начале 1920 года Юрий Николаевич потерял отца, который для него был всегда высоким нравственным идеалом. В Челябинске зимой 1919–1920 года свирепствовал тиф. Николай Львович был одним из руководителей Чекати́фа (Чрезвычайная комиссия по тифу), спасал людей, а себя уберечь не смог. Доктора Лебединского хоронил весь город. Можно только догадываться, сколько горя и трудностей выпало на долю матери Либединского, оставшуюся с младшими детьми.

После Гражданской войны, осенью 1920 года Юрий Николаевич возвращается в Челябинск, служит в политотделе губернского военкомата, пишет статьи в газету «Советская правда» (теперь «Челябинский рабочий»). В начале 1921 году он был направлен в Екатеринбург на окружные военно-политические курсы.

Знаменитая «Неделя»

В Екатеринбурге он начинает писать свою первую повесть, которая сыграла в его жизни особую, важную и трагическую роль. Либединский о своей «Неделе» писал: «Весной 21 года у нас в Челябинске как-то разом обострились все затруднения... Чтобы засеять поля, надо привезти зерно, чтобы привезти зерно, нужно добыть топливо для железной дороги, а добыть топливо и привезти зерно можно только с помощью красноармейцев, которых для этого нужно вывести из города».

Но тогда белые могут захватить город. И всё-таки — это единственный путь. И коммунисты идут на риск. Была отчаянно трудная для Челябинска неделя. Вот об этой-то неделе и пишет Либединский. В книге нет слова «Челябинск», не все события точно происходили у нас, но город очень узнаваем. Многие герои событий «списаны» с челябинских коммунистов. Почти все они погибают. На их стороне симпатии автора. Небольшая по объёму книга показала всю жестокость гражданской войны. Повесть трагически заканчивается, но оставляет чувство надежды. Книга пронизана революционной романтикой.

Никто эту книгу не заказывал Либединскому. Он просто не мог не написать про то, что им пережито. У него интересная работа, он ведёт занятия с красноармейцами. Времени мало, писать можно только по вечерам. Бумаги нет, пишет на обёрточных листах чаеразвесочной фабрики Высоцкого (такая фабрика была в Челябинске, здание не сохранилось). Голодно, паёк сократили до 200 граммов хлеба в день.

Но Юрий молод, влюблён. Он мечтает написать книгу и бросить её к ногам Марианны — любимой девушки, которую он знал с детства. Не случайно героиня «Недели» Аня Симкова так похожа на Марианну. В рассказе «Поездка в Крым» Либединский описал, как он действительно бросил рукопись к ногам Марианны «как сокровище и трофей». Не случайно в первых изданиях есть посвящение: «Марианне Герасимовой — любимому другу и верному товарищу». В последних — «Памяти Марианны...». (Марианна Герасимова — наша землячка, двоюродная сестра знаменитого кинорежиссёра Сергея Герасимова была необоснованно арестована и после пяти лет лагерей покончила с собой в годы войны).

В 1922 году в московском альманахе «Наши дни» «Неделя» была опубликована. Либединский к этому времени был переведен на работу в Москву, преподавать в Высшей военной школе связи. Книгу восторженно встретила критика. 30 января 1923 года в газете «Правда» появилась статья Николая Бухарина «Первая ласточка», где была дана высокая оценка «Неделе»: в ней «бьётся живой пульс великой революции»... Эта статья стала предисловием к книжке. «Неделя» была, действительно, первой, говорящей о революции

и гражданской войне по горячим следам. Это уже потом появились «Разгром» Фадеева, «Чапаев» Фурманова...

Книгу перевели на иностранные языки: французский, немецкий... Анри Барбюс писал, что это «революция глазами революции». Позже, когда в Германии фашисты пришли к власти, «Неделя», как и другие неугодные им книги, выбрасывалась в костры. Либединский стал знаменитым. У нас в стране повесть много раз переиздавали, её изучали в школах и институтах.

Когда Юрий Николаевич работал в редакции журнала «Молодая гвардия», к нему в 1923 году пришёл с первой книгой («Разлив») Александр Фадеев. Они стали друзьями навсегда и даже породнились, женившись на сёстрах Герасимовых — дочерях известного на Урале революционера Анатолия Герасимова: Либединский — на Марианне, Фадеев — на Валерии. Оба брака были недолгими. О судьбе Марианны уже сказано. Валерия Герасимова (1903–1970) стала известной журналисткой. Кстати, внук Валерии Анатольевны — писатель Сергей Шаргунов — не раз приезжал в Челябинск из Москвы на встречи с читателями. О непростых писательских судьбах Фадеева и Либединского, о драме писателей, вошедших в литературу с первыми, нашумевшими произведениями, писал в своих публикациях наш челябинский журналист Михаил Фонов.

Жизнь Либединского после «Недели»

Юрия Николаевича слава не испортила, он продолжал много работать. Кроме успехов, появились и неудачи. Он понял, что ему недостаёт знаний, опыта. Либединский стал работать на заводе, у станка (был токарем московского завода им. Владимира Ильича), но писательства не оставлял. В 1924 году вышла его вторая книга «Завтра». Она подверглась критике. В следующем году появилась книга «Комиссары» (о командирах Красной Армии после гражданской войны на Урале). Через 43 года, когда Юрия Николаевича уже не будет, книга станет фильмом. К сожалению, режиссёра заставили убрать из сценария начало со словами Ленина: «Партия больна, но неизвестно, снизу доверху или зажавшаяся верхушка...» и т. д. И эту книгу критиковали.

Либединский работал корреспондентом «Правды». Был одним из руководителей РАППа (Российской ассоциации пролетарских писателей). Много ездил по стране, писал рассказы и очерки. В 1928 году Либединского направили на работу в Ленинград, руководить писательской организацией. Было очень сложное время для страны и для писателей. Сталин не простил ему доброго отзыва Николая Бухарина. Ещё в 1925 году Юрию Николаевичу пришлось ощутить на себе «физически тяжёлый» и недобрый взгляд Сталина: «никому не желаю испытать на себе этот взгляд!». Теперь он стал «объектом для битья». Особенно критиковали повесть «Рождение героя» (1930), в которой Либединский говорил о перерождении партийного аппарата в аппарат бюрократический. Его обвиняли в троцкизме, а тогда это было тяжкое обвинение. В 1936 году Фадеев уговорил Либединского уехать из Ленинграда в Москву и этим спас его от ареста. В Москве всё ограничилось исключением его из партии в 1937 году за «связь с врагами народа». Книги его, изданные до 1937 года, были запрещены, изъяты из библиотек. Юрий Николаевич тяжело пережил это время, два года не спал по ночам, ждал ареста, прислушивался, не подъезжает ли к дому машина... Не арестовали. Может быть, помогла защита друга — Фадеева?

Ещё в Ленинграде у него появилась семья. Он женился на молодой актрисе Марии Берггольц (1912–2003). В 1931 году у них родился сын Михаил. Брак оказался несчастливый. Юрий Николаевич был дружен с сестрой Марии — известной поэтессой Ольгой Берггольц. В 1938 Ольгу Берггольц арестовали, а в 1939 году — первую жену Либединского Марианну. У Либединского стало болеть сердце. Он рано поседел. Несмотря на немилость Сталина, Либединский решился написать ему письмо в защиту Марианны. Письмо не помогло. Юрий Николаевич продолжал работать, писать книги, переводить с кавказских языков. В 1939 году вышла книга Либединского «Баташ и Батай» (о революционных событиях на Кавказе). В этом же году он был восстановлен в партии, но ранее изданные книги не вернулись на книжные полки.

Когда началась война, Юрий Николаевич пошёл добровольцем в народное ополчение, но скоро стал фронтовым корреспондентом газет «Красный воин», «Красная звезда». Были известными его очерки: «Гвардейцы», «Пушка Югова»... Был не раз на передовых позициях, бывал под Курском, в Сталинграде. В 1942 году пережил тяжёлую контузию. В Москве за ним ухаживали друзья. Он не мог вставать. Однажды к писателю пришла Лида Толстая, чтобы под его диктовку записать фронтовые воспоминания. Ей 21, ему 44-й год, но любви не прикажешь.

Лидия Борисовна Либединская писала: «Я была его сиделкой, секретарём, возлюблённой» (эти слова стали названием интервью с Лидией Борисовной в Челябинске). «Это был не брак, а роман длиной в 18 лет» — признавалась Либединская позже. К рассказу о семье Юрия Николаевича я ещё вернусь.

Закончил войну Юрий Николаевич в звании майора. После войны Либединский работал над большой трилогией: «Горы и люди», «Зарево», «Утро советов». Двадцать лет он писал эти книги, но они не стали такими известными, как маленькая «Неделя». После многих лет опалы, с конца 1950-х годов стали печататься и те книги, которые были запрещены в 1937-м. К сожалению, с купюрами. Например, из «Недели» исчезли страницы, где было письмо чекиста Климова своему начальству о жестокости расстрела белогвардейцев коммунистами. Белогвардейцев перед расстрелом заставили раздеться донага. Те просили не унижать их человеческого достоинства, но их никто не послушал.

Изменилось время, изменилась страна, изменилось отношение к коммунистам. Сегодня мы смотрим на те «революционные» книги другими глазами. Но наша история остаётся нашей историей. И её надо знать, и относиться к ней с уважением.

Юрий Николаевич был человеком уникального трудолюбия и очень высокой требовательности к себе. Он мог по десять раз переписывать сотни страниц. Каждый день вставал в 6 утра и садился за письменный стол.

У Либединского был особый дар — умение дружить. У семьи Либединских всегда было много друзей. Недаром о нём однажды сказали, что он «был человеком для людей». Юрий Николаевич никогда ничего не просил для себя, зато постоянно хлопотал за других. Он очень многим помог войти в литературу, помог в трудных жизненных ситуациях. Очень тяжело переживал предательство, потери друзей. Особенно больно было ему тогда, когда «Вечерняя Москва» напечатала список писателей, погибших в 1937 году. Их оказалось втрое больше, чем погибших писателей во время войны. Незадолго до ухода из жизни Либединский написал книгу воспоминаний «Современники» (1958) о людях, которых знал и любил, о писателях и поэтах: Маяковском, Фадееве, Есенине, Крымове, Сейфуллиной, Василии Ганибесове — южноуральском писателе, погибшем в фашистском концлагере...

Приближалось шестидесятилетие Либединского. В честь юбилея он был награждён орденом Трудового Красного Знамени. Писатель шутил, что это ему за трудолюбие. Юрий Николаевич мечтал поехать на Урал, где не был 37 лет, показать Урал своей семье. Задумал написать книгу воспоминаний о детстве и юности. Летом 1958 года его мечта осуществилась, он приехал в Челябинск с женой и двумя дочками. Радовался новому, изменившемуся Челябинску, побывал на тракторном заводе, на озере Смолино, в Миассе, на берегах любимого озера Тургояк, где когда-то его семья не раз отдыхала в летние месяцы. Встречался с краеведами И. Гороховым, П. Мещеряковым. Выступал в публичной библиотеке. Впечатления об этой поездке он успел запечатлеть в очерке «Связь времен».

Как мне жаль, что я тогда ещё не знала Либединских, и меня не затронул их приезд в Челябинск. Жаль, что не была на встречах с Лидией Борисовной, когда она приезжала в Челябинск через год после смерти Юрия Николаевича, открывала доску на здании бывшего реального училища. Всё тогда это организовал А. А. Шмаков.

После поездки на Южный Урал Юрий Николаевич не мог знать, что жить ему оставалось чуть больше года. Но он торопился писать. Тогда была написана книга «Дела семейные», в которой он один из первых рассказал о годах культа личности. Уже упомянутую ранее «Связь времён» и книгу для детей и подростков «Воспитание души». К сожалению, изданными эти книги писатель уже не увидел. 24 ноября 1959 года Юрий Николаевич скончался от инсульта.

Книги подготовила к печати Лидия Борисовна.

«Воспитание души»

Я раньше думала, что «Воспитание души» задумана и написана после поездки Либединского на уральскую родину. Но потом Либединские подарили мне старые журналы «Пионер» за 1946 и 1949 год, где были его рассказы «Необыкновенная гусеница» и «Ралька». Они вошли в «Воспитание души». Я поняла, что детские воспоминания давно у Юрия Николаевича «просились» на бумагу. И Лидия Борисовна писала, что в трудные военные годы Юрий Николаевич рассказывал старшей дочке Маше о «лесном уральском детстве». Поездка на Южный Урал всколыхнула память. Книгу «Воспитание души» он посвятил сыну Саше, названному в честь Фадеева, и всем мальчишкам и девчонкам, кому интересна история, становление человека.

«Воспитание души» несколько раз переиздавалась в Москве, вошла в челябинский сборник «Повести» Либединского (1967). Без этой книги трудно представить наш край, каким он был сто лет назад, его историю в очень сложные, переломные времена, причины революции, картины революции и Гражданской войны на Южном Урале.

Удивительная детская память Юрия Николаевича дала ему возможность написать книгу с такими живыми и интересными подробностями о том, что происходило много-много лет тому назад.

Юрий Николаевич пишет о своей семье, об отце, завет которого он навсегда запомнил: «людям надо делать добро». Работая в Миассе, Николай Львович часто ездил по ближним и дальним приискам к больным и брал с собой сына. «Как я гордился тогда тем, что отец лечит людей и за это всё его уважают и любят».

«...Мне на долю выпало счастливое детство. И не только потому, что прошло оно в дольстве, сытости... Всё согревала любовь отца и матери друг к другу». Была не только любовь, но и требовательность к детям: «Мать научила детей плавать, лазать по деревьям, не бояться дальних прогулок...».

Первые воспоминания связаны с Миассом, домом рядом с больницей «за последними городскими домами по Верхнеуральскому тракту». Позже «мы... переехали на Базарную площадь, в самый центр Миасского завода, в тот двухэтажный дом, который, как я убедился во время последней поездки на родину, и сейчас стоит на том же месте...».

Либединский был маленьким, но запомнил случайную встречу с няниным племянником, бежавшим после златоустовского расстрела рабочих в 1903 году! Юрий Николаевич назвал эту встречу «Первым зовом из будущего».

В книгу вошли картины того, как русско-японская война коснулась и Миасса. Отец уехал на «войну», привёз раненых. Больницу оборудовали под лазарет Красного Креста. Отца назначили старшим врачом лазарета. Юрий запомнил на всю жизнь тех раненых и зловещее слово «война».

Большинство страниц в книге «Воспитание души» посвящено жизни в Челябинске.

В книге много описаний, как выглядел Челябинск в то время.

1913 год. «...Синеватые сумерки накрывали наш городок, убого светились керосиновые лампы в домишках, шла дремотная, от века установившаяся жизнь» (с. 80).

Но был уже Народный дом: «Высоко над нашим городом стоит этот внушительный дом, краснокирпичный, с белыми колоннами. В нём самый большой в городе зрительный зал, в нём библиотека и комната для собраний. С его высокого каменного крыльца... всё видно очень широко: прямые улицы, режущие город на правильные кварталы, синяя разливающаяся река и дальше за городом леса, поля...». Сейчас трудно представить эту картину, наш город изменился до неузнаваемости.

Либединский пишет о месте в Челябинске, где гулял по вечерам народ. Это тогда была главная улица города — Уфимская (сейчас — Кирова). Так что сегодняшняя «Кировка» имеет давнюю историю.

Много страниц в книге уделено учёбе в реальном училище, его преподавателям. «Трёхэтажное красное здание реального училища... В то время это было одно из самых больших зданий в Челябинске. Оно находилось тогда за городом, и широкий двор его примыкал к опушке соснового леса». Об истории реального училища стоит рассказывать отдельно.

Читая «Воспитание души», можно заглянуть в прошлое Челябинска: как жил тогда народ, каков был быт челябинцев, как и где отдыхали люди.

Совсем другая жизнь началась в городе с началом первой мировой войны. Беженцы «хлынули в наш далекий от фронта город. На пустыре, между городом и железнодорожным посёлком, накануне войны построили дощатое двухэтажное здание с башенками и балкончиками, модного тогда стиля „модерн“. Выкрашено оно было в тёмно-зелёный цвет, и на нём большими буквами написано „Вулкан“. Я так и не знаю, было ли это название фирмы или, может быть, нового кинотеатра. Как только беженцы высадились на перроне нашего вокзала, их сразу же поселили в этом, по внешности довольно внушительном, а внутри представлявшем из себя дощатый сарай здании. Среди беженцев не было взрослых мужчин — старики, женщины, дети. Эти люди, в большинстве своём несостоятельные, окончательно разорились во время беспорядочного бегства, и вскоре среди них начались всякие заболевания. Особенно болели дети. Отец мой как врач-эпидемиолог и детский врач постоянно ездил туда...». События в городе во время мировой войны, назревание революционных событий, всё это отразилось в воспоминаниях писателя. «Летом 1917 года в Челябинске начались волнения из-за того, что тогдашние власти... не могли в нашем изобильно-хлебном краю наладить снабжение города продовольствием...»

Глазами Юрия Николаевича мы видим, что происходило в городе: «В самый канун февральской революции у нас в Челябинске, на сцене Народного дома, гастролировала украинская труппа. Декорации изображали белую хату и огромные, довольно аляповато нарисованные подсолнухи. Эти декорации так и не успели убрать, когда зал заполнили первые депутаты городского Совета...»

Либединский не раз видел этот «бурлящий зал» и слушал речи революционеров.

Большое влияние на Юрия оказывал отец. После событий 1914–1917 года он стал другом. «Я восхищался отцом». Николай Львович много работал в госпиталях, читал лекции по биологии и медицине. «Он бесстрашно выезжал на холерные эпидемии».

Книга «Воспитание души» написана с явной симпатией к коммунистам, они казались Юрию лучшими людьми на свете. Заканчивает Либединский свою книгу описанием очень важного для него события — вступления в партию большевиков. Юрий Николаевич до конца дней оставался романтиком, верным своим юношеским идеалам, верящим, что можно построить справедливое, умное государство. Но и многое, что происходило в стране, правильно понимал.

Наверное, нельзя оценивать эту книгу только с исторической точки зрения. Это художественное произведение, где много страниц посвящено Уралу, его природе.

Юрий с детства полюбил Урал: «Всю жизнь благодарен я отцу и радуюсь тому, что Урал стал моей второй родиной». Само слово «Урал» казалось ему «спокойным, важным и звучащим словно горное эхо». Юрий Николаевич очень любил озеро Тургояк. Когда ему было 12–13 лет, мать не боялась отпускать его одного в путешествие вокруг озера. А это путешествие иногда занимало около 3-х суток. Приходилось ночевать в лесу. Такого описания Тургояка, как в «Воспитании души», наверное, нет ни в одной книге.

Люди, события, наш город написаны неравнодушной рукой писателя-художника.

В декабре 1998 года в Челябинске отметили столетний юбилей Юрия Николаевича. Праздник проходил в здании бывшего реального училища. На юбилей приезжала и Лидия Борисовна Либединская. Внучатая племянница Льва Толстого, графиня, дочь Татьяны Толстой (не путать с современной Татьяной Толстой, связанной с именем Алексея Толстого). Отец Лидии Борисовны погиб в ссылке. Либединская по образованию — историк, по призванию прекрасный литературовед, автор целой библиотеки книг о декабристах, писателях: «Последний месяц года», «Жизнь и стихи» (о Блоке), «Живые герои» (о прототипах героев «Войны и мира»). Пока был жив Юрий Николаевич, Лидия Борисовна не давала себе права писать. Только во многом помогала мужу в его писательском труде.

Лидия Борисовна много выступала по радио, телевидению («Литературное Переделкино»), в газетах с рассказами о писателях, многих из которых знала, со многими дружила. Не случайно её в Москве называли «Андроников в юбке» за её прекрасные рассказы. Она была активным защитником и создателем литературных музеев в Москве и Подмоскowie.

Мы должны быть ей благодарны за её первую и самую известную книгу «Зелёная лампа» (1966), где она с такой любовью и талантом пишет о муже, о времени, о людях. Хорошо, что эта книга переиздаётся.

Лидия Борисовна очень многое сделала, чтобы имя писателя Либединского не забылось на Южном Урале. Она подружилась с челябинской областной детской библиотекой, подарила ей много материалов о писателе, его фотографий. Каждый её приезд в Челябинск (а она не раз приезжала к нам) был событием. Приезжала не только в Челябинск, но и в Миасс, побывала и в Озёрске. Её выступления перед читателями, по телевидению и радио незабываемы. Она сделала городу бесценный подарок — посмертную маску Либединского работы Эрнста Неизвестного, карту озера Тургояк, нарисованную в 1917 году художником Львом Бруни для дочери поэта Бальмонта — Нины, которую любил. Семья Либединских много лет дружила с семьёй Бруни-Бальмонт. Карта была позже подарена Юрию Николаевичу и всегда висела над его кроватью. История этой карты заслуживает отдельного рассказа.

К сожалению, в мае 2006 года, не дожив всего четыре месяца до своего 85-летия, Лидия Борисовна умерла. Похоронены Либединские на Новодевичьем кладбище. На памятнике Юрию Николаевичу написаны слова, которые были эпиграфом к «Неделе»: «Какими словами рассказать мне о нас, о нашей жизни и нашей борьбе». Юрий Николаевич нашёл эти слова в своих книгах.

Мать Либединского — Татьяна Владимировна (1870–1941) — погибла в Ленинграде во время блокады. Сестра — Рахиль Николаевна (1902–1989) — всю жизнь преподавала в Ленинградском университете. Её муж Эмиль Яковлевич Елькин был морским офицером. Младший брат Либединского — Лев (1904–1993) — был музыкантом-музыковедом.

Лидия Борисовна осталась вдовой в 38 лет с пятью детьми. Сейчас она могла бы похвастаться, что у Либединских 14 внуков, 26 правнуков. Одна из дочерей — Татьяна — замужем за известным поэтом Игорем Губерманом. В детстве Губерман с родителями был в Челябинске в эвакуации. Лидия Борисовна была очень дружна с зятем, который подвергался у нас в стране гонениям. Какое-то время он сидел в челябинской пересыльной тюрьме. А когда он с семьёй попал на поселение в Красноярский край, Лидия Борисовна не раз бывала у них в Сибири. После ссылки Губермана заставили покинуть нашу страну. Много лет Лидия Борисовна ездила к родным в Израиль.

Областная детская библиотека не потеряла связи с семьёй Либединских, только теперь эти связи идут через дочерей Либединских — Марию Юрьевну Говорову и Лидию Юрьевну. Лидия Юрьевна девочкой в 1958 году вместе с отцом, матерью и сестрой Татьяной побывала в Челябинске и относится к нашему городу с большой теплотой. Она передала челябинцам много книг отца разных лет изданий, на разных языках. Приезжала в Челябинск и Мария Юрьевна с сыном. Есть надежда, что откроется в нашем музее экспозиция, посвящённая Юрию Либединскому.

Его книги давно не издавались. Есть в библиотеках двухтомник «Избранного» Либединского (1980), сборник «Неделя. Комиссары. Гвардейцы» (1985) и др. В Челябинске стали появляться новые сборники, в которых есть произведения и Либединского: «Область вдохновения» с отрывком из книги «Воспитание души». В сборнике «Старлица» есть работа писателя «Первые шаги» (в сокращении). Есть сведения, что в последние годы «Неделя» была переведена на японский язык, а на Западе вышла книга Либединского «Рождение героя».

Осенью 2013 года издана в Москве замечательная книга «Скатерть Лидии Либединской». Она посвящена Лидии Борисовне, но в ней много страниц, посвящённых Юрию Николаевичу. К 110-летию со дня рождения Юрия Николаевича в академии культуры и искусства прошла интересная выставка «Ю. Либединский. Нам о нас». Её подготовили преподаватели и студенты академии, областной фонд культуры, областная детская библиотека. Такой выставки ещё никогда не было в нашем городе.

В Челябинске и Миассе есть улицы его имени, на здании бывшего реального училища висит мемориальная доска, посвящённая Юрию Николаевичу. В Миассе центральная библиотека носит имя Юрия Либединского. В библиотеках можно найти его книги.

Жаль, что нет в Челябинске литературного музея! В нём почётное место заняла бы экспозиция, посвящённая «зачинателю советской литературы» — Юрию Николаевичу Либединскому.



Сергей
ПОЛЯКОВ



РАССКАЗЫ

СКРЫТЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

«На одном из культурных мероприятий, от которого не хватило сил вернуться, в ходе творческой встречи ко мне, выпустившему накануне 5-ю и самую большую книгу «По последнему льду», подошла девушка, лет восемнадцати, из ближайшей деревни. Она попросила у меня книгу, я подписал, и что-то заставило меня задать тот вопрос: — Любите читать?»

— Да, я много читаю. Постоянно в библиотеку хожу. У нас хороший фонд.

— А многие в деревне читают?

— Нет, я одна.
...Это было в 2013 году, и я вспомнил, что 20 лет назад редко кто в метро ли, троллейбусе ли ехал без книги.

Вот для таких, как эта девочка из глухой уральской деревни, и стоит работать в литературе, читатель давно сделался штучным «товаром».

А труд писателя стал героическим на фоне всеобщей компьютеризации».

Василий Кислицын сидел в опустевшем после родительского собрания кабинете математики вдвоём с Надеждой Павловной, классным руководителем сына Дениса, и под её ровный флегматичный голос думал. Жена обязала Василия непременно после общего собрания поговорить с Надеждой Павловной наедине.

— Пассивен, рассеян, вял,— учительница, лет этак за тридцать женщина, одевавшаяся, пожалуй, слишком модно, словно читала давно заготовленную характеристику.— Не желает идти в ногу со всеми, отсутствует самостоятельное мышление на уроках... Если же проявит творческую инициативу, то не на пользу себе и окружающим.

Василий слушал её, а в голову почему-то назойливо лез посторонний вопрос: замужем она или нет? По тому особому напряжению в лице, по надсевшему с фальцетинкой голосу и скрытой нервозности выходило, что не замужем. Да и среди нескольких колец на тонких, с ухоженными ногтями, пальцах учительницы не было одного — обручального.

Потом Надежда Павловна рассказала, как Денис сконструировал систему контактного пускателя ракеты и на уроке ботаники испытал своё изобретение — правда, неудачно: ракета, стартовав с подоконника, влетела в класс. «Надо было плоскости стабилизатора пошире сделать или на спицу направляющую посадить»,— подумал про себя Василий и спохватился.

— Выпорю,— пообещал он.— Как сидорову козу.

— Да ну, зачем же? — учительница смутилась, вспыхнула.— Бить — это непедагогично. Вы можете потерять контакт с сыном — у него переходный возраст.

Когда учительница записывала на листочек педагогические пособия для воспитания подростков — это тоже просила сделать жена,— Василий пытался разгадать для себя, что за «химия» была полтора часа назад с выбором родительского комитета. По настоянию Надежды Павловны туда рекомендовали мать Вити Андриянова, по слухам, подозреваемую в крупных мошенничествах. Учительница объяснила Василию, о чём конкретно каждая книжка, и встала со стула, давая понять, что разговор окончен.— А вы знаете, что мать Вити Андриянова под следствием? — некстати спросил Василий.

— Как? — учительница снова присела на стул.— Почему же никто об этом...

— До свидания,— сказал Василий. Ему вдруг до смерти захотелось курить. «А замуж она, наверное, всё-таки не

выйдет», — снова некстати подумалось Василию, когда он выходил из школы. На улице было тихо и безветренно.

Ярко горели фонари и чуть слышно поскрипывал под ногами снег. «Витаминов ему, что ли, не хватает? — думал Василий про сына. Он решил не ждать автобуса, а пройтись пешком, подумать. «Рассеян, вял... Ест, вроде, досыта, по дому не перерабатывает. На улице лишку не торчит. Он вообще-то, Дениска, с детства немного рассеянным был. В садик его вести разбудишь — до последней минутки дотянешь, лишь бы самому на работу не опоздать — он только в группе начинает слышать, понимать. Потом уже один стал ходить — то шортики потеряет, то носочки. Как-то пришли они на Новый год в Дом культуры на ёлку. Денис сначала всё в сторонке держался, стеснялся в хоровод пойти. Зато потом, когда освоился, так с табуретки стихотворение прочитал, что плюшевого медведя подарили».

Василий вспомнил, как росли они с сестрёнкой и братом без отца, как, едва дождав-шись окончания восьми классов, мать устраивала их — кого в профучилище, кого на завод учеником токаря, «чтоб не разбаловались». Сидит он, Василий, в одиннадцатом классе школы рабочей молодежи на уроке химии и сосредоточенно думает, как бы и где листовку на баню достать? У бани низ подопрел, надо было срочно пару венцов подновить.

И когда Василия осенило, учительница, не так растолковав выражение на его лице, спросила о структуре молекулы сахара. Да, но Дениска-то... У Василия не шли из ума слова учительницы. «Не хочет идти в ногу со всеми». И совсем рядом — противоположное: «Отсутствует самостоятельное мышление». Как же тебе, милая моя, сразу всё — и в ногу шагать, и — самостоятельно? Василий сдерживал раздражение, рождавшееся к учительнице, и ловил себя на том, что он, как и всякий любящий отец, оправдывает своего оболтуса. Ещё бы — один ребёнок в семье, любимое чадо — так и не собрались с женой завести второго. То жена доучивалась в техникуме, то ждали, чтобы Дениска немного подрос, то жилья не было...

«Отсутствие самостоятельного мышления»... Как отсутствие? Ведь сконструировал же систему пускателя? А палатка? Прошлой зимой, когда они с Денисом намёрзлись однажды на рыбалке, пришли домой и решили сдлать палатку. Так Денис на другой день показал отцу такой вариант каркаса, что тот не сразу поверил, что сын его сам сделал. Палатка на двоих получилась в сложенном виде не больше чемодана, в ней предусматривались и печка, и освещение для ночной ловли. Сплошная стереометрия! Вот только выполнял свой проект сын на уроке математики.

А теперь — «Контактный пускатель Дениса Кислицына». Что ж, звучит... И Василий решил зайти к бывшему однокласснику Николаю Нестерову, посоветоваться. Николай в школе был парнем отчаянным, его «терпели» из-за отца, директора молокозавода, потом, после армии, как-то присмирел, стал учиться, пошли повышения по службе. Сейчас Николай работал заместителем начальника автоколонны, учился заочно в политехническом институте и вообще «шёл в гору».

«Зайду по старой памяти, спрошу, как у них Женька растёт. Небось не выгонит», — думал Василий, поднимаясь по лестнице на третий этаж к Нестеровым.

— Привет!

Хозяин был в полосатых пижамных брюках и майке и как-то сосредоточенно напряжён.

— Проходи.

«Поздно, наверное, пришёл», — подумал Василий, но всё-таки переступил порог.

— Ты извини, я ненадолго... Разбудил?

— Какой разбудил! — Николай повесил пальто гостя на плечики. — Каждый вечер с контрольными до часу сижу. И Валька с тетрадами за компанию.

— Сын у меня, Коля, — так прямо с порога начал Василий. — Дениска чего-то. Сейчас с родительского собрания иду — жалуются. Вял, говорят, это... пассивен. В ногу не идёт со всеми. Ракету на днях в классе запустил.

— Ты проходи, проходи, — Николай остановился посреди комнаты. Он по-прежнему о чём-то думал. — Чаю хочешь? Пойдём на кухню.

— Да нет, — Василию было неудобно за свой, не ко времени, приход. — Я, говорю, сын...

— С вареньем? — Николай налил на кухне в чашку заварки из чайничка. — Давай накладывай. Так, говоришь, вял? — И не шагает... — Слушай, Вась, — Николай так и не смог вникнуть до конца в то, что говорил Василий, выражение прежней сосредоточенности не сходило с лица, — я тебе сейчас одно уравнение покажу — по математике у нас такой изверг попался! Вы, говорит, должны реализовывать свои скрытые возможности. А то используете свои способности на двадцать процентов. У меня жена не могла решить, и списать не у кого. Ты же у нас в математике богом был...

Через полчаса Василий решил уравнение. Николай ликовал.

— Ну, Вася... А помнишь, как я у тебя на экзамене задачу через лупу сдул? Тоже, согласишься, изобретение. Ну, теперь я его умою. Покажу ему скрытые возможности...

— Ну ладно, — засобирился Василий. — До него словно что-то дошло. — Мне пора.

— Жена-то как? — спрашивал у порога Николай. — Пришли бы как-нибудь, показались. А сын? Как ты говоришь? Ракету запустил? А у моего на днях из кармана сигареты посыпались. А так — тоже способный: в преферанс как засядем... Я ему говорю, не бери пример с отца — тоже ведь, кто не велел вовремя учиться? В институт чуть не силком толкали — нет, самостоятельным хотел скорей стать. Теперь вот, в сорок лет, когда окостенение мозгов наступает, доучиваюсь...

Когда Василий вернулся домой, Денис уже спал. А может, притворялся, что спит — как делают почти все дети, когда родители уходят на собрание в школу. На столе рядом с аккуратно разложенными учебниками и тетрадями лежала какая-то деревянная штука — то ли пропеллер, то ли новой конструкции флюгер. Изделие, казалось, ещё хранило тепло Денискиных ладоней. Когда жена пришла с работы, Василий уже крепко спал.

Перекусив на кухне, она прилегла рядом с ним и не пожалела его первый сон — разбудила.

— Ну как там? — спросила она с нетерпением.

— Нормально.

— Так уж и нормально? Что говорили-то?

— Да... — Василий вспомнил модную флегматичную учительницу, классного руководителя Дениса. — Пассивен, говорят, вял. Рассеянный.

— Ну и что?

— Как что? Хорошо, значит.

— Что ж тут хорошего?

— Ну... надолго, значит, мы его заквасили...

ХОЛОДНО!

На повороте их было трое: медсестра Таня с лесопункта, учитель Щеглов из Новосёлок и толстая продавщица из Куликовки, не старая ещё бойкая бабёнка, задержавшаяся в городе с отчётом. Судя по отежнему лицу продавца, вчерашний отчёт закончился глубоко за полночь, на карту было поставлено очень многое, прямо не ревизия, а сражение какое-то, но женщина вышла победителем, несмотря на анонимки от сельчан, злорадно мечтавших о том, что она загремит теперь куда Макар телят не гонял, да вот выкусите-ка. Правда, впереди предстояло объяснение с мужем, но сколько причин, задерживающих в пути! — вот одна из них. И тень озабоченности, пролетавшая по лицу женщины, исчезала.

Продавец прохаживалась, горделиво запахнувшись в дублёнку, слегка обшарпанную, выдавшую виды, вымаранную чем-то жирным, скользким и теперь засохшим, имевшую целый букет запахов, всегда вызывающих собачье любопытство и восхищение. Уже пара собак подбегала к продавцу расшифровать запахи её дублёнки и, наткнувшись на её основательное «цыма!», останавливалась, задрав кверху морды от наслаждения и восторга.

И — Таня. Щеглов знал её. Сейчас, поджидая попутку, он успел перебрать в памяти большинство парней, в своё время приударявших за ней. Единственная дочь ничем не

приметного инженера и столь же тускло выглядевшей бухгалтерши заводской конторы. Щеглова всегда удивляла эта игра природы, прихотливо проявившей себя в красавице с детским взглядом вечной камелии, сводившим с ума самых записных гуляк.

Щеглов и Татьяна при сегодняшней встрече на остановке как бы «не узнали» друг друга. Раньше Щеглов часто встречал её на танцплощадке в центре городишка. Таню всегда приглашали другие. Щеглов ни разу не станцевал с ней, не перемолвился словом — одни, мельком скользящие, ни к чему не обязывающие взгляды. Так можно прожить рядом много лет, не зная друг друга, — история обыкновенная. Никогда не претендовавший на первую роль, Щеглов и не представлял себя в числе Таниных ухажеров. Есть в таких женщинах красота — особая, чистая, как высветлившийся осенний воздух, — и бесплодная. Красота, которую и не приходит в голову нарушить чем-то грубым и земным.

На перекрёстке, где они встретились втроём, каждый, как и в жизни, пробил и утоптал отдельную тропинку, ходил по ней взад-вперёд сосредоточенно, до комизма прилежно, словно в этом заключался весь смысл оставшейся жизни. Под каждым и снег скрипел наособицу! Под продавцом он основательно кряхтел, даже слегка постанывал. Под Таней поскрипывал чуть слышно, эфемерно, словно только для того, чтобы засвидетельствовать, что она — не совсем бесплотное существо. Скрип под собой Щеглов почти не слышал — его скрадывало собственное тело.

Сколько раз, бывало, он останавливался вот так один на дороге! Когда учителя из местных разбредутся по домам, городские инспекторы тоже уедут восвояси, а он шагает себе деревенским просёлком домой. Он проходил мимо освещённых изнутри изб, часто вовсе без штор, и по отдельным частям увиденного восстанавливал картины того, что делается внутри.

Там кормили ужином детей, в другом доме сидел за столом задумавшийся хозяин, в третьем горланили о чём-то пьяные...

...Таня не ходила в городишке ни с кем из парней. Так называлось предварительное ухаживание с целью узнать человека — «ходить». Те, кто пытались проводить её, наталкивались на холодность обращения — их обычные закидоны, столь безотказные с другими девушками, не проходили. Неудачники объясняли свои поражения тем, что больно уж близко от парка жила Татьяна. Хотя много ли надо пути двоим, чтобы высказать главное?

— Хорошая погода, — сообщали они в первой коронной фразе, чтобы дальше предложить погулять.

Всё: этим запевом провожатые подписывали себе приговор. Татьяна, спешно попрощавшись, исчезала за дверью квартиры. Неунывающий кавалер успевал в тот же вечер проводить кого-нибудь из нарочито замедливших девчонок и как бы в отместку Татьяне наставить подружке засосов да ещё станцевать на другой вечер в предельной близости так, чтобы видна была её шея... Но провожать бухгалтерскую дочку больше не шли. Потом был студент. На лето их много приезжало в городишко, милых ласковых шалопаяв с новыми институтскими манерами, неподражаемым стилем поведения в провинциальном кругу. Как-то приятельски прислонённый к одному из городских коноводов, студент Игорь даже избежал положенной трёпки после того, как к немалому удивлению остальных прошёлся с Татьяной несколько раз по центру. Они так увлечённо о чём-то толковали, что о трёпке, собственно, разговору и не возникало, — всем было интересно, что произойдёт.

— Чего ты ей там пел? — спросил только потом Игоря его протеже в качестве отчёта.

— Стихи читал, дело обыкновенное, — отмахнулся студент.

— Стихи? — вот уж чего не приходилось делать завзятым гулякам, так читать девушкам стихи. Что им — мало того, что надел самые широкие и потому самые модные клеши? Что овладел самой что ни на есть светской манерой разговаривать со сверстниками через губу, чувствовать снисходительное поощрение со стороны отмотавших срок? Они могли «троих сделать», угнать на мотоцикле от гаишников, но чтобы стихи...

Что было у Тани со студентом, остаётся тайной, а каждый мог строить догадки только на фактах. К примеру, на том, что Таня ездила в город на несколько дней. И жила в университетском общежитии. Так что оснований для размышлений было достаточно — например,

в каких условиях она там жила, не было ли отдельной комнаты, и что в этой комнате могло произойти. И на что не пойдёт девушка в пору своей первой искренней любви?

У мудрецов-ухарей на этот счёт был накоплен богатый опыт, мыслили они в меру собственной испорченности и наделяли остальных своими нормами поведения. Потом прошёл слух, что Таня сделала от студента аборт, — и от неё все отвернулись. Кто был автором слуха — завистник или обладатель тайны? Та лиса, которой виноград не по зубам? И сам он, Щеглов, тогда охотно поддался вероятности этой сплетни и как бы исключил Татьяну из внимания. И сейчас этот робкий скрип под каблучками её сапожек просто пробудил мысли о её скоропалительном отъезде в медучилище, затем в сельский медпункт, хотя родители легко могли бы уговорить знакомых подыскать место в городской больнице.

Холодно. Щеглов вдруг вспомнил продавца. Однажды он подошёл к ней разменять рубль на мелочь. Перед продавцом как раз была касса с ячейками, полными мелких монет. «Нет мелочи!» — отрезала продавец и даже кассу не закрыла, а только шевельнула пальцами. И взглянула Щеглову в глаза с таким честным выражением, что тому сделалось не по себе. Она, продавец, и сейчас не падала духом. Если у Щеглова с Татьяной тепло выходило с дыханием и движением, истаявало через одежду, то продавщицу холод только бодрил, выжигал остатки алкоголя, она даже расстегнула верхнюю пуговицу.

Этих людей обычно знала масса народа, и вот первая же легковушка, такая же обшарпанная, как продавец, остановилась, водитель сам открыл дверь, женщина ухнула на заднее сиденье, придавив окончательно пружины и потеснив сидящих так, что тем пришлось сначала сделать выдох, но опять же всем было выгоднее эту тётку подвезти, чем ехать в относительном комфорте.

Таня и Щеглов остались на дороге одни. И создалась та самая минута, некое пространство, в котором они с Таней уже не могли оставаться больше чужими.

— Хорошая погода! — выпалил вдруг Щеглов и чуть не заплакал от собственной глупости. Во фразе, казалось, предельно обозначилась оскорбительно-наглая её сущность.

— Простите, — ещё более неловко извинился он. — Холодно.

И стало ещё холодней. Таня молчала. Щеглову на мгновение даже показалось, что на лице её мелькнула снежинка. И ещё что-то насторожило в попутчице, когда они шли уже в разные стороны по своим обособленным тропинкам. При следующей встрече он взглянул ей в лицо более пристально и всё понял. Щеглов схватил прямо с обочины свежего снежку и, подбежав к Тане, начал оттирать ей щеку. Она не сопротивлялась. Он снял у Тани с руки варежку, тоненькую, наверняка не спасавшую её.

Щеглов увидел покрасневшие пальцы, и острая жалость к девушке тронула его. Он тёп ей щеки, согревая своими, тоже застывшими руками, добился того, что кожа начала краснеть. Щеглов что-то приговаривал, так, мол, и так, разве можно было не почувствовать — и вдруг поцеловал Таню в порозовевшую щёку. Тут же родилось желание поцеловать в губы, в глаза, из которых хлынули слёзы, хотелось сделать ещё что-нибудь доброе, чтобы ещё больше согреть девушку. И не дожидаясь, пока порыв пройдёт, движимый состраданием к этой худенькой замерзающей девушке, он расстегнул своё пальто, приблизился к Татьяне, стараясь не смотреть ей в глаза, где метались испуг, недоумение, как себя вести, и многое другое, что заставляло раньше идти по жизни гордо и неприступно, и, приблизившись вплотную, принял Татьяну под пальто. И она обречённо, смиряясь со своим положением, вдруг неловко приобняла его. Щеглов ощутил её содрогающееся тело, два твёрдых полушария груди, близость ног, но волнующие эти прикосновения перебарывало другое чувство. Они ни о чём не говорили, только переминались с ноги на ногу и чуть не прокараулили машину. Огромный, с фургоном «Урал», остановившись, шипел, парил, и шофёр, даже не высунувшись из кабины, следил через зеркало заднего вида, как они с Таней забираются в кузов. Уже через сорок минут Щеглов помогал девушке слезть, жалел, что не может сойти сам, — торопили дела, — а может, надо было бросить всё, как иной раз бывает в жизни, дела — делами, а через них можно проворонить и судьбу. И Татьяна так же торопливо, словно вспомнив, что они давно знакомы, ничем не выказала своего

состояния, и лишь оказавшись на земле, вдруг взглянула Щеглову в глаза. Щеглов растерялся, хотел что-то сказать, может быть, выскочить, но раздался резкий сигнал, шофёр, перегазовав, включил скорость, машина дрогнула и тронулась с места. И этот взгляд вслед Щеглову преследовал его потом долго, и в этот день, и в другой раз, когда проезжал мимо деревеньки, где работала Танюша, и всегда рождал желание выйти из автобуса, забыть «заботы света» и заглянуть к ней на огонёк. «Холодно,— подумал тогда Щеглов, поёживаясь в кузове.— Холодно».

ХОД КОНЁМ

Иван Прокопьевич Стропилин, начальник заводской службы благоустройства, сидел в кабинете главного инженера, слушал утренний селектор, думал. Есть же на свете такие счастливые должности, где пришёл к восьми утра, помозолил с полчаса глаза начальству и — будь здоров. До обеда, а иногда и до конца рабочего дня никто про тебя не вспомнит.

Тут же, не успел кабинет открыть, секретарша: Николай Сергеевич ждёт вас.

Исподтишка Иван Прокопьевич наблюдал за главным: знает тот или нет? Николай же Сергеевич что-то помечал, как обычно, в широком листе бумаги перед собой, пару раз подключался к селектору и на Ивана Прокопьевича не смотрел. За годы своего административного роста Самсонов вполне овладел наукой скрывать свои мысли и чувства под выражением общей озабоченности. Иван Прокопьевич решил, что главный ничего не знает, и успокоился.

Вчера они с заместителем начальника отдела снабжения Костей Трофимовым, его, Ивана Прокопьевича, давним товарищем, изрядно проштрафились. После обеда получили премию за экспорт, тихо ушли с работы и только-только по старинке расположились на берегу речки в кустиках с вы- пивкой, как их тут же с поличным накрыли дружинники и милиция.

Ну, милиция — это ещё не самое страшное, особенно если там тоже немало друзей-приятелей. И, может быть, их бы не забрали вовсе, веди себя Костя по-другому. Увидев опасность, Костя, вместо того, чтобы спрятать спиртное, словно назло долил из бутылки свой стакан доверху и преспокойно вытянул его. Может, не надо было этого делать — их бы не тронули. Иван Прокопьевич планировал сегодня после селектора сходить в милицию и по горячим следам договориться: может, не пришлют бумагу на завод. Наконец трескучие голоса в динамике затихли, главный инженер ещё дописал что-то в своем листке и встал.

— Ну, как дела? — спросил он рассеянно Ивана Прокопьевича.

— Идут,— бодренько отвечал Стропилин, всеми силами изображая из себя человека государственного, озабоченного нуждами производства. Он вдумчиво полистал записную книжку и, убрав её в карман, преданно взглянул Николаю Сергеевичу в глаза.— Нормально.

— Когда сдаёте склад готовой продукции? — Николай Сергеевич опять-таки спрашивал, вроде, о производстве, а узнать хотел, похоже, другое.

— На следующей неделе закончим. Асфальтный завод задержал, а то бы успели.— Иван Прокопьевич снова засомневался, знает главный или нет. Раньше, лет двадцать назад, Самсоновы жили на одной улице со Стропилиными, даже не раз в компании на праздниках вместе гуляли, и главный, как казалось Ивану Прокопьевичу, немного благоволил к нему. Но в работе — это Стропилин и сам хорошо понимал — с панибратством далеко не уедешь.

— Вот что... — Самсонов, казалось, не слышал ответа Ивана Прокопьевича, и на лице его появилось выражение готовности к тому вопросу, который он всё не решался задать.— Ты ведь вроде у нас в профкоме несколько лет работал?

— Да,— Иван Прокопьевич насторожился.— А что такое?

— Тут, понимаешь, позвонили мне. Жена Трофимова жалуется. Выпивать, говорит, начал, вчера даже дома не ночевал. Приволокся утром с похмелья, где был, с кем — неизвестно. Нехорошо. Профком, как назло, нынче на семинар уехал. Наказывать его, Трофимова,

жалко, он всю жизнь на заводе проработал. Что делать? — Николай Сергеевич взглянул на Стропилина, словно спрашивая, что бы тот предпринял на его месте.

— Не знаю. — Иван Прокопьевич пожал плечами и отвел взгляд в сторону. Он с тоской подумал, что утром в спешке забыл побриться, наодеколониться — вчера, до «бережка», где их забрали, они успели хорошенько причаститься, и вот теперь вдруг незначай пахнёт на главного перегаром... — Он, вообще-то, Костя, работник неплохой. А это... с кем не бывает?

— Да я не о том... — Самсонов досадливо поморщился, прошёлся туда-сюда по кабинету. — Жена... Тоже права. Знаешь ведь женщин? Напишет ещё возьмёт куда-нибудь. Надо какие-то меры принять. Вот что... — Николай Сергеевич решительно нажал на кнопку селекторного аппарата, подождал, пока тот нагреется, и сказал секретарше: «Трофимова ко мне!»

Через минуту в дверь вошёл Костя. Он был тоже, как и Стропилин, небрит, под глазами тени и неприятные складки, костюм серым измятым мешком сидел на нём. Трофимов искоса взглянул на своего товарища, но тот сидел, «как неродной», смотрел куда-то в сторону.

— Садитесь, — с оттенком брезгливости сказал главный инженер. — И расскажите нам с Иваном Прокопьевичем, как вы докатились до такой жизни.

Костя молчал. Он только ещё раз в изумлении поднял глаза на Стропилина.

— Представьте себя на моём месте, — продолжил Самсонов, расхаживая по кабинету. — Звонит ваша жена и спрашивает, где её благоверный. Не больше, не меньше. Что бы вы ответили ей, товарищ Трофимов? Я вас спрашиваю, наконец, как администратор: где вы были вчера после обеда? У меня проводилось совещание по качеству — где в это время был представитель отдела снабжения? Если мы, командиры производства, будем позволять себе с обеда уходить неизвестно куда, то как и что мы сможем спросить с подчинённых?

На Костю жалко было смотреть. Он, видимо, по своему опыту знал, что говорить в этот момент, оправдываться — бесполезно. Пусть уж главный до конца выскажется, выдохнется, тогда... Тогда — посмотрим. Больше всего Костю смущало то, что тут же, в кабинете, сидит Иван Прокопьевич, Ванька, с которым они вчера... Сидит — и в ус не дует. И вид-то у него не побитый, нет, а словно бы и вправду Стропилин заодно с главным. «Расскажите нам с Иваном Прокопьевичем». Вот это «нам» из уст главного инженера больше всего и смутило Костю.

— Где вы вчера были? — слышал Костя сквозь свои мысли. — Почему вас не может найти жена и названивает мне на работу? У меня только и дела, что разбираться с вами. Что я должен предпринять — уволить вас?

— Увольняйте, — сказал устало Костя и дерзко посмотрел на главного. — С голоду не помру. — И поднялся со стула, чтобы пойти.

— Сядьте! — главный всё же умел вот так, голосом и тоном пригвоздить человека к месту. — Не надо широких жестов, товарищ Трофимов. Вопрос стоит не о вашей службе, а о поведении. Вот здесь, в кабинете, сидит ваш товарищ, бывший работник профкома; если я не прав, давайте послушаем его мнение. Может, он по-другому оценит ваше поведение?

— Как можно, — своими ушами услышал в следующий момент Костя, — руководящему работнику, отцу семейства в сорок с лишним лет и пускаться в такие... я даже затрудняюсь их квалифицировать, дела? Константин Николаевич, — Иван Прокопьевич смотрел на Трофимова как-то широко хитро: вроде, прямо и строго, но в то же время не в глаза, а задерживал взгляд на груди, — я вас давно и хорошо знаю. Вы начинали на нашем заводе простым слесарем, потом были прекрасным комсомольским вожаком, общественником, ответственно относились к любому порученному делу и прекрасно справлялись со своими обязанностями. Я не узнаю вас сегодня, товарищ Трофимов. Куда можно прийти, ведя такую... рассеянную, двойную жизнь? Не успеете оглянуться, как превратитесь в нравственного калеку, в прожигателя жизни. Посмотрите, на кого вы сегодня похожи? — Иван Прокопьевич, увлечшись, начисто забыл, что и сам сидит сейчас не в лучшем виде. — Небриты, лицо... как варёная тыква. А дома? Ведь у вас почти взрослая дочь. Какой пример вы подаёте ей, только вступающей в жизнь? Вы неумеренно пользуетесь добротой Николая Сергеевича. Можете продолжать скрывать, где мы... где вы и с кем вчера были,

не в этом дело. Главное, вам сегодня надо крепко задуматься о своём поведении и сделать соответствующие выводы. Идите, товарищ Трофимов, и не испытывайте больше наше терпение.

— Так-так... — Главный инженер после ухода Кости прошёлся ещё раз по кабинету, усмехнулся чему-то. — Говорите, «прожигатель жизни»? Вы ведь, вроде, давние друзья с ним?

— Друзья... — Стропилин и не заметил, как судорожно проглотил слюну.

— Ну вот и поговорите сегодня с ним ещё раз — по-дружески. Только после работы, конечно, — и главный инженер уже вполне отчуждённо взглянул на Ивана Прокопьевича. — Можете идти, товарищ Стропилин.

В тот момент, когда Иван Прокопьевич с холодком в груди выходил от Самсонова, он ни за что бы не поручился, что тот про вчерашнее ничего не знает.

— Ты чего, опупел? — накинулся на Стропилина поджидавший его за углом у лестницы Костя. — «Где вчера был?», «Отец семейства»... Не с тобой, что ли?

— А чего бы ты сделал на моём месте? — развёл руками Стропилин. — Раз провинился — терпи. Не выдавай товарища, если сам попался. Скажи ещё спасибо, что я главному подвернулся, другой бы на моём месте точно предложил бы тебе выговор вкатить. Думаешь, если бы Самсонов знал, что мы вместе вчера были, меньше бы досталось? Вот я и сделал ход конём.

— А то он не знает.

— Как? — У Ивана Прокопьевича упало сердце. — Ты думаешь, ему известно?

— Да ты что, слепой? Видел, улыбочка-то у него какая была, пока ты меня холил? Непростая улыбочка. Шаг конём... Он тоже шахматист хороший, раз в главные выбрался. Да и мир не без добрых людей — наверняка уже всё рассказали. Так, захотел, может, тебя проверить, разглядеть получше. Даже развлечётся слегка. А я гляжу: чего Ванька такой сидит? Рад, что выкрутился, думаю, сейчас другу пособит, не даст пропасть. А тот друга-то — по темечку. Артисты... Ладно, пошли. Голова от ваших спектаклей раскаляется.

Потом, когда сидели в кабинете Кости и курили, тот всё никак не мог отойти от пережитого и ехидничал: «Где вы вчера были?.. У вас уже взрослая дочь...» Надо же — как по писаному: и «прожигатель жизни», и «нравственный калека»...

— Ты вчера-то, — Ивана Прокопьевича всё не покидала забота о том, что надо ещё идти в милицию, улаживать тамошние дела, — зачем вино выпил? Видел ведь — окружают?

— Да... — Костя сразу отмяк, кротко улыбнулся. — Сам не знаю. Всё равно, думаю, крышка — загребут. Не пропадать же добру — вот и тяпнул.

СМОКОВНИЦА БЕСПЛОДНАЯ

Он пришёл последним — на заключительное занятие нашего литературного объединения. В конце мая мы обычно устраивали прощальное чаепитие, подводили итоги наших посиделок, зачитывали наиболее удачные стихи. За окнами библиотеки скворцы выдразнивали нас и манили на улицу — и тут раздался негромкий стук в дверь.

Помнится, в самой манере постучаться — вкрадчиво, с перебоем, но неумолимо, как могла сделать одна только смерть — проникнуть в дверь, было нечто насторожившее меня.

— Тихушников, — представился он и выбросил вперёд маленькую сухую руку. — Николай Павлович. Ветеран Великой Отечественной войны. — Пауза, во время которой дядечка как бы предоставил возможность разглядеть себя: невысокого роста, худощав, серый костюмчик с планкой орденов. — Я тут романишко накопал на досуге, — дядечка сверкнул на меня холодными стёклами очков и выпростал из авоськи объёмистую, в полчетверти, рукопись. — Плод, как сказал поэт, наблюдений холодного ума и горестных замет сердца. — Дядечка вздохнул. — Семь лет самозабвенного труда и отказа от радостей жизни. Называется «Опавшие листья».

— Хорошо, — сказал я. — Посмотрю на досуге. Приходите в сентябре на первое занятие. Чаю? От чая Николай Павлович отказался. Он оставил адрес и отбыл из комнаты, заронив в нас уверенность, что хлопот с ним будет достаточно.

В тот год лето выдалось на редкость дождливым. Ливень арестовывал нас с утра, едва мы собирались выбраться по грибы или ягоды, но романа я так и не прочёл. Не мог! Открывая «Плод наблюдений холодного ума», я натёкался на одни и те же модели заезженных до тошноты фраз. «В ознаменование годовщины Октября», «наши победоносные войска», «овеянная легендарной славой»... С чувством должника я пришёл на первое сентябрьское занятие и, не поднимая глаз на Тихушника, пожал его энергичную руку.

— Ну как? — с надеждой спросил он.

— Не сейчас, — вымученно произнёс я. — Подождите, когда окажемся вдвоём.

Проведя занятие, я отпустил группу парней и девушек, принесших первые неумелые опыты в стихах и прозе. Я нарочно тянул время, не зная, как бы поделикатнее высказать мнение о романе Тихушника. На всякий случай под благовидным предлогом сгонял ветерана вместе с собой, спустившись с четвёртого этажа на первый и поднявшись затем обратно. Тот задохнулся меньше моего — с сердцем у него было всё в порядке.

— Плохо, — сказал я. — Никуда не годно. Так писали почти все мемуаристы, языком газет и плакатов. Всё, что вы пишете, общеизвестно, неинтересно и вообще неупотребляемо.

Говоря эти безжалостные слова, я отводил глаза в сторону от Николая Павловича, и когда взглянул на него, поразился перемене. Лицо его осунулось, взгляд не мог задержаться на чём-либо, руки дрожали. Уж чего другого, а того, что словом можно убить, мне самому забывать не следовало. Может, потому, поспешно заперев дверь, я выскочил вслед за ветераном, который, тихо попрощавшись после моего приговора, сгрёб роман под мышку и ушёл. По дороге — ему было далековато — мы разговорились, и то, что он рассказал, являлось по-настоящему интересным. Тихушников служил в армии восемь лет. Два года до войны, четыре — фронтовым фельдшером и после ещё пару лет — при нашем посольстве в Венгрии.

— Служба — не бей лежачего, — рассказывал Николай Павлович. — За неделю самое большее — чирей у кого-нибудь зелёной смажешь — и вся работа. Обленился вкрай. Одна забота — скорей бы демобилизоваться да к дому. Жениться пора — к трём десяткам подходило. А женщин вертится ихних около посольства — прямо беда. Мадьярки все как на подбор, статные, бёдра крутые, глаза чёрные: глянет — у самого в глазах темно делается. — Николай Павлович ненадолго замолчал, вспоминая своё заграничное житьё, и встряхнулся. — Само собой, нам было категорически запрещено с ними. Если что — чуть не трибунал. Не хотелось, конечно, таким образом со службы загреметь. Сколько ребят путёвых, героев за красивые глазки пострадало... И была там одна — дочь генерала ихнего. Любила верховую езду, частенько мимо посольства прогуливалась. Я как-то взял трофейный немецкий мотоцикл от скуки по парку покататься. И неожиданно на их кавалькаду наскочил. Лошадь под ней породистая, несколько офицеров сопровождают, всё честь по чести. Я еле успел притормозить, заглушил мотоцикл, извинился за то, что помешал их моциону. Как она на меня глянула — братцы мои, никто никогда больше ни разу так не взглянул! Может быть, если бы по-другому всё пошло, я бы и счастливее жизнь прожил... С тех пор редкий день она у посольства не появлялась. Я, конечно, никаких встречных ходов не делаю, а так, издали её фигурку ласкаю. Она же то со свитой у посольства остановится время спросить, то воды ей надо — явно искала встречи. А как встретиться, если нам даже на базар или ещё куда предписывалось ходить минимум вдвоём? Как вроде обоюдная порука. Вот лежишь ночью и прикидываешь, что дороже: свобода или красивые глазки. И ту, видно, не на шутку зацепило — совсем девчонка голову потеряла. То письмо мне по почте пришлёт, то со своими остановится, меня к воротам вызовет. Уполномоченный политотдела меня к себе вызвал, сам мужик неплохой, так, мол, и так: если хочешь спокойно демобилизоваться, прекрати. Потому что если я не отреагирую, и меня зацепят. После этого разговора я уж к воротам не выходил. Из окна на её взгляды не отвечал. Несколько раз я замечал в своей комнате зайчик, которым она из окна напротив писала на стене буквы. Я следил за белым пятнышком на стене и читал её признания — открытым текстом. Прыгал по стене дрожащий зайчик, тикал будильник в комнате — как наяву вспоминаю тот день. И вот однажды — накануне пришёл приказ о демобилизации — сижу у себя в медпункте — стучат. Открываю дверь — нате: стоит моя милая в сопровождении офицеров, опирается на руку одного из них. В чём дело? Оказывается,

эта королева во время прогулки неудачно спрыгнула с лошади и поцарапала себе ногу. Несколько выше колена. В свой госпиталь ехать отказывается. Просит оказать первую помощь у русского доктора. Каково? Я приглашаю её пройти, офицеров оставил за дверью. Дверь зачем-то закрыл на ключ. Ну-ка, говорю, показывайте, что там у вас... Это я сейчас думаю, что она с лошади нарочно свалилась и царапину накануне сделала — чтобы ко мне попасть. Обработал ей ранку — пустяковина. Она за всё это время не то что глаз с меня не сводит — ласкает всего взглядом. Видно, блажь — влюбилась без памяти. Но я про наказ уполномоченного не забываю, чувствую, время на перевязку истекает — как бы не влипнуть. «Всё,— говорю,— готово». Она с неохотой встаёт, говорит на хорошем русском: «Чем обязана за визит русскому доктору?» «Наше здравоохранение,— говорю,— бесплатное, и даже с иностранцев мы денег не берём». Она как будто смутилась, но овладела собой и ещё с большей решительностью: мы-де не можем уйти просто так — и глазки потупила — ничем не отблагодарив. Пусть доктор назначит другое вознаграждение. И вот помню её всю в эту минуту. Взгляд её...

— Ну и? — вырвалось у меня, неловкого слушателя, следившего за вдохновенным рассказом несостоявшегося мемуариста. Зато на моих глазах... «Мопассан новый родился!» Я вдруг натолкнулся на лицо Николая Павловича, принявшее выражение как при нашей первой встрече. Тихушников приостановился, подтянулся и, холодно сверкнув стёклами очков, пролаял голосом хорошо вымуштрованного вояки:

— И всё же я доказал ей, что в нашей стране здравоохранение бесплатное!

«Ну и дурак!» — чуть не вырвалось у меня, а вслух я проямлил что-то, и мы расстались.

МУТНАЯ ВОДА

Леониду Шорохову

В доброе старое время, ещё при батюшке-царе, этого народу тоже было хоть пруд пруди. Бабы в больницу дороги не знали, рожали, сколько бог даст, кому суждено было — помирал. И в семье не без уroda — физического ли, повреждённого ли в уме. Архетипом нищих и юродивых в моей памяти значится Костя Парунич. Родитель его неизвестен, мать, нищенка Паруня, дала отчество. Костя, неся на себе печать вины отца, пришёл в мир, чтобы каждый, подавая ему милостыню, спрашивал себя, в чём он виноват. Костя был ровесником века, ходил всегда с несколькими узлами и был склонен к уличной беседе.

Ростом был на голову выше остальных, и в то время, когда другие, чтобы выжить, «непареные гнулись», оставался прямым, как гвардеец. Зимой и летом по улицам городка можно было встретить старика-Костю. Не имея постоянного угла, он каждый раз ночевал в новом месте. Приютить его считалось почётным. Что-то сдвигалось в душе после его посещения: не в Косте самом было дело, но в тебе: обогреешь убогого или отмажешься куском пирога.

Другой, Илюша Писмарёв, заявил о себе во время войны крамольной частушкой. Возвращаясь с завода домой (Илья работал в дворовой команде плотником), он прихватывал по пути полено и, держа его, как скрипку, под частушку перепиливал пополам. Спеть её в те годы нормальному человеку — означало загреметь куда Макар телят не гонял, этому же делалась поблажка.

*Уха-ха, уха-ха,
Была яма глубока.
В ней жили мышки —
Серые кубышки.
Прибежали ермаки —
Посшибали колпаки,—*

пел Илюша в другой раз. Пошлют «команду» обметать перед Октябрьской заснеженную трибуну — Илья как бы невзначай уронит: «Дураки пришли умным дорогу показать». Станут у мастерской крышу ремонтировать — и снова тут как тут: пока, мол, наверху

порядок не наведут, внизу жизни не будет. Брат Илюши, Николай Савельевич, был в горкоме партии третьим секретарем, «по идеологии». В высказываниях Ильи он чувствовал душок аполитичности, а в «ермаках», которые «посшибали колпаки», усматривал намёк на революционные события. После очередной выходки Ильи Николай Савельевич «психовал», звонил безответному начальнику ЖКО Семёну Николаевичу и кричал, что «най-дёт, с кого спросить», что не сам же Илья свои частушки сочиняет. Начальство делало Илье выговор, на что тот отвечал: пусть, мол, своих поучает, а мы тут не дурнее дурного. От всей этой метафизики у Семёна Николаевича шла крутом голова да рождалось желание посушить заранее сухарей. Он сетовал на свою злую долю «век с дураками маяться», что не дают ему в работники кого-нибудь поумнее — на что Илья резонно отвечал, что умных да толковых на всех господь не припас, кому какие достанутся.

У Николая Савельевича была одна привычка, бесившая «партейцев». Во время речевой деятельности — а Писмарёв «поговорить не любил» — он забывался, рука его кралась за спину под ремень и почёсывала тело. Чем сильнее Николай Савельевич заводился в разговоре, тем, очевидно, яростнее зуделось сзади, и Писмарёв не сдерживал себя. В конце же разговора Николай Савельевич, бывало, ещё и обнюхает палец! «Партейцы» «психовали», здороваясь с Николаем Савельевичем, но продолжали подавать ему руку. «Кошка ведь тоже горчицу лижет», — говорил по этому поводу Илья. И невинно прибавлял, что, мол, вся их болтология с душком.

Николай Савельевич чесался и обнюхивал палец и на трибуне! Во время праздничных речей, которые ему, как и высказывания брата, готовили другие, Николай Савельевич впадал в особый экстаз и так выкладывался перед микрофоном, что отдать эту роль кому-нибудь другому не приходило в голову.

«Всяк спляшет, да не как скоморох», — прокомментировал события Илья. Интонации животного удовольствия заражали через микрофон «массы», а стоящих позади Писмарёва «товарищей» бросало в сатанинский кайф. Николай напрочь отрекся от брата-недоумка. Видно, это шло не только от желания разграничить себя, умного, с дураком, но являлось инстинктивным уходом от опасности. Долго ли было чьей-нибудь умной голове заподозрить, откуда идёт аполитичный душок в прибаутках Ильи? «Пей вино, ходи в кино, радивом закусывай», — так и сыпалось из него.

Женившись, Николай Савельевич сразу ушел в «казённую» квартиру, Илья остался бо-былить с отцом-матерью. Отмазавшись месячной четверти-ной, посылаемой по почте, Николай забыл дорогу в родительский дом. «За что нам доля такая? — сетовала мать на Илью. — Из-за этого Колька в дом глаз не кажет».

Однажды — дело было в страду — Илья прогулял три дня. До революции заводчики давали рабочим две недели, чтобы поставить сено, нынче все подчинил себе «план». Рабочие были мыслями на покосах, где попевали ряды, конторские завидовали тем сослуживцам, которые жарились на пляже «в Сочах». Илюша, поразглядывая вывески на дверях кабинетов, добрался, наконец, до приёмной.

— Сколь у вас тут народу без дела сидит, — сказал он с тяжким вздохом опешившей секретарше.

— Вы бы переоделись сначала, — заметила она, видя, как Илья ринулся на штурм директорского кабинета.

— С чего бы это? — недоуменно приостановился Писмарев. — Сегодня праздник, что ли? К Ленину вон, — Илья показал на картину «Ходоки у Ленина», — мужики в лаптях при-ходили. — ...Можно? — вкрадчиво спросил Илья в дверную щель директорского кабинета.

— Пожалуйста, — буркнул директор, не отрываясь от бумаг.

Илюша, однако, вместо того, чтобы войти, прикрыл дверь и, потоптавшись на виду у растерявшейся секретарши, заглянул к директору опять.

— Можно? — снова спросил он.

— Можно, — ответил шеф, не поднимая головы. Илюша закрыл дверь и в третий раз повторил свои действия.

— Я же сказал, можно! — рявкнул директор так, что струхнувший Илюша испуганно поспешил из приёмной.

— ...Иван Митрич, — сказал Илья директору завода, когда начальник ЖКО привел Писмарёва в приёмную на очную ставку, — подтвердите этому Фоме неверующему,

что сами разрешили три дня отгулять. Вы же три раза крикнули в тот раз — «можно»... У Николая Писмарёва, которому директор по-своему выразил недовольство, сдали нервы, и он решил посадить брата на пятнадцать суток за саботаж. На Илью оформили заявление, ордер на арест — и забрали в кутузку.

То, чего насмотрелся там Илья, временами прорывалось у него в некоторых фразах.

В пятидесятых «статья» отступила, но методы, применяемые к «указникам», ещё не выветрились. Илью, правда, милиционеры не притесняли: то ли боялись брата-секретаря, то ли не хотели «с дураком связываться».

— Что же ты с имя делал, с кормильцами? — спрашивали потом в столовке мужики Илью.

— Руководил, — отвечал тот и погружался в блаженство воспоминаний. — Разочек начальник показал, как надо, и мне передоверил. Вот ближе к вечеру построишь наряд, а они — пьянехоньки. Стоят, родимые, друг за дружку держатся, чтобы не упасть. «Ну, говорю, ребятёшки, скажите честно, сколь вы сегодня выпили — ничё не будет». «Шесть штук, — отвечают, — на четверых». «Много, — соображаю, — как и начальник им, бывало, выговаривал. — Это нам бы с заместителем на полнедели пировать хватило».

Через пятнадцать суток Илью выпустили, но что-то успело проникнуть ему в душу от мира службы. Его вновь потянуло к людям, одетым в форму. В милицию его больше не пустили, он ковылял в пожарку. Иногда при сдаче караула в Илье вдруг оживало то, что он успел ухватить в милиции. «Молчать, сука! — замахивался он ни с того ни с сего на одного из бойцов, разговаривавших в строю. — Сгною! — И, ткнув опешившему бойцу в грудь пальцем, твёрдым, как дуло пистолета, точно копировал начальника милиции. — Да я тебя пристрелю сейчас — и мне за это ничё не будет!»

Начальник караула, сам бывший милиционер, терялся, «психовал» и, путаясь, орал на Илью: «Трое суток ареста!» И, опомнившись, просил кого-нибудь из бойцов: «Никифорыч, уведи ты этого придурка с глаз долой, чтобы я его тут не видел!» Илью отстраняли от «несения службы», но назавтра он приходил в другой караул — всего было четыре смены, усаживался за стол и простодушно выкладывал, как «милиционер» вчера опять сорвался. И Писмарёв опять в фаворе: день-деньской сушит пожарные рукава, драит крылья машин, поливает из резинового шланга бетон... Выехать же на пожар для Ильи — просто счастье.

Подъехать к пылающему дому, услышать особый возбуждающий звук пламени, шелест ветра, постреливание головней, шипение угля... С пугающе радостной улыбкой путается под ногами бойцов, от которых наносит перегаром, поправляет рукава, покрикивает на ребятёшек, слишком близко подступивших к огню. И разве остальных — не радость любопытства пригнала на пожар?

«Да каждый день бы выезжал», — написано на восторженном лице Илюши, когда поливает он из брандспойта чернеющую под струёй стену, поглядывает, как мужики, организовавшись в цепочку, передают мутную, уже с землёй воду из вычерпанного коловца, как ревут обнявшиеся в сторонке погорельцы, как бегают среди людей ошалевший телёнок, с верёвкой на шее, и овцы... И не один из мужиков, встретившись взглядом с Ильёй, вгорячах намеревался было огреть дурня первой попавшейся «холудиной» — чего, мол, сияешь, радуешься? Но тут же вспомнив, что потом «не отмоешься», спешат прочь. «А сейчас будет самое интересное», — говорит писмарёвский взгляд, остановившийся на замёрзших овцах. И те вдруг обречённо кидаются в огонь, в родное стойло.

Потом я не раз думал об одном и том же. Что, если бы Илья, пользуясь покровительством брата, захотел служить в карательных органах? Врачи бы «ошиблись», начальство бы, закрыв глаза, приняло на службу. Ведь это так недалеко — вместо рукава с брандспойтом или раструбом вручить ему автомат. И случись заваруха, как бы, наверное, старательно, закусив кончик языка, обкашивал он ряды забастовщиков, смутьянов, как потом добывал бы раненых, колченого переходя от одного к другому... И сколь соблазнительно привести к присяге именно такого. Этот бы исполнил, что приказывают, не задумываясь, не дрогнув бы, увидев в толпе знакомого, родственника или подростка.

Ах, это Илюшино выражение старательности на лице, некой убежденности — подобно тому, с которым изображали на плакатах пионеров и комсомольцев, а то и более старших строителей нового общества — с милой дебилинкой на лице, которой у нормального человека в жизни не встретишь. В инструментальный цех, где начиналась моя «трудовая

деятельность», пришел некто Миша. Миша был третьим сыном одного партийного работника и представлял собой ту обеднённую человеческую природу, которой черпанулись оденки наследственной энергии, с илом и мутью, навроде той воды, что подавалась на пожаре из колодца.

С Мишей много мучились в школе — стараниями родителей его тащили из класса в класс. Ради поголовного образования отец надавливал на горно — Мишу доучивали на дому, — и парень немало над этим понасмехался. Для отпрысков начальства инструментальный цех был трамплином в партию, комсомол или контору — ляжку работы тянула за них «чёрная кость», Миша был не приспособлен к работе с чертежами, а подметать цех не захотел.

Его сосватали в милицию — опять же стараниями отца. Для поступления туда Мишу надо было принять в комсомол, а рекомендацию никто не давал. «Серёг, ну никто из этих козлов не соглашается, дай хоть ты», — всё приставал он ко мне. Я подписал ему бумажку, и Миша пополнил «ряды» доблестных органов.

Через год осенней ночью мы с другом лучили под мостом налимов, и Миша задержал нас с поличным.

— Руки вверх, падлы! Выходи по одному, а то стрелять буду, — орал он с моста.

Я узнал его по голосу и вышел навстречу.

— Миша, — сказал я, отчетливо сознавая, кто передо мной. — Тебе, дураку, вовсе не за тем давали рекомендацию, чтобы ты меня пристрелил.

— Так это ты, что ли, Серёг? — переменял Миша тон. — Ну, тогда другой разговор. Хорошо, что вы не побежали, а то... Вот тогда, трясаясь на сиденье милицейского «газика», — Миша даже вызвался подвезти нас домой, — я вдруг подумал, что это — серьёзно. И пионеры на плакатах с лицами дебилов, и ритуальный психоз праздничных демонстраций, подчинённых вонючему персту идеолога, и на выборах застывшая улыбка уполномоченного, встречающего каждого избирателя... И под шипение карбидки щелчок отведённого затвора.

«А то...» И, думалось мне, сонмище масс, встревоженных падением «учения», под крышей которого жили и кормились, поведут себя в случае заварухи не лучше овец на пожаре. Многие, снова сбившись в кучу, покрутятся вокруг вспыхнувшего стойла и обречённо бросятся в огонь.

Что мне не удавалось ни разу увидеть, так это двух недоумков вместе. Сколько ни мечталось озорным мужикам «собрать их разочек всех да поглядеть, что будет», ничего не удавалось. «Об чём мне с ём, с дураком, разговаривать?» — отмахивался один от предложения встретиться с другим. «Еще поленом огреет — чего с него, с ненормального, возьмёшь?» — с улыбкой отмахивался другой. Оставалось одно: послать дурака к умному.

Но умные, особенно из начальства, общались с недоумками через подставных лиц. Очевидно, в случае поражения они боялись потерять последний авторитет. «Но ведь брат же, — подначивали Илью мужики, — сходи хоть в Пасху к Николаю, похристосуйвайся». «Он с чёртом всю жизнь христосуется, так чё там?» — отвечал Илья. И уж голова шла кругом, как раздумаешься: кто же из них — нормальный? Илья смотрит за стариками-родителями, приносит домой зарплату, не пьёт, следит за хозяйством. Другой, Николай, присылая по почте четвертную, забыл родной дом, произносит с трибуны странные заклинания, в которые не верит, да и не понимает их, но гребёт за это зарплату... Прикидывать же, насколько человек нормальный, стало моей навязчивой идеей на всю жизнь. Я заметил, что без дураков не то что скучно — без них не обойтись. Общество самых умных людей разваливается, если в нём не находится человек, ну, с самым лёгким «приветом». Умные люди, собравшись вместе, ищут, кого бы просмеять — и вот у кого-то из них не выдерживают нервы, кто-то сам берёт на себя роль шута.

За последние пятнадцать лет я работал в школе, где, литератор, преподавал физику и географию, скрывал свою профессиональную непригодность на заводе... В каждую роль я вживался так, чтобы сделаться незаметным, и уже ничему не удивлялся, слыша любой бред. В «коллекцию» дебилов попадался всё народ неяркий, редко-редко в лотке мелькала золотинка.

Как-то после ночной смены я проходил мимо продуктового магазина — там всегда тёрлось человек пятнадцать, карауливших товар. Среди стоявших выделялся рослый,

лет тридцати парень. Он нескладно жестикулировал и толстым надорванным голосом трубил про Горбача, перестройку и гласность, партию и народ, как его «вчера про- давцы на пятнадцать копеек накололи, а ему и так жрать нечего». Всё! Идти дальше я уже не мог.

Я стоял в сторонке с отстранённым видом сексота и слушал то, что сидело во мне за семью печатями. О чём каждый вечер ещё «тихо сам с собою» и нынче кое-где вылезало наружу. «Паня, уймись, — не очень настойчиво просили „бабы“, — мало ли чё». «Да каво вы боитесь, нынче же гласность». «А потом? Выслушают, да и завтра заберут, запрут, куда надо». Но Паня не унимался. Он снова бубнил про то, что Сталин — злодей и кровопивец, что потом «пришёл Хрущев и намудрил со своей кукурузой», дальше вконец заворовалась партия и вот теперь отмывается. «Потому и мыла в магазине нету», — за всяко-просто за- ключал Паня. Некоторые густопсовые старики-сталинисты выходили из себя, грозились, что неизвестно ещё, куда кривая вывезет, а в сороковые годы за такие речи не посмо- трели бы, а живо отправили бы куда следоват. «Ну уж фигушки, — думал я и вспоминал Илью Писмарёва. — Ещё как бы „посмотрели“. Послушали бы с удовольствием — те же энкавэдэшники, как высказывается вслух крамола — и куда бы не донесли». С тех пор, услышав Панин голос, я трепетал словно в предвкушении добычи, а ноги сами вели меня к магазину. Что нового мог сказать мне этот человек? То, что перестройка — обман? Что «Горбачёв с Райкой продали Россию за границу»? Что «кто ходил с голой задницей, тот с ней и останется»?

«Сталина надо, — бубнил Паня в другой раз, нисколько не смущаясь противоречиво- стью собственных постулатов. — Какой бы ни был строгий, а при нем на прилавках всё лежало». «Бабы» снова согласно кивали головой. Кто-то помоложе попытался вякнуть, что, мол, коли треть страны мёрзла в лагерях, у остальных было всё. Другие мечтали «ны- нешнюю треть потягаче туда же затолкать».

— Семьдесят лет вышибали мозги, а теперь заставляют думать, — продолжал Паня. — То ли дело при Брежнев: вот умели воровать! Сами крали, да ещё и простым оставалось!

Вообще, я в эти дела постепенно втянулся. Помимо подслушивания дураков, я старался раскатать своих приятелей, способных на сколь-нибудь связный рассказ, подвигал к бесе- де вагонных попутчиков, а то и просто незнакомых лиц. Это было нечто вроде увлечения, болезненного и необъяснимого — в любой беседе доходить до «дна», до «мутной воды».

Меня профессии, я к тому времени, как сказала одна моя знакомая, «докатился до пожарки». Однажды я стоял у конторы этой почтенной организации и поджидал началь- ство — чтобы взять направление на ежегодное медицинское обследование. Неподалеку прогуливался дядечка мопассановского вида, с портфелем и в аккуратном старомодном костюме. Время от времени он насмешливо поглядывал на меня, и уж не помню с чего мы разговорились. Уже минут через пятнадцать дядечка очень доходчиво разъяснил мне теорию всемирной гравитации, затем от идей «неоглобализма» и влияния вселенских за- конов на развитие «нижерасположенных умов и цивилизаций» нас бросило в политику. Манера беседы была примерно такой.

— А вы знаете, молодой человек, как славяне в Европе появились? Что Карамзин... Э, а ещё... Ну, так и быть, расскажу. Или:

— А вы знаете, что произошло, когда впервые расщепили атомное ядро? Эх, молодой человек! Стыдно. Это же так элементарно... Я в ваши годы...

Впечатление было такое, что дядечка ядра эти — как семечки...

— Так вот, слушайте. — И следовала лекция по ядерной физике, с параметрами темпера- тур, уровней радиации, именами ведущих учёных и фактами их биографий. — Последнее место моей работы, — продолжил Илья Семёнович, как звали дядечку, — в эксперимен- тальном центре по применению атома в мирных целях. Представляет, направленным взрывом поднимается в воздух несколько квадратных километров земли и переносится в заданное место. Вместе с деревьями, дерновым покрытием, и даже структура водоносных капилляров не нарушается. Обнажаются пласты каменного угля — подъезжай и бери...

— А остаточная радиация? — на последнем мужестве усомнился я.

Но хоть бы один мускул дрогнул на лице Ильи Семёновича. Он прищурил глаза, как бы прикидывая в уме инженерные расчёты, и убеждённым голосом произнес:

— А там её практически не остается.

Тут откуда-то сбоку вынырнула старушка, согбенная, с бесцветным лицом, проворно захватила Илью Семеновича, как крючком, под руку и повела его к автобусной остановке. Напоследок старушка огрела меня неласковым и подозрительным взглядом.

— Какого я человека нынче встретил, — доверительно сообщил я через пятнадцать минут знакомому врачу-психиатру, подавая на подпись справку. — Не только семи, но и восьми пядей во лбу.

Женщина-врач от скуки выслушала мой рассказ. И некоторая восторженность успеха-таки передаться ей, прежде чем женщина спохватилась.

— Как же, знаем, — сочувственно отозвалась она, — Плетнёв Илья Семёнович, четвёртый год наблюдаю. А чего это вас все тянет к ненормальным? Смотрите, с кем поведёшься...

— Как к ненормальным?

— Знаете, что он мне в прошлый раз предложил? — докторша, давняя приятельница жены, говорила так, словно не хотела разочаровываться в моей вменяемости. Подписывать справку она тем не менее медлила. — Проект туннеля от нас прямо в Америку. «Представляете, — говорит, — доктор, пространство можно элементарно сплющить — и Америка окажется в пяти минутах езды. До ядра Земли разгоняешься силой тяготения — на том же метро минуешь центр, подгазовываешь — и в Чикаго!» «А зачем, — спрашиваю, — имен-но в Америку?» «Э, — говорит, — и хитро так смотрит. — Там к дуракам, и тем больше внимания».

— А что, пожалуй, это интересно, — задумчиво сказал я и заметил, что глаза докторши потухли.

— Одевайтесь, — сказала она. — Вот рецепт. А со справкой зайдите к Давиду Яковлевичу.

ЛОВЦЫ РЫБЫ И ЧЕЛОВЕКОВ

Рассказывает он так, как вот уже полсотни лет плетёт свои сети: слегка прищурившись, нащупывая, как ляжет нить, примериваясь, насколько подтянуть узелок. А выражение лица дяди Коли таково, будто крадётс я вдоль мережек с запутавшейся рыбой.

— Мне в то время лет шестнадцать было. Образование — четыре класса, только что начитан был, что твой профессор. С книгами мне повезло: около нас учителя Селивёрстовы жительствоваали, у них библиотека была. Учителя происходили от бывших ссыльных, ещё до революции их родители у нас обосновались. Раньше ссыльными были, а при мне уж именитыми сделались. Я всё им рыбу подтаскивал. Ничего, не чванились, и тебя другой раз с собой за стол посадят. Так потом не столь за еду спасибо, сколь о себе возомнишь: с именитыми чуть ли не из одной чашки хлебал.

Больше я у них книгами пробавлялся. Сабанеева сперва прочитал, по своему рыбацкому делу. Того, дореволюционного: нынешнюю книжку, переизданную «по Сабанееву», даром не надо. Ну а потом и художественную стал почитать: Марка Твена, Фенимора Купера... Задумываться начал, что к чему. Лежишь, бывало, на берегу под топодем, думаешь над тем, что внушали: Бога, мол, нет. А тогда кто же столь травок на одной только полянке вот этой посеял, букашек, птиц в лесу расселил, да разукрасил каждую так, что глядеть любо? Сейчас говорят: природа, мол, да человек. А мне кажется, что все эти атомные и космические дела тоже от Бога: спытайте, мол, да обожгитесь разок, как без меня? Отца моего посадили еще в войну — на перегоне паровоз уронили. Обыкновенная авария, а припаяли вредительство.

Я тогда первое время так думал: коли родитель у меня в тюрьму угадал, то я тоже непременно именитым должен стать — вон, как Селивёрстовы. Однако с четырьмя классами образования не распрыгаешься, да за старшего в доме остался — ораву кормить надо.

Летом рыбу ловил, мать на базаре продавала, в артели золотопромышленной помогал. Удивительно там дело было поставлено: семеро моют, один из них, дядя Паша хроменький, бухгалтерию ведёт. И держались мужики за работу — дядя Паша этот дошлый был, под тобой на два метра видел. А как приставили к ним начальника, нормировщика,



бухгалтера, так всё развалилось. Конечно, виноватых нашли, артель только потерялась. Тогда у нас в семьях так заведено было: если за мужиком приезжали из органов, то хозяйка или занавесочку по-особому задёрнет, или цветочек на окно выставит — человек, глядишь, день-другой по воле гуляет. И веришь ли, пришли в одночасье и за мной.

Вечером, как стемнело. Мать в рёв: куда, мол, уводите, кто семью кормить будет? Постой, говорят, может, обойдётся. Приводят меня в отделение МГБ, ведут в кабинет к начальнику. Сами сопровождающие вышли. Встаёт начальник, прошёлся туда-сюда по кабинету. Оглядел меня всего, спрашивает:

— Как зовут?

— Колька.

— А меня знаешь, как?

— Зотов,— отвечаю,— Фёдор Степанович.

— Рыбу умеешь ловить?

— Сызмальства приучен, с горшка в лодку сел.

— Ну и ладно. Собирайся завтра часикам к пяти вечера — удить поедем.

Слова он произносил по-своему: начальник МГБ все-таки. Мне сначала смешно слышать было его «уди;лице», «дея;тельность», «про;токол». А уж если коньяку его милость со мной выпивала, то непременно «сма;ковал».

Первый раз поехали — я машинально клочок сетки, метра в три, под скамейку бросил. У него удочки бамбуковые, я таких еще не видывал. Стали у водорослей, он каждое колено тщательно укрепляет, червя насаживает, плюет на него — как учили. Надёргал окунишек, теперь, говорит, поедем уху варить.

И всё сам делает: и дров ищет особых, и воды по-своему зачерпнёт, а уж в уху чего только не приготовил: и перцу, и корицы, и гвоздики... Всё чуть ли не в граммах отмерил — такой педант. Ну да мне же лучше — не кашеварить. Взял это, сплавал рядом в заводинку, бросил сетку, подождал, пошлепал веслом — тоже везу окуней ведёрко. Да каждый по фунту, не меньше.

Фёдор-то Степаныч удивляется: как ты? Ну, думаю, перед этим бесполезно темнить — показываю клочок сетки. Вот, говорит, что же сразу не сказал? А мы с тобой мелочью занимались. Может, у тебя получше сетка есть, так возьми в другой раз.

И началась наша с ним дея;тельность. Как шесть часов вечера, он с работы прямо в форме другой раз ко мне нарезает. Сам берётся за весла: мне, мол, размяться надо. Меня садит на нос вперёдсмотрящим. Проплываем мимо плотов, а мужики, как один, около своих лодок стоят и шапки скидывают. Ну, я и поначалу, бывало, к голове потянусь, камилавок своей пощупаю. Удить, мол, поехали, ловцы рыбы и человека. А уж пруд мы не только в вершине поперёк перегородили, а и повдоль опутали. «Мы ведь не браконьеры,— это Фёдор-то Степаныч меня же и успокаивает.— Это которые по полтонне хапают да продают. А мы что ж, пару-другую рыбок для себя».

Я уж молчу, как тот кот, который рыбу съел, и его теперь ругают. С ним-то, с Зотовым, вечером «для себя», а основную рыбу, которая ночью насуеться, я утречком оберу, да мать днём разбазарит. Дело-то, гляжу, ладно пошло... Только жадность — плохой советчик. Я уж и сам, без Зотова, до того дея;тельный стал, что удивление брало. Все уловистые места у мужиков к рукам прибрал. Сетки чужие взялись снимать — когда с Фёдором Степанычем крейсиреуем.

Про удилища уж и не вспоминаем — с одними сетками валандаемся. Мужики через мать передают: сам, мол, живёт, другим пусть тоже оставляет. Куда там! Стал хозяином пруда и его окрестностей. Сам Фёдором Степанычем сделался, еще Зотистой.

Мужики только что не ревут, а что сделаешь — такого страху тогда нагнали. Мать не таясь уж рыбу на базаре продаёт. Вечером мимо причалов плывём, я уж на соседское здорюкание и козырёк не надломлю. Даже руки к голове не подношу: именитым сделался. И возьми же кто-то из мужиков, поотчаянней, и скажи мне в ту пору: вот, мол, отец вернётся из заключения, узнает, как ты с его посадчиком удил, тогда и повертись... Вот тут я задумался. Вроде бы разозлиться надо было на Фёдора Степаныча, как-то отомстить за отца, а зла — нету.

К тому времени я уж разглядел его всего: в житейском плане немного он от наших отличался. Женат, дочка в школу ходит, парнишка в детсад. Не сказать, чтобы жадный был или пьяница. Про работу только не любил говорить. Как-то сидим с ним вечером у костра — тепло, рыба плавится, тихая радостная минута.

— Вы зачем же,— говорю,— отца нашего посадили? — Как-то само собой вырвалось.— Неужели верили, что он — вредитель?

— Да нет... — Фёдору Степановичу сразу неловко сделалось.— Время сейчас такое. Мал ты ещё, Коля, чтобы это понять.

— А если не верили, то зачем человеку жизнь портить?

— Так если по-другому сделать, меня на этом месте никто держать бы не стал.

«А кто тебя держит-то,— думаю. Это уж мысль сама так прихотливо побежала,— кто твой хозяева?»

С того вечера весь интерес у меня к рыбалке отшибло. Плывём к сеткам, а я так и смя

прикидываю: кто кого держит, да кто народ, да где сам нахожусь. И возомнил о себе, что и теми, и другими управляю. Фёдором Степановичем — по его неразумению, а теми, кто нам с плотов честь отдает,— страхом.

Тут уж я совсем ошалел, сам чужие сетки взялся сымать. Мужики зубами скрипят, а меня не трогают. Отчаяние нашло, искушение: насколько же, мол, у вас, голубчиков, терпежу хватит? Не знаю, наших ли кто умудрил или Фёдора Степановича сослуживцы подкузьмили. Тогда они ночами дежурили, эмгэбэшники. А мы с Фёдором Степановичем на озере службу отправляли.

Поджидаю его вечерком, сетки припас наилучшие... А того не чую, что уж и под мою особу невод завели. Подъезжают на «воронке» прямо к воротам: пожалте с нами. Гляжу на милиционеров — наши же и служили — морды поганые, в глаза не смотрят. Может, спрашиваю, ошибка? «Нет,— отвечают,— у нас ошибок не бывает, вот ордер на арест и на обыск».

Так в дом даже зайти не дозволили — вместе с сетками, как карася, в «воронок» и погрузили. Привозят, я еще в голове держу, что всё это недоразумение, только бы мне Фёдора Степановича увидеть, он всё разъяснит. А уж Фёдора-то Степаныча, оказывается, нету, съели его, другой вовсю заправляет. Горячий, говорят, крутой...

А меня пожалели — через три дня выпустили. Один из тех же милиционеров, которые привозили, проводил по коридорчику до двери и на прощанье в темноте под рёбра ткнул. Я уж смолчал — и на том спасибо.



Светлана
ЧУРАЕВА



ЧУДЕСА НЕСВЯТОЙ МАГДАЛИНЫ*

«Творчество для меня — это форма существования, без него я не чувствую себя вполне живой... Для каждого нового произведения приходится искать новый инструментарий. Безусловно, всегда происходит перевоплощение сродни актёрскому (вплоть до того, что заболеваешь теми же болезнями, что перенёс герой). Знаю, что многие писатели начинают со схем, планов, для меня же на первом месте — идея, некий рычаг, переворачивающий пласт окружающей действительности. Далее важно создать живого героя и среду вокруг него. Для этого я настраиваю, если так можно выразиться, жадные, но избирательные антенны, улавливающие то, что может понадобиться в «строительстве» нового мира и нового существа (существ) в нём. Как ручейник, который лепит домик из подручного материала, я из окружающего «сора» наверчиваю пёстрый «домик» произведения. Удивительно и радостно наблюдать, с какой готовностью мир подбрасывает «строительный материал» — столько замечательных совпадений происходит, очень интересные люди появляются в моей жизни, притянутые пишущимся текстом. Ну а дальше всё просто: с удовольствием наблюдаю, что происходит в созданной литературной реальности и записываю по возможности точно. Точность важна: её приходится иногда добиваться долго: пока не пойму, что «попала в ноты», что есть достаточно полное совпадение с «правдой текста». Первые варианты текста чаще всего напоминают подстрочные переводы, я их выбираю и начинаю снова и снова».

— Ты большая! — внушали матери Магдалины, когда та была маленькой девочкой. — И должна понимать, что хорошо, а что плохо. И что такое «нельзя».

— Яблоки — яд! — кричал папа.

— Это не прихоть, — орала мама. — Это — вопрос жизни и смерти!

— Ясно?

— Ясно?!

— Что было в прошлый раз, помнишь?

— Помнишь?!

И мать Магдалины — тогда ещё девочка — обмирала вся, как опоссум, и представляла, что уже умерла.

От «прошлого раза» остался сладкий вкус за границами нёба. Там чесалось и хотелось сглотнуть.

А у Сашка не кричали — смеялись, болтали, и на девочку всем было плевать.

Яблоки светились перед ней на тарелке, и Сашок предложил уверенно:

— Ешь.

Он не шутил и говорил голосом добрым — по-настоящему. И как взрослый человек понимал, что хорошо, а что плохо. И что значит «нельзя».

— Можно, ешь. Они мытые.

— У меня аллергия.

— На яблоки не может быть аллергии. Тем более на зелёные. На.

Девочка взяла холодное яблоко, уточнила:

— Я не умру?

И съела.

И с тех пор не могла больше есть обычную пищу. Ела только яблоки — тайно. Обрывала горькие городские ранетки, кланчила у подруг, подбирала падалицу с фруктовых ларьков...

Она стала бесстрашной и хитрой и знала, что родителям её не поймать.

Правда, сначала тошнило, рвало жёванной мякотью с хлопьями кожуры, а вслед выдирало слюнями — от сладкого запаха непереваренных яблок.

Она ложилась щекой на холодный край унитаза и пыталась представить, как это — умереть?

Лечь, как бабушка, в тесном гробу под землёй? Далеко над тобой растёт трава, дышат цветы и деревья, ходят люди, беседуют, слушают птиц... Над ними — воздух, много

* Из романа «Shura_Le». Журнал «Октябрь», № 12, 2013.

воздуха. Над воздухом — небо. И солнце кончается как раз там, где земля. Та земля, которая лежит над тобой. Под ней не чувствуешь ни холода, ни тяжести, ни вины. И не слышишь, как тихо. Лежишь там со своими ногами, руками, пальцами и лицом, а мир живёт уже без тебя.

А ведь врач обещал, что всё будет нормально. Когда девочка спросила: «Я не умру?» — Сашок смеялся, смеялись все его гости. Один из них сказал, что он врач и точно знает: яблоки не смертельны.

— Максимум — будешь маяться животом.

Животом она маялась, очень. После первого яблока был понос — даже с кровью. Кровь потом вылилась ещё чуть-чуть, сама по себе. Девочка пыталась её отстирать — и мылом, и порошком, кровь смывалась, но на трусах всё равно остались пятна, их увидела мама и — вот первое чудо! — не стала орать.

— Всё нормально, — сказала она. — Так будет каждый месяц.

И соврала. Не было больше ни поноса, ни крови.

Насчёт яблок мама тоже врала. Или просто не знала — она же не врач. Конечно, девочка подошла к процессу научно, — после нескольких приступов рвоты начала приучать себя к яблокам, постепенно. И, чтобы никто ничего не заметил, понемногу ела обычную пищу. Живот болеть перестал, и больше не было рвоты.

А потом начались мелкие чудеса. Утром по двору бегал кот и оскорблённо вопил. Близнецы из второго подъезда сказали, что бомж, который живёт в подвале, выстриг ему полосками хвост: полоска меха, полоска кожи, полоска меха — и снова голая кожа...

Будущая мать Магдалины ответила, что в подвале нет никакого бомжа. Папа однажды заводил её туда за руку, показывал на огромные — от стены до стены, завёрнутые в фольгу и рваный ватин, — грязные трубы и говорил:

— Видишь? Как тут можно жить?

Близнецы спорили, пришлось идти с ними в подвал. Трубы произвели впечатление. Близнецы притихли.

— Клёво, — шептали они. — Тут клёво! Тут кино можно снимать. Про космос или про подземные города.

— Только воняет.

— В кино вони не видно!

Дети шли по подвалу, там что-то шуршало, тихо гудело. Было здорово, пока им не встретился бомж.

Он висел на узкой трубе сбоку, чёрный. Дети не стали рассматривать — их мгновенно вынесло прочь.

Потом все обсуждали повесившегося бомжа, приехала милиция, «скорая», а поздно вечером над городом завис НЛО.

Темное небо высветлилось огромным бледным кругом; в середине этого круга, который всё рос и рос, мигала звезда. Люди задирали головы, близнецы побежали домой за фотиком, но их загнали. Будущая мать Магдалины понимала: ей тоже пора, ей попадёт, но стояла вместе со всеми и смотрела вверх, пока световой круг — на полнеба — не растаял во тьме вместе с мигающей звёздочкой.

Ей попало. Попало страшно, и она не сразу поняла, что за дело. Похоже, родители разужнали про яблоки.

— Рассказывай! — орали они.

— Как всё было? Всё рассказывай!

— Быстро!

— Ну!

Девочка заплакала.

— Я...

— Что?! Громче!

— Съела... Потом...

— Что потом?! Да говори! Хватит мямлить!

— Яблоко...

— Что ты мелешь? Какое яблоко?!

— Кислое.

— Ты издеваешься над нами?! Ты что, издеваешься?!

Девочка честно хотела рассказать всё по порядку: как первое яблоко ей дали запить, потому что кисло. Она, глотнув, сильно обожглась и плюнула. Но её никто не ругал, а все снова смеялись, дали горькой ледяной газировки, чтобы не жгло так во рту. Она пила ещё, потом сразу уснула, потому что было поздно. Но Сашок разбудил её и довёл до подъезда...

Девочка хотела рассказать всё очень подробно, как и где воровала яблоки, но мама начала её бить. Била по лицу, с размаха, ладонью. Орала и била. Девочка упала и поняла, что родители были всё-таки правы, а все остальные — нет. Родители поняли сразу то, о чём она догадалась только что: она не слушалась, и теперь у неё рак.

Когда девочка упала, рак резко двинулся в животе и пополз! Он полез в бок, так что бок оттопырился, он ходил в ней — живой, в пустоте! И, уклоняясь от удара, пытался прорвать девочке бок, выйти наружу. Девочка тоже поползла, схватила папу за ногу, ловила за руки маму...

— Я больше не буду,— хотела крикнуть она.— Я больше не буду.— Но губы дрожали, слёзы и сопли наполнили рот, и она только пускала пузыри — и носом, и ртом, тряслась, и никак не получалось слово: «Спасите!».

Да, она хуже всех, она — дрянь, она не слушалась,— всё правда! Но неужели ей дадут умереть?

— Я убью тебя! — взвизгнул папа.

Ужасно — он тоже плакал, и трудно было разобрать, говорит он: «убью» или «люблю». Похоже на «люблю», но любить-то не за что, и по голосу скорее «убью». Но ведь и убивать своего больного ребёнка из-за яблок он, наверное, не будет.

— Йаубювас! — изо всех сил, как заклинание, прокричала девочка распухшими неудобными губами.— Йатожеубювас! Йаубювас!

— Ах, она ещё грозитя! — Мама с рычанием трясла её, красную, слюнявую, мерзкую, вылипившую безумные глаза в слипшихся мокрых ресницах.— Нет, ты слышишь, она ещё грозитя убить! И убьёт — чтобы её хахали смогли обчистить квартиру! Тварь бесстыжая! Мразь!

— Змеёныша вырастили! Старались! Недосыпали, кормили — и вот!..— Мама зарыдала, и теперь плакали все трое.

Это невыносимо. Родители столько старались, столько вложили в неё денег и сил, и вот она обманула их, она умирает, и все труды их пропали. Им придётся рожать новую девочку, а сейчас всё так дорого, и они уже не такие молодые, чтобы заниматься с ней, и у них так много работы.

— Йаубювас...— булькала девочка: пожалуйста, скорее в больницу! Может быть, её ещё можно спасти.

— Это я убью тебя, своими руками! — Мама душила её, а у самой текли слёзы, и девочка готова была умереть немедленно, лишь бы родители закончили плакать.

В больницу её отвезли только утром. Всю ночь она дрожала, зажав подушкой живот, раскачивалась, баюкая себя, и беззвучно шептала пересохшим ртом: «Я-люблю-вас-я-люблю-вас-я-люблю-вас-я-люблю-вас...»

* * *

Утром плакал уже только папа. Он бессильно поскуливал, кривя лицо, сморкался, пил воду. Затихал вроде, но горе распирало его, и он снова заводил тихо: «Ой-ой-ой...»

Будущая мама Магдалины молча обняла его. Теперь, когда она знала, что у неё рак, ей казалось странным, что она не заметила раньше, каким чудным стал живот.

Рассекреченный рак вовсю гулял внутри, бодал узкой башкой кожу, и девочка знала: в какой-то момент острая клешня вспорет её и придётся истечь кровью.

Когда хоронили бабушку, соседка спросила о чём-то на ухо тётю Фаю, и та прошептала:

— Рак.

— Очень мучилась?

— Ещё бы. Последнюю ночь криком кричала, бедная.

Пока можно было терпеть. Да и смерть уже не казалась страшной — девочка устала бояться. Главное — выдержать ту самую последнюю ночь, а там всё кончится.

Девочка понимала: папе очень жалко её. Совсем недавно рак убил его маму, а теперь добрался до дочери, а она ещё обижалась на то, что ей так строго запрещали есть яблоки.

А ведь бабушке он сам давал яблоки: счищал кожицу, резал на кусочки и клал прямо в рот. Наверное, тогда не знал ещё, что яблоки — яд.

Кроме папы, девочку никто не жалел. Мама швырнула ей одежду, выволокла, подгоняя тычками, на улицу, хотя будущая мать Магдалины почти бежала и так.

* * *

В больнице было здорово. Как в кино. Красивая медсестра кричала на бабку, по виду — ведьму. Та в ответ стучала палкой о стену, а потом грохнулась на пол. Растрёпанная — тоже красивая — женщина с длинными чёрными волосами катила носилки на колёсах и громко выла: «А-а-а-а...», выпучив глаза. В носилках кто-то лежал, укрытый до подбородка грязной простынёй, с него крупными кляксами на линолеум капала кровь. Простыня топорщилась на груди лежащего, не иначе как там был воткнут нож.

У будущей мамы Магдалины аж дух захватило, она таращилась на загипсованных, перевязанных, окровавленных, хрипящих... На каталки, на капельницы, на рослых мужчин и загадочных женщин в белой форме. Она даже забыла, что у неё рак.

Её повели по длинному коридору вдоль кровавых клякс, кое-где уже смазанных. Кровавая дорожка шла до космических дверей лифта; внутри лифт был похож на отсек орбитальной станции, в котором кого-то убили, — здесь кровь натекла целой лужей.

А потом всё опять стало очень плохо.

Злющий врач с волосатым горлом и волосатыми руками велел ей залезть на высокое странное кресло. Девочка вскарабкалась по приступочке и робко села на холодный клеёнчатый край. Сидеть было неудобно из-за глубокой полукруглой выемки.

— Ложись! Ложись! — крикнул злющий врач с другого конца кабинета; он мыл руки и натягивал резиновые перчатки.

А как ложиться? На спину или на живот? Наверное, смотреть ей будут заболевший живот, тогда ложиться нужно на спину. Но как? Девочка примерилась, пристроила голову в полукруглую выемку, вытянула ноги по спинке кресла и вцепилась в металлические поручни. Вроде бы получилось удобно, только голова чуть провисала.

— Идиотка! — зашипела мать. — Полная идиотка!

Она грубо перевернула девочку, стараясь при этом дёрнуть за волосы или щипнуть. Руки у неё тряслись от ненависти. Подошёл злющий врач.

— А трусы кто снимать будет? Пушкин?! — рявкнул он.

Девочка заплакала. Она вцепилась в трусы, которые стягивала с неё мама, но та была сильнее, и девочка осталась перед врачом-мужиной снизу совсем голой. Более того — ноги ей растянули на те самые железные поручни, за которые она держалась вначале. Девочка извивалась, врач кричал: «Да держите её!» — у матери растрепались волосы, а глаза стали как варёные яйца. Вот тут и надо было умереть, сразу. Но как?

Будущая мама Магдалины, рыдая, тянула подол платья, пыталась прикрыться, а злющий врач, ворча: «Чёрт вас всех побери! Ещё детей мне будут приводить!» — вдруг засунул ей руку глубоко между ног.

Девочка заорала от страшной боли, но тут же затолкала в рот запястье и принялась грызть его, чтобы больше не орать так позорно.

— Да что же это такое! Прекрати кусать руки! Я тебя выгоню сейчас! — кричал злющий врач.

Потом время остановилось, а потом доктор спокойно сказал:

— Месяцев шесть, может, чуть больше.

Значит, сегодня — ещё не последняя ночь! Шесть месяцев! А может, и больше! Это же полгода — минимум полгода жизни, за это время могут изобрести лекарство от рака, и её спасут.

Добрые, хорошие врачи — они и сейчас старались как могли: дали сорочку с рваным воротом на груди, поставили капельницу, сделали укол, дали таблетки. Раньше девочка очень боялась уколов, а про капельницы только слышала во дворе рассказы — один страшнее другого. Но сейчас с готовностью подставляла руку под иглу и улыбалась всем взрослым, окружавшим её.

— Она у вас что — дегенератка? — спросил волосатый врач.

— Нет, просто дура, — ответила мать.

Девочку завели в холодную комнату, целиком покрытую кафелем, — и пол был кафельный, и стены, и вроде бы потолок. Дали бритвенный станок — как у папы, только грязнее, бутылку с надписью «Мыло хозяйственное». И оставили одну.

Девочка очень замёрзла. А живот болел всё сильнее. Вскоре за ней пришли и стали орать:

— Ты что сидишь? Что сидишь, как больная?!

А разве она — не больная?

Ей велели лечь на холодную кушетку, согнув ноги в коленях, налили между ног ледяное вонючее мыло и стали скрести бритвой. Мыло жгло, бритва резала, но девочка терпела и боль, и стыд. И смотрела в покрашенное почти доверху окно, как садится солнце.

Последнее, что девочке сделали взрослые, — вставили в попу резиновый шланг, влили в неё из старой грелки чуть тёплую воду и велели:

— Проносишь — помоешься, — кивнув на душ, торчащий в стене.

А потом, несмотря на обещания врача, пришла последняя ночь.

Разум боролся, пытаясь уверить: спасут. Ведь здесь — больница! Здесь не положено умирать. Но под метанием разума тяжёлым пластом лежало знание — конец.

Девочка почувала смерть за несколько мгновений до боли. Смерть схватила её — ещё просто схватила, запуская когти всё глубже и глубже, пока каждая клетка крови не пропиталась небытием.

И лишь тогда смерть стиснула когти — чуть-чуть.

Стиснула и сразу разжала. И можно притвориться, что не было боли.

Не было боли — лишь миг, предвестник будущей схватки.

Смерть не спешила, и девочка затаилась в её горсти, не смея дышать. Если не двигаться, не смотреть, не моргать, кажется, что всё хорошо, что смерти нет. Но и затаившись, девочка знала: будет больно, надо наслаждаться — тихо, очень тихо наслаждаться временным отсутствием муки.

Они ждали — смерть и ребёнок, садилось солнце, спустилась тьма.

В темноте хорошо прятаться. Девочка даже уснула — не заметив этого, не закрывая высохших глаз.

И тут смерть дёрнула её с удвоенной силой, выкручивая, вырывая из мира. И мир, ставший чужим, помогал смерти, выдавливал девочку из себя, выдавливал нещадно, грубо, как отраву, как горечь.

— Мама!

И снова спряталась боль — где-то в самой глубине тьмы, то ли внутри девочки, то ли снаружи. Весь мир давно уже стал темнотой. Не той уютной, привычной, в которой можно скрыться от страха, а жёсткой, неумолимой, опасной.

— Мама!

Кто же знал, что будет так страшно. Что человек может быть так одинок, так мал, — был целой вселенной, и вдруг ужаслся до крохотной точки...

И тут же стал огромен — как солнце, красное, громадное солнце, насмерть зажатое тьмой. Застывший на столетия взрыв отчаянья, ужаса, боли.

— Мама!!!

Нет уже губ, чтобы крикнуть, — только море расплавленной лавы и нечеловеческий вой. Вой смерча, унёсшего остатки истерзанной жизни.

«Космическое одиночество», — сказал однажды папа кому-то; странная фраза, ведь в космосе столько всего: и звёзд, и комет, и планет... Но, выходит, папа знал, о чём говорил. Ведь когда звездолёт висит в бесконечном пространстве и ты в нём один — из живых, и на сотни миллионов лет — ни единой души, это и есть одиночество. Или ты остался последним на чужой необычной планете — всех убил неизвестный вирус. Он, наверное, засел и в тебе, но уже всё равно, — ты идёшь по омерзительно розовой почве, идёшь из последних сил, а силы всё никак не иссякнут полностью, и жизнь внутри всё никак не кончится, а вокруг — никого, и никого нет в целом мире: планета пуста. Или ты — тот самый вирус и есть, и организм ополчён на тебя и тужится выдавить...

Космическое одиночество — человек в рождении и в смерти, как в открытом космосе, одинок. Девочка не могла формулировать это — она летела в безвоздушном пространстве, одна.

А потом увидела Бога: зажёгся яркий свет, и ласковый голос спросил:

— Чего орёшь? Перебудуешь всё отделение. Чего орёшь в темноте?

И девочка поняла, что орёт, действительно, долго, так, что горло саднит.

— Простите, — с надеждой и радостью прошептала она.

Над ней склонилось лицо: седая борода — редкие толстые бесцветные волосины торчат в разные стороны; серые усы, не знавшие бритвы, печальные глазки между морщин под белой шапкой.

— Вот ведь, мать твою! — божий подбородок ошетинился всеми шестью волосинами. — Чего зажалась-то?

Мягкие руки вертели девочку, задрали подол сорочки, мяли живот. И девочка счастливо заплакала, уверовав истово, что спасенье пришло.

— Поздно хайлать-то. Сопли утри и давай садись над тазом. Да не так, враскоряку, ноги пошире ставь. Держись за меня — и давай.

— Что?

— Какай! Пора.

Ну конечно! Ей ведь ставили клизму — давным-давно. А после клизмы полагается катать.

— Можно горшок? Неудобно.

— Вот ведь, мать твою! — увещевал ласковый голос. — Хариться удобно было, а сейчас — неудобно! Себе на лоб смотреть не удобно. Давай скорее, шалава!

С приходом надежды ушёл страх, и девочка, тужась, просипела обиженно:

— Я не...

— А? Чего бормочешь?

— Я не это слово, что вы сказали.

Рак, почуяв сопротивление, впился клешнями в позвоночник.

— А-а-а-а-а!

— Тише ты, блудня! Тише!

— Я не... А-а-а-а-а!

— А кто же ты ещё! Принцесса в белой фате?

Точно! Принцесса. От радости, что её поняли, девочка поднатужилась старательно, и вонючая струя гулко ударила в таз.

— Получилось!

— Да, мать твою за ноги!

Конечно, я не совсем принцесса, думала девочка. Я — воровка, и я не слушалась маму. Если бы я знала, не тронула б эти яблоки! Если б я знала, что будет так больно, так страшно, я всегда-всегда бы слушалась маму! Но, если человек всё равно уже умирает, разве ж его можно ругать? Разве ж можно так ругаться, если речь идёт о человеческой жизни?

— Я больше не буду,— хотела она объяснить, но стены, потолок, пол двинулись навстречу друг другу, выжимая весь воздух.

Надо открыть окно! Окно открыто, а воздух в него не входит,— и снаружи нет воздуха, там чернота. Космос.

— Какай, какай, не останавливайся, какай...

Перекрутило и стены, и окна, и двери,— мир не хочет больше терпеть её, выдавливает упорно, настойчиво, неотвратимо. Значит, надежда была напрасна,— а как же руки, что держат так крепко? Как же эти руки — неужели у смерти хватка сильнее?

— Какай, какай...

О чём она? О чём торопливым шёпотом просит эта сестра — в застиранном белом халате, в фуфайке под ним и шалью, туго намотанной сверху? Бородатая и усатая от старости, толстая коротышка,— именно так и должен выглядеть Бог, являясь на Землю. Именно так, ведь главный божественный признак — бесконечное милосердие.

— Какай, девочка, умница моя, постарайся. Давай-давай-давай-давай...

И тут случилось главное чудо. Высрался ребёнок! Настоящий. Свалился в таз, расплёскивая дерьмо.

— Подыши чуток и ещё поднатужься,— сказала сестра.

Девочка, не слушая, повиновалась, из неё полилась кровь, вывалилось скользким мешком что-то вроде кишок, но она уже точно знала — всё кончилось хорошо.

Сестра всмотрелась в таз и вдруг, выругавшись, поковыляла из комнаты.

Вернулась с врачом — тем самым, волосатым и злющим. Он, сев на корточки, тоже всмотрелся в таз и тоже начал ругаться.

— Что же вы творите, бабы, суки, мерзавки! — говорил он.— Что же вы за проклятые бабы! Что же вы за сучье племя такое! Да сколько же можно! Ни родить, ни убить толком не могут. Какая же тварь косорукая закачивала раствор?

Пока он ругался, хмурая сестра отвела девочку помыться, выдала едко пахнущую тряпку в бурых и жёлтых разводах:

— Вот, затычка тебе. Изгваздаешь, бросай вот сюда, здесь возьмёшь новую. Ясно?

В ответ на непонимающий взгляд вздохнула, сложила тряпку в длинную колбасу и показала, как надо зажать её между ног. Концы тряпочной колбасы выдавались далеко вперёд и назад, смешно задирая сорочку.

— А как ходить с ней?

— Ногами. Как пингвин. Зажимайся крепче. Вон койка тебе, иди спи.

Спать хотелось, очень. Но ведь там — ребёнок! Девочка поковыляла за сестрой.

— Ну что, Васильевна, калия хлорид? — усталым голосом спросил злющий врач.

— Вроде кюезу в родилке починили... — непонятно отозвалась сестра.

Врач насупил, помолчал, потом сказал:

— Тогда помой его, что ли...

— Это девка.

— Один хрен. Я пойду позвоню. Если возьмут в кюез...

— Чего им не взять-то.

— Да он, наверное, помер.

А мама будущей Магдалины пока сидела на корточках, отключив жёсткий тряпочный хвост из-под драной больничной сорочки, и восхищённо рассматривала малыша.

Был он лысый, гадкий, очень маленький — с худую курицу, блестящий и чёрный, смазанный чем-то белым, похожим на воск. Только ножки и жопка — почти нормальные, жёлто-красные. Он лежал, зажмурясь, и лениво царапал стенку таза — там, где откололась эмаль. А на пальцах у него были настоящие длинные ногти!

Всё ввали про то, откуда получают дети.

Ввали и в школе, и дома, и во дворе. Никаких тут нет ни тычков, ни тычинок, ни глупостей, просто однажды тебе даётся награда — пока непонятно, за что. У многих женщин так получается: каждый день ходишь в туалет, как обычно, а однажды — ребёнком. Но есть условие — сначала надо пройти через смерть. И тут девочке начало казаться,

что она не так уж орала, что она почти что терпела — и именно за это получила подарок.

Вот оно что! Детей дают тому, кто старается быть хорошим, раскаивается в ошибках и терпит. Поэтому так уважают матерей, говорят, что «мама» — это слово святое. Если женщина смогла вытерпеть и не очень испугаться — ей дают малыша. А девочка, если честно, вела себя не очень прилично, поэтому ребёнок страшенький, чёрный и крошечный — на всё её дрянное терпение.

Если бы она не пикнула, был бы красивенький, белый и в кружевах. Но она же не знала! Если б ей сказали, что это надо для ребёнка, то, конечно, она постаралась бы — вела бы себя тише воды, ниже травы... В ней шевельнулся кусочек обиды на маму за то, что не предупредила: ведь мама уж точно знала... Но тут же поняла: если предупредить, каждый будет терпеть, в этом и смысл — в испытании. И успокоилась.

— Умер? — спросила сонная лохматая тётка в махровом халате, заглядывая из коридора.

Девочка прислушалась. Пригляделась. Малыш лежал тихо-тихо. Тётка с брезгливостью и любопытством смотрела в грязный таз.

— Всё в порядке, сдох, — подтвердила она.

Малыш не шевелился, молчал.

И вдруг скребнули ногти, еле слышно.

— Живой, — прошептала мать будущей Магдалины.

— Всё у нас через задницу, — зевнула тётка, — ничего не умеют. Не смотри на него — привыкнешь.

Привыкнешь! Разве к такому можно привыкнуть? Она — мама. Это — настоящий малыш.

— Да что ж ты сидишь здесь, блудня! Иди уже спать.— Медсестра ухватилась за таз. Девочка потянула его к себе. Старуха зорко глянула на неё, повела бородой, сказала ласково:

— Я только помою.

— Я сама.

— Ты же пока не умеешь. Тебе спать надо, иди, я всё сделаю.

Девочка неуверенно разжала пальцы.

Она побрела, придерживая руками тряпочный хвост, всё сильнее чувствуя усталость, к «своей» кровати в углу коридора.

Много-много дверей, за ними все спят, и в другом корпусе спят — не светятся окна, и город весь спит, и где-то дома — далеко — спят папа с мамой, только она не спит, а глаза-то закрылись. Тихо, потрескивают длинные коридорные лампы. Да еле слышны вдалеке голоса врача, медсестры, шум воды и лязганье таза.

Девочка провалилась, засыпая, в сетку железной кровати, не замечая ни застиранных кровавых пятен, ни дыр на белье. И уже за границей сна вдруг отчётливо вспомнила: именно этот таз с большими написанными краской буквами «ГО» именно эта сестра пронесла мимо неё перед тем, как девочке сделали клизму. И плеснула из него в унитаз!

Но ведь в больницах не убивают детей, их лечат. А главное — она жива и у неё теперь есть свой малыш.

* * *

— Как бы не так! — сказала мама.— Как бы не так!

Она сидела на кровати напротив и уверяла, что никакого ребёнка нет и не будет. Но ребёнок был — он лежал ночью в тазу и шевелил пальцами, точно.

И вот мама говорит, что никакого младенца нет, а если дочь будет настаивать на обратном, то и дочери у неё нет.

— Как это? — девочка осмотрела себя в изумлении.— Как это: меня нет?

— Ты есть. Но, если будешь кобениться, ты мне не дочь.

Получалось: если девочка не откажется от своего ребёнка, её мама откажется от своего ребёнка. Непонятная формула.

— Тем более тебя никто и не спросит. Не твоего ума дело. Вылечишься, мы заберём тебя из больницы, и все забудут об этой истории.— Мамин голос неожиданно потеплел.

- Как это? — тупо переспросила девочка.
- В кого же ты такая идиотка?! Кудахчешь, как курица.
- Но это мой ребёнок, — сказала девочка упрямо — так, как дети говорят: моя машинка, моя кукла. — Мой.
- Ты, я смотрю, оборзела вконец. Много думаешь о себе.

Это правда, девочка много о себе думала. И думала не без гордости: она — мама! Вот здорово. Она ковыляла со взрослыми по утрам на уколы, зажимая между ног полуметровый рулон из тряпки в пятнах прокипячённой чужой крови. В очереди перед процедурной слушала взрослые разговоры и смех. Там постоянно материли мужчин и обещали по возвращении домой «оборвать всё к такой-то матери» любовникам и мужьям.

- Им — баловство, а нам полжизни с соплями возиться.
- Да какое там — всю жизнь!
- Сволочи!
- Сволочи.

Любовников называли красивым словом, которое девочка никак не могла запомнить: что-то похожее на «сизари», но на букву «ё». Слова на эту букву преобладали в речи женщин. А мужей они называли скучнее и проще: «мой». Зато в этом названии звучало мрачное удовлетворение собственниц: «такой-рассякой», но — «мой». Друг к другу все обращались, употребляя грубое обозначение женского полового органа с эпитетом «лысая» или, если ленились, — «эй!».

Девочка ничего не понимала в разговорах соседок, но узнала много интересных слов — и могла бы теперь всех во дворе сразить новыми знаниями. Поначалу она часто представляла, как вернётся во двор и как все обалдеют от того, что у неё есть настоящий ребёнок. Как она развеет все дворовые мифы о деторождении и о взаимоотношениях полов. Впрочем, если о деторождении она всё узнала на собственном опыте, то насчёт тайн общения между полами у неё ещё остались вопросы.

К примеру, звучное словечко «оргазм». Его произнесла однажды молодая женщина в очках, читающая книги даже в очереди на уколы.

- Чего-чего? — противным голосом переспросила огромная тётка, вылитый злой великан из сказки. — Чего-чего? — Таким голосом говорят близнецы из второго подъезда, когда собираются вредничать. — Ух ты, какие мы вумные — вы поглядите! Ух, чё мы знаем!
- Какая вумная! — весело поддакнула тётка поменьше.

Другая — всё ещё сонная, которая смотрела ночью на девочкиного младенца, зевнула. — Мы же книжки читаем! — продолжала «злой великан». — Мы же там вон чё вычитали! Типа у женщин это бывает, да?

- Да, — твёрдо сказала очкастая.
- Очередь дружно заржала.
- Может, ты себе чё отрастишь тогда? — смеясь, спросила женщина-великан.
- Или уже отрастила? — взвизгнула её подруга — та, что поменьше.
- Очередь засмеялась сильнее.
- Ты чё, медичка? — крикнула большая своим великанским голосом.
- На букву «у»! — восторженно заверещала подруга.

Очередь притихла, прикидывая, потом, сообразив, снова развеселилась, смеясь и разноголосо покрикивая.

Очкастая покраснела, захлопнула книгу и ушла — гордо размахивая тряпичным хвостом.

- Очередь обиделась.
- Убить её мало, — сказал кто-то зло.
- Ну.
- Вумная!
- Ну.
- Брешет ведь?
- Ну!

Очередь, сникнув, решила:

— Брешет.

Только сонная тётка в махровом халате шурилась молча, зевала, и вид у неё был такой, как будто она что-то удачно украла.

В больнице было интересно. Девочка спала в коридоре, неподалёку от лестницы, и ей было слышно ночью, как под лестницей сопит кто-то страшный и как в подвале бегают крысы. Сестра-хозяйка бросила им большого кота, крысы повизжали и смолкли. Утром сестра вынесла на совке кошачью голову.

Было интересно, но очень хотелось есть. Женщинам приносили еду из дома — в стеклянных банках. Они несли эти ароматные банки мимо девочки — долго-долго, медленно перебирая ногами. Они шурились у себя в палатах газетами, в которые были завернуты банки, — чтобы ничего не остыло. Хлебали, стуча ложками по стеклу, болтали, потом часами мыли банки в раковине туалета.

Девочка питалась в столовой: быстро съедала тарелку перловки, кусок хлеба, выпивала компот. И тут понимала: как же хочется есть! Ей ничего не приносили из дома. Мама подходила под окно, кричала:

— Ну что?

Девочка кричала в ответ:

— Всё хорошо!

Мама спрашивала:

— Перестала дурить?

Девочка отвечала:

— Не-ет.

И всё — мама уходила домой.

Тогда девочка шла мыть голову в туалет. Она старательно мазала мылом волосы, полоскала их в раковине, заворачивала в пелёнку — наподобие тюрбана — и ходила так. Тюрбан немного оттягивал голову назад, и получалась гордая осанка, как у принцессы. Девочка ходила по коридору — из одного конца в другой — и старалась не нюхать, как пахнет из приоткрытых палат.

Ещё однажды женщина-великан отдала ей переводную татуировку из жвачки, купленной в киоске в соседнем корпусе. Девочка помыла в очередной раз голову, перевела на плечо татуировку, села с ногами на подоконник, спустила с плеча сорочку и красовалась так, пока мимо не повезли каталку с младенцами.

Спелёнатые младенцы смешно мяукали на разные голоса, кожились, как гусеницы, пытаясь приподнять связанные ножки. Нянечка ловко раздала их в протянутые руки набежавших из палат женщин и поставила каталку к стене.

— А мне? — спросила девочка.

Но нянечка, не ответив, ушла.

Не ответила и женщина-врач, смотревшая на кресле девочке между ног. Никто не хотел разговаривать с девочкой, никто не говорил ей, где же её ребёнок. Стало уже казаться, что мама права и никакого младенца нет. Мимо с рассвета до ночи возили пищащие свёртки; с ночи до рассвета под лестницей пищали крысы и, как обычно, кто-то сопел, — ничего не менялось изо дня в день. Пока однажды рядом с её кроватью не остановилась женщина-великан. Она схватила младенца с каталки и сказала страшным голосом:

— Ам-ам-ам! Вот кого я сейчас съем! Вот кого я, сладкого, съем!

Посмотрела на девочку:

— А тебе что, не приносят пока?

— Нет.

— Сцеживаешься?

— Нет.

Сонная женщина в красном махровом халате, взяв своего ребёнка, сказала лениво:

— Брось её, она с искусственных родов.

— А, — кивнула женщина-великан. — Вот сволочь.

- Её мать привела.
- Вот сволочь. И чё?
- Живой вышел.
- Да ну? Так бывает, что ли?
- Ну да.

Тётки пошли дальше по коридору, разговаривая, а девочка поняла одно: её младенец жив. Она подошла к сестринскому посту и спросила:

- А как мне сцеживаться?
- Тебе соседки не показали?
- Я одна лежу, в коридоре.

Сестра встала, сунула руку девочке за ворот сорочки и больно ухватила за грудь. Вот ведь как удобно порвана эта рубашка — специально для груди. Девочка вспомнила: у всех сорочки были разорваны так.

- Сначала разомни, поняла?

И начала очень больно давить пальцами сосок, нажимая и отпуская. Девочка вскрикнула, но вспомнила, что здесь надо терпеть, и замолчала. Сестра дёргала сосок, выкручивала, и вдруг оттуда брызнула тонкая струйка.

— Вот так, — сказала сестра. — Сцеживай в раковину, в туалет. — И снова уткнулась в свою тетрадь.

Теперь у девочки появилось занятие и надежда. Она часами упорно муржила грудь, плакала от боли, замолкала, вспоминая — надо терпеть.

Её терпение каким-то чудом связано с судьбою младенца, так что — чем больнее, тем лучше. И не надо ждать награды немедленно — это она почуяла тоже.

И не удивилась, когда однажды мимо её кровати прошёл знакомый ей злощипый врач. Она просто встала и пошла спокойно за ним.

- Опять коту сожрали, — пожаловалась врачу сестра-хозяйка.

— Я вам собаку принёс, — ответил тот. — Хорошего пса, терьера. Он уже в подвале шурует, не заходите. А под лестницей у вас снова бардак?

— Да не углядишь за ними, — плюнула сестра. — Собачья свадьба, честное слово. Я их уже и шваброй, и кипятком, и выписать без больничного прозила — не помогает. Из травмы на костылях и то приходят. Скоро с катетерами будут скакать, кобели проклятые. Отправьте вы эту суку домой!

— Другая придёт. А у этой ребёнок с нефропатологией, без почки родился, куда я её отправлю.

- Злой врач подошёл к лестнице, под ней кто-то затаился, стараясь не дышать.

- Агобобова! — крикнул врач, как заклинание, и постучал ногой по перилам.

Тишина.

- Агобобова! Я знаю, что вы там, выходите!

Никто не вышел.

- Ну и чёрт с вами.

Вышла, поправляя волосы, женщина в красном махровом халате и отправилась в отделение.

- Агобобова, если вы сами инфекции не боитесь, то ребёнка пожалейте!

Женщина не ответила. Врач заглянул под лестницу, всмотрелся.

- Да, тут и терьер не поможет, — сказал он в темноту.

Был поздний вечер, в коридорах никто не толпился, и на лестницах было пусто. Только на одной площадке плакал старик, завёрнутый в грязную простыню. Он держал трубку телефонного аппарата, пытался говорить в неё, сообщал, что у него лишь одна двухкопеечная монета, тут же срывался на рыдания, сердился на себя и от этого ещё сильнее рыдал.

- Что за цирк? — гаркнул злой врач. — Почему вы голый и босиком?

Оказалось, что старика привезли на «скорой», прооперировали и бросили в «интенсивке» на матрас, — казённое бельё кончилось, постели у старика с собой не было, а его одежда, пока оперировали, пропала. Старик дождался, пока прокапает система,

отсоединил её, взял у соседа по палате сменную простыню, занял две копейки и приплёлся звонить близким. Злющий врач бегал, свирепо ругался, кричал; старик дрожал и плакал, привалившись к ступеньке; девочка терпеливо ждала, сидела на корточках, спрятавшись в темноте.

Так они путешествовали по больнице, пока врач не скрылся за дверью. Между ним и девочкой остался один пустой коридор.

Девочка шла неспешно, в груди у неё пел мужской голос — красивый и сильный, как океан, но пел он сдержанно — ночь. Голос был полон любви, муки и нежности — от него хотелось счастливо плакать и что-то дрожало, как струны, внутри. Девочка уже почти разбирала слова и начала подпевать беззвучно — одним лишь дыханием. И вдруг поняла, что сейчас будет, — чудо.

Она остановилась у двери, за которой злой врач на кого-то орал, на него орали в ответ: врач басовито — «бу-бу-бу», а ему — «уи-уи», как свинья. Что-то грохнуло, и дверь отскочила в сторону. В коридор шагнул парень, совсем молодой, красный от бешенства.

— Не имеете права! — крикнул он. — Я вам ещё покажу! Я к главврачу пойду!

— В задницу! — Врач попёр на мальчишку грудью, большой, широкий, на худого и хлипкого. — В задницу себе зонтик засунь! И раскрой его! Понял?! А потом приходи. А потом приводи! Вот таких! — За руку парня держалась зарёванная девушка, крошечная, как собачонка, она тряслась и скулила: «Паша-паша-паша...»

— Что — «Паша»?! — Парень толкнул её так, что девушка чуть не упала, просеменя ногами по полу. — Думать надо было, коза! Девки все сами знают, что делать, чтоб этого не было! А ты...

— Ты сам козёл, — сказал врач спокойно. — У неё же детей потом не будет. У нас же скоблят по живому, на новокаине, ты, паскудник, сам думай башкой.

Парень дёрнулся и потащил свою девушку, которая уже боялась скулить, а только пригибалась на каждом шагу, как от пощёчины.

Злющий врач погрозил им вслед кулаком и хлопнул дверью.

Девочка постояла в темноте, послушала. Красивый голос в ней продолжал напевать, тихо-тихо. Она вдруг подумала, что у врача, хоть он и злой, мог быть такой же голос, если б он пел.

Девочка осторожно открыла дверь кабинета, заглянула внутрь. Врач плакал зло: вытирал слёзы ладонью, ворчал, грозился, всхлипывал, и слёзы у него текли и текли.

— Идиоты, — шептал он. — Идиоты, кретины! Как же можно так жить, дурачки, бедолаги?..

Девочка обычно боялась, когда взрослые плачут, но сейчас не испугалась и не удивилась, вошла уверенно, погладила врача по мокрой руке.

— А, — сказал он, — это ты? Вот странно, что ты сегодня пришла, — мы как раз твою девку из кювеза достали. Чудо-ребёнок, — представляешь, уже дышит сама. Завтра отдавать её думали.

— Спасибо.

— А что спасибо-то? В дом малютки. Тоже мне радость. — Злющий врач не плакал, а говорил, как обычно, сердито.

В дверь постучали.

— Да. Кто там? Входите.

Вошёл давешний молодой человек, Паша, только без девушки.

— Чего тебе? — врач покосился из-под светлой чёлки; у него волосы были красиво подстрижены, бабушка называла такую причёску «под горшок». — Деньги не возьму.

— Можно спросить?

— Спрашивай.

Парень помялся.

— Ну? Храбрый такой был, грозился, а теперь стоишь, как в штаны наложил. Чего тебе? — Врач встал.

— А правда, — спросил Паша, — правда, что если лампочку в рот засунешь, то обратно не выгатишь?

- Правда.
 — Спасибо.— Паша, извинившись, ушёл.
 Мать будущей Магдалины попросила:
 — Можно девочку посмотреть? Пожалуйста.
 Врач велел:
 — Сиди здесь, ничего не трогай.

Над столом с телефоном висел календарь, на нём красивая женщина с распущенными волосами стояла на коленях, смотрела вверх, приложив руку к груди. На ней была такая же рваная сорочка, как у всех женщин в отделении. «Кающаяся Мария Магдалина, Тициан», — прочитала девочка. «Магдалина!» — пропел голос внутри.

Доктор принёс младенца. В чепчике! Маленький чепчик — на кулак и то еле налезет, а в нём — живое лицо, жёлтое, в невесомом пуху, светится мягко и пахнет, как солнечный заяц. Подбородка нет — просто щёки стиснуты завязками чепчика. Глаза закрыты, ресницы длиннющие: девочка. Спит и губами во сне шевелит, как будто сосёт.

«Как же хорошо, как правильно, что столько дней я терпела эту дурацкую боль! — осторожно подумала мама будущей Магдалины.— И теперь всё отлично с младенцем — это самый красивый ребёнок на свете».

— Магдалина,— сказала она вслух.— Я назову её — Магдалина.

— Слишком претенциозно,— сказал врач.

— Да,— важно кивнула мать Магдалины.— Я тоже так думаю.

Она спустила рваный ворот сорочки с плеча, обнажив то, что стало с недавнего времени грудью, и попыталась засунуть сосок девочке в рот. Та повела вялыми губами — и всё. Тогда маленькая мать Магдалины — и ведь никто её не учил! — надавила резко пальцами на сосок, тихо смеясь, брызнула молоком младенцу в лицо. Потом — ещё раз, уже прицельнее; девочка поморщилась, почмокала, почмокала, пробуя, и неожиданно сильно схватила сосок. И всю душу из матери вынула — с корнями, протащив по всем жилочкам, от макушки до пяток, по протокам новорождённой груди. Больно и так радостно, что даже страшно. Мама Магдалины вскрикнула, засмеялась от неожиданной боли и разревелась от радости.

— Посмотрите, какая чудесная девочка,— сказала она врачу, шмыгая носом.— Когда смотришь на неё, обязательно улыбаешься.

Злой врач покосился на сосущего младенца, не улыбнувшись. Нахмурился:

— Вот что, иди-ка к себе.

Рано-рано утром малышей привезли на кормление. Ещё издали слышав грохот каталки и нестройное злое мяуканье голодных младенцев, мама Магдалины помчалась мыть в туалете грудь. Уселась поудобнее, подложив под спину подушку, завязала волосы вафельным полотенцем — у других, она видела, были косынки, сложила руки, в которых дрожало уже предвкушение сладкой тяжести детского тельца.

Женщины набежали к каталке, теснились, кудахтали, хлопотали и наконец разошлись все, умильно воркуя. Нянечка поставила пустую каталку к стене.

— А мне? — спросила мать Магдалины.— Мне уже тоже можно. Точно-точно, спросите там у врачей.

Нянечка, уточнив фамилию девочки, ушла в детское отделение.

Её не было долго — не было, не было, и наконец она появилась. Положила девочке на колени тугой шевелящийся свёрток и отправилась по палатам собирать других малышей.

Маленькая Магдалина поела, не открывая глаз, и уснула. Её мама попыталась нащупать пятками тапки, не нашла, встала так, босиком. И пошла осторожно, не отрывая глаз от спящего личика, всеми руками чувствуя, какой же лёгкий младенец. В пустом коридоре висел ещё сумрак. Как музыкальный треугольник, позвякивали шприцы, которые выкладывала на стерилизатор сестра в процедурном. Тихо было в подвале. Под лестницей шептались, но, пока девочка с младенцем проходила мимо, примолкли.

Перед большой дверью мама Магдалины замешкалась. Нехотя подняла глаза от ребёнка, прочитала: «Приёмный покой». Приёмный бывает сын, а покой — от слова «покойник»? Наверное, им не сюда. Но тут дверь приоткрылась от сквозняка, и девочка, придерживав её плечом, вошла внутрь. Там неожиданно оказалось много народу, в воздухе реял сдержанный шум. Девочка узнала парня Пашу — он терпеливо сидел в углу, смешно округлив щёки. У него лампочка во рту — догадалась мать Магдалины. И тотчас в другую дверь ввели ещё одного парня — с точно такой же лампочкой! Девочка не поверила глазам, но по приёмному покою покотился хохот, от человека к человеку, вместе со словами: «Таксист... это таксист, который того придурка привёз...» Паша тоже начал улыбаться криво, сквозь лампочку, а девочка, на которую никто из-за хохота не смотрел, вышла на улицу.

Собака — терьер? — виляя хвостом, понюхала её босые ноги. Пробежала недолго рядом, но девочка мысленно велела ей отстать — боялась споткнуться и уронить младенца. Асфальт приятно охлаждал ступни, и вдруг одна нога мягко осела в землю, и тут девочка поняла, куда ей идти.

Она дошла до частного домика, вросшего в землю. Раньше здесь ей всегда были рады. Муж бабушки на стук открыл дверь и сказал:

— О.

Хотя, наверное, он — бывший муж бабушки? Интересно, как обращаться к вдовцам?

— Дедушка... — рискнула мать Магдалины.

— Исключено! — Вдовец вытянул палец. — Уважительно меня зовут Борода, потому что у меня есть борода. А неуважительно — Синий, потому что я синячу, как бог. У меня в крови течёт чистая синька. — Дед задумался и вывел: — Аристократ.

— А какой бог? — спросила мать Магдалины.

— Чего это?

— Вы сказали, что вы — как бог. Какой именно бог?

— Я знаю? Может быть, Бахус? Его так называли от слова «бухать» — это по-гречески; по-нашему выходит «синячить».

Мать Магдалины кивнула. Младенец спал.

— А друг мой Леший зовёт меня «Синяя Борода» — с тех пор как умерла твоя бабушка.

— Борода, — попросила мать Магдалины, — можно мы у тебя поживём? — Кивнула на дочь:

— Она тихая.

— Зато я громкий. Знаешь, что твоя бабушка была моей четвёртой женой?

— Не запугивай прачек, Синёк. — На крыльцо вышел ещё один дед, страшнее прежнего. — Севастополь не одобряет. Ты у Маруси был пятым супругом, так что счёт приблизительно равный.

— Верно, Леший. Ничья. — Дед кивнул и заплакал.

— Не жалея его, — второй дед погрозил матери Магдалины. — Это всё синька.

— Точно, — кивнул вдовец. — Веришь, одну только сливу кинул, а она мне та-а-к под-рассказала...

— Одну! — фыркнул Леший. — Опять рюкзак посуды налил.

— Да, — перестал плакать Борода, — у меня ведь тут форменный хлев. Разве младенцу можно в хлеву?

— Можно, — ответил Леший. — Севастополь одобряет. Швартуйтесь, прачули.

Так девочка по имени Магдалина обрела свой первый приют — в доме человека со старинным прозвищем Синяя Борода.



Юрий
СЕДОВ*



ПО РЕКЕ ВРЕМЕНИ

• Цикл стихотворений

* * *

Прошёл год с предыдущей Южно-Уральской премии, назвавшей Юрия Фооса лауреатом в номинации «Поэзия». Понятно, что индивидуальные качества в творчестве год от года изменяются мало. Но настроение в произведениях — функция конкретного состояния души. И если прошлогодняя книга «Избранное» Юрия Фооса — это философская лирика, в которой есть и грусть, и радость, то что стало стержнем его поэзии уже в ушедшем году, в какие цвета она окрашена? Читайте, оценивайте — вы убедитесь, что ничего практически не изменилось. Понятно: поэт в таком возрасте, когда остов души как никогда прочен, рядовые события, из которых, в общем, и состоит жизнь в это время, не могут поколебать основ (и слава Богу!). Но поражает его способность радоваться самым, казалось бы, незначительным деталям. И так же грустить — светло и добро. А по собственному признанию поэта, им всё больше движет желание успеть сделать как можно больше. Ну что ж, если получается!.. А ведь, в самом деле, ни перо, ни сердце не подводит его!

Когда мы были на луне,
тогда мы молодыми были,
мы спали так, что и во сне
летали, где хотели или

умели видеть, что луна
не дальше улицы соседней...
О, времена невинных бредней!
Они как тени на стене.

Смешно. Но было нам дано
махать руками, как крылами...
Нет, ты не веришь, что давно
проснулся, и зовёшь делами

слова, звонки, стихи вот эти —
всё, что мешало жить во сне,
когда мы были словно дети,
когда мы были на луне.

Отпускник

Он целый день летел из Магадана,
пока внизу хмельная дымка дня
зелёным светом вещею обмана
не позвала его с седьмого дна.

Он увидал, как в камни бьёт прибор,
и молодости вспыхнувшая сила
его волной горячей окатила,
и в плен взяла, и повела с собой.

Беззвёздной ночи влажная рука
была нежна, настойчива и властна,
и поцелуй вина тянулся страстно
к душе, ещё одетой в облака.

И он покорно целовал вино,
благословляя свет на дне стакана,
пока угрюмый демон Магадана
плечами застил душное окно.

* Псевдоним Юрия Фооса.

Потом блистала музыка, сверкала
весёлый зал, и женщина сияла,
и роза, свешиваясь из бокала,
хмельной улыбкой озаряла зал.

Так ночь прошла и утро наступило.
О, праздных дней стремительный поток!
Быстрее, чем эти высохли чернила,
истлел блаженства мимолётный срок.

В лицо летит колымская заря,
и в пустоту души из тьмы вселенской
всё гуще сыплет снег печали женской,
дробясь в промозгом свете фонаря.

* * *

Памяти Н. Рубцова

По ком твои уключины, Харон*?
Когда звезда восходит голубая,
за кем ты к нам гребёшь, не замечая
каким огнём исходит небосклон?

Притормози! Поговори со мной.
Пусть отодвинет эта сигарета
последний час того, кому согрета
постель в твоей квартире даровой.

Не торопись! Повремени, Харон!
Харчи твои не уплывут, дружнице...
Но он молчит. И ночь со всех сторон,
срывая звёзды, в кронах сосен свищет.

* * *

Кончился дождь, день пролетел,
темень легла на сырую дорогу.
Всё, что хотел, всё, что имел,
что оно? где? — не припомню, ей-богу.

Так далеко! Не возратить,
не повторить. Да и стоит ли, право?
Было — налево, стало — направо,
вожжи ослабли, выдохлась пруть...

Ночь обнимает всё позади,
всё впереди... Но на ветке сосновой
звёздная капля сияет обновой,
день золотой зажигает в груди.

* * *

Обманет город одиночку,
вихры пригладит: не горюй!
Гляди — и вдруг увидишь строчку,
где млеет слово «поцелуй».

И — дальше... Городу слабо
морочить душу бедолаге:
ты счастье обретёшь в бумаге,
но всё же сгинешь, как Рембо*.

Рассвет осенний, голубой,
пустынный город, мир холодный,
А он счастливый и голодный
мечтает: будет праздник мой.

Давно бы на вершине той
я был, мечтатель и бродяга,
когда б не ветер продувной,
я одолел бы те полшага,

когда б ни острых звёзд тоска,
и чёрных улиц мир кромешный...
А ночь твердит:
— Нет, ты не здешний,
чужой... И нет тебе куска
ржаного... Только горсть песка.

* * *

Россия... Как по тетиве щекой...
И опускаешь лук, и, глядя в воду,
покорно пьёшь, как яд, свою свободу,
твердишь себе, что нет судьбы другой,

как только небо, словно невод злой,
тащить всю жизнь, упрямо ждать улова,
и слушать соловья и волчий вой,
май привечать, зиме сдаваться снова.

Под рокот синих вод среди широт
безжизненных с ладони белой дюны
внимать тебе, и различать полёт
крыл журавлиных — лёгких, быстрых, юных.

Струна, сорвавшая себя с колка!..
Из-под ноги песок течёт с обрыва.
Глядишь и ждёшь : сейчас тебя река
в другое время понесёт игриво!..

* Великий французский поэт.

*мифический перевозчик в загробный мир.

Как будто мира ледяной покой
рвёт быстрый полоз, пролетает мимо —
туда, где жизнь скучна, а смерть любима...
Россия! — как по лезвию рукой.

* * *

Тебе — кусок, и мне — краюха,
стакан воды... О чём ещё
мечтать? Спасибо, голодуха!
Загаром выдубленных щёк,

железом наторевших пяток
благодарим тебя, летим
на улицу — к азарту пряток,
лапты и бабок.... Нестерпим

и дивен бесконечный зной
на дне песчаного карьера,
наполненного голубой
водой и небом. О, галера

барачных отроческих лет!
Нам от войны одна Победа
досталась. На пиру ракет
нам шабаш горя был неведом.

Когда перепал нам жмых,
скажи, покойный мой братуха,
мы пели песни — за других,
которых съела голодуха.

* * *

Сверкает тускло иней,
торчком стоят дымы,
запутавшись, как в тине,
в предчувствии зимы.

И кровь твоя моложе,
чем вечером вчера,
вершит свой труд под кожей,
старается сестра.

Приходит память в чувство.
Ты вновь не одинок.
Душа взлетела люстрой
под белый потолок.

В трамвайном разговоре
сквозь суеты прибой
пробился — каплей в море —
восторг души живой:

в плечо отцу ребёнок
доверчиво сказал:
— Меня вчера телёнок
в плечо поцеловал

Будни ветерана

*Добровольцу танковой
бригады Н. М. Мысляеву*

Не спеша, подводятся итоги,
вновь уничтожаются бумаги.
Письмам повезло не многим.
Каждое — глоток той влаги,

от которой горько. Рвутся фото,
раздаются вещи, коим в прошлом
не было цены... Наверно, кто-то
удивлённо вздрагивает: пошло

разбазаривать уже чужое
время. Тихо. Сумерек прохлады
проникает в кости. Голубое
небо стало чёрным. Так и надо!

В сущности, и здесь — как на вокзале:
расставаться, ехать. А куда —
не известно. А ведь как сияли,
как пленяли, как манили в дали,
грохотали, словно поезда,—
ухнувшие в прошлое — Го́да.

* * *

Всю ночь стою у мачты, уплываю.
Ещё не знаю, Господи, не знаю,
где окажусь, какой коснусь земли.
Моя обувь жалкая в пыли

тех улиц сырых, где ещё вчера
мне сердце жгла житья неразбериха...
И вот я — Здесь, и по спине жара,
как власяница... О, как нежно, тихо

там, за тремя морями лес шумит,
и просека восходит к лёгкой сини,
и о разлуке вечной говорит
к губам прижатый крест ладонных линий.

Всё, всё осталось позади, а здесь —
кромешный зной, и пыль, и странный говор,
и кислый дух неспешного, чужого
существованья, дикого поднесь...

Стою у верной мачты. Уплываю
от жизни краткой в долгие века.
И волны позади, и облака
счастливые, что дней людских не знают.

* * *

Соседка по сидению, седая,
спокойная, вся за окном... А там
летит метель, полмира заметая...
Всё ближе поезд к дорогим местам.

С крутых ступеней белый снег сметая,
она сойдёт на станции Маук,
приветив грустно этот детский звук,
и, вроде, не своя и не чужая.

А вон и деревенька, даль былая,
и снег в лицо, как в школьные года.
И тёплая слеза, ко рту сползая,
невольнo тронет сердце, как тогда...

Дни промелькнут. Прихлынут сборы. Годы
вернутся, лягут снегом у крыльца.
И нет у жизни края и конца —
одна дорога, снег да скрип подводы.

* * *

Куда ты, Времени Река?
Ещё нам рано в облака,
чтоб свысока на мир с улыбкой
глядеть и говорить:
— Пока!..

Ах, жизнь! Какой назвать ошибкой

твой вещий гул, твой быстрый бег,
твои соблазны, дух твой пряный,
и этот ветер марта пьяный,
покая миг, и грусти век?

Летят и тают облака,
как лёд речной, как слов полуда...
Но ввысь протянута рука
и ждёт, что Времени Река
продлит желанной пытки чудо.

Знакомый дом

Вот и снег. Октябрь. Пустеет
лес. Раздеты тополя.

Мокнет под ногой земля,
шепчет:
— Что, старик, стареем !?

Дрожь холодная скользит
по кустам, ещё зелёным.
И желна* высоким кронам
жалобу на снег строчит.

Встреча лета и зимы...
Проходя полузабытый
дом, споткнёшься: свет из тьмы,
солнцем форточки открыты!

На карнизах — чистый снег,
в доме тишь, покой всегдашний,
молодости век вчерашний,
счастья промелькнувший век...

И не заглянуть туда.
Снег. Забвение. Года.

* * *

Приехали бы что ли, посмотрели,
чем живы мы — потомки и родня,
какие щи жуём и, смерть дразня,
часы отсчитываем, дни, недели.

Увидели бы, где мели метели,
где ваших бед ещё живут польни
и лебеда, чтоб досыта поели.
Бараков нет, стоит в домах теплынь.

Вы нас бы пожалели, пожурили,
что мечем в лужи ваши медяки.
Вы — молоды, а мы уж старики,
кряхтим, скрипим, что вы счастливей были.

Вернётесь вспять, не узнанные нами,
забыв простить, проститься. Кто мы вам? —
не спросите. Уйдёте по камням,
убитые своими временами.

Один приказ для вас: «Уставшим быть,
вдохнуть былое и скорей забыть!»

Афганский след

Я оглянулся — он исчез.
Дымилась в урне сигарета.

*Желна — чёрный дятел.

Я знал его. Он нёс свой крест
легко и не просил за это

похвал у мира и судьбы.
Вот обозначилось живое
его лицо, за ним — столбы
огня и серое, чужое

немое небо снов... Ни плеч,
ни рук, лишь тихий свист афгани.
Он шёл меня предостеречь...
Я пригляделся — только длани

темнели с белого креста,
и таяло виденье это,
пока дымила сигарета
и жгла мне пальцы... пустота.

* * *

Кости болят, холода грядут,
спится без просыпа долго и крепко,
трубы холодные в стенах гудут,
иней к земле прилепился цепко.

Звёзды висят, как виноград,
в темени чёрной, немой, кромешной.
Бывало в молодости поспешной
часами не мог оторвать взгляд,

ждал, что божьей тайны слова
лба коснутся, лаской согреют:
— Шёл бы домой, пока голова
на месте, не верь лукавому змею —

древо познания не на Земле...
Пуст вертоград, яблоки сняты.
Кости болят. Всё бы в тепле
жить, не спеша, слушать раскаты

гроз мимолётных, вот только нет
лета в душе, как винца на полке.
Чья-то рука включила свет.
А! — это солнце в оконной щёлке.

* * *

Это в нас начиналось давно.
обрывались нетленные нити,
в паутине случайных событий
роковое чернело пятно.

Замирали слова, остывал
свет, сочившийся в душу когда-то,

отчужденья беззвучный обвал
нас в гордыне навек запечатал.

Не зовём, не спешим, не звоним,
разбредаясь по белому свету.
Лишь порой в бесконечности зим
набредаем на трещину эту.

Пустоты роковое пятно
чёрным нимбом наш быт окружило.
Валунами легли мы на дно
и заснули в объятиях ила.

В серой дрёме листая альбом,
где хранятся останки былого,
постигаем наморщенным лбом
прозу дней, и никак не поймём,
кто зовёт нас из мира былого.

* * *

Что делать Пушкину? Писать?!
В историю звездой падачей
лететь?!.. А дети, деньги, знать,
взыскующая лжи ползучей

о чёрной ревности? Скрипеть
зубами в белую подушку,
а Ей, что ангелу, не сметь...
ни словом, ни...?! Пусть, как игрушку,

Свет сплетню быструю зубрит...
Нет! Не для Пушкина смиренность.
Месть или — Смерть... И кровь горит
гремучим пламенем отмщенья...

Ах, Муза, где искать слова
любви? Неужто всё — измена?
И смерть — спасенье?! Ночь едва
развиднелась, уж свет по стенам.

Как восковая, в этом свете
рука холодная лежит
на чёрном мёртвом пистолете,
и стрелка на часах стоит.

* * *

Время пришло без умолку петь
звонким кузнечикам песню ночную.
Осень за дверью. Надо ж уметь
благословлять долю такую!

Завтра померкнет листва, придут
серые дни, тучи сплошные.
Каждому небо протянет за труд
бабьего лета дни золотые!

Руку с балкона в ночь протяну:
— Певчие, где вы?.. Даром тоскую:
может, они глядят на луну,
молча песню поют иную?

Слышу: один на целой земле
вдруг за всю задремавшую паству,
от тишины земной обомлев
голос подал:
— Здравствуешь?!
Здравствуй!

Время луны

Луна, глядящая на нас,
на целый свет, на мир подлунный,
сто лет назад, вчера, сейчас...
Вот — невский лёд, вот — Пётр чугунный,

вот храм, воздвигнутый вчера...
Земная жизнь, луны глазами
увиденная, не стара,
а молода... Встречаясь с нами,

сквозь облака, сквозь ветви ив,
с озёрной глади вспоминает
других, кто срок земной отбыв,
в земле покорно остывает.

А ведь когда-то... Вот и мы,
к луне восторги посылая,
на ней, как на ладони тьмы,
читаем, что судьба благая

нам век продлит и сохранит
всё то, что память молча знает...
Когда б!..

Кто был Звезда, Пиит,
теперь росой в траве сверкает.

* * *

К розе пунцовой в придачу
жёлтая вдруг зацвела.
Золушкой в старую дачу
светлая радость вошла.

Радости этой хватило
осень осилить потом.
Сердцу уютно так было
помнить: не зря, мол, живём.

Розы увяли. Под снегом
дремлет живая земля.

Руки воздев, тополя
молча беседуют с небом.

Прячет улыбку хозяйка:
вспомнила розы во сне.
Снилось: она — молодайка,
роза, как солнце, в окне.

Потерянные

Лучше оглохнуть, чем слышать слова
брани младенческой, скверны с пелёнок.
Двадцатилетний пьяный ребёнок,
дымом набитая голова...

Как вразумить? Прутом наказать?!
К миру лицом повернуть: смотри, мол?!
Беглый отец, хмурая мать,
брат разукрашен мазутным гримом.

С предков спросить!? А они уж — в земле.
Злобой забытые, батогами,
дремлют в тысячелетней золе,
в небе холодном бродят кругами.

В лес убежать?! В вековую тишь?!
Или ходить по огню кругами?!
Глухой у окна ночью стоишь —
красными смотрят в тебя глазами.

* * *

Лихая молодость, охотно
спешащая догнать, успеть,
схватить, рывком, бесповоротно,
над памятью заносит плеть:
не знать! не помнить! не искать!
покуда сердце не сгорело!
Твердишь безумно: исполать! —
всему, что хочет только тело.
Ах, молодость, я твой туман
прошёл. Тоска забытых ссадин
живуча. А тебе дурман,
один, как смертный грех, отраден.
Чем снять, осилить приворот?
Бог весть. Без памяти, без Бога
летишь. Огонь глаза сечёт,
храпит твой конь, черна дорога,
жизнь мчится... задом наперёд.

Стихи поэта

Они уйдут в забвение, в чужие
слова сует, в незрячие глаза,

в глухие стены, в книги нежилые...
Я слышу их немые голоса.

Потухших взоров детская печаль,
пустых восторгов лепет неуместный...
Поэт забытый, а другой — известный,
но каждому своих питомцев жаль.

Что имя им твоё! Стара обложка,
истлели буквы. Кто он — имярек?
Зелёным глазом мельком чиркнет кошка:
нет, вроде незнакомый человек...

Стихи, слова, мечты, надежды, речи,
любовь — когда-то... в странные года...
Через века при мимолётной встрече
ты разминёшься с ними навсегда.

* * *

Горька!? Сладка!? Невыносима!?!..
Туманна!?!.. Это всё — о ней,
о жизни, уходящей мимо
в сумбуре слов, в мельканье дней...

Приятель говорит:
— Налей
чуток. И хмурится довольный,
давно седой счастливец школьный
в далёкой юности моей.

Я провожу его домой.
Пойду к себе. Молчком отмечу:
спасибо, господи, за встречу,
за двор пустой, за снег ночной.

Мой сирий свет в окне высок,
в подъезде — ночь, но неустанно
поёт о том, что жизнь желанна,
под старой лестницей сверчок.

* * *

Памяти С. Борисова

Беда пришла, как дождь осенний,
и вот покорная листва
забвения с куста сирени
осыпалась в твои слова,

в стихи последние, в стакан
нетронутый. Пришла дорога
к двери твоей: что, брат Серёга,
пора?!.. Там вечный океан

поёт Добро твоим словам:
«О, свет последнего притина,
примерь мой день к твоим шагам!
Погасни дней земных рутина!

А вы, стоящие вдали,
друзья, не поминайте лихом...
Пусть одиноко здесь, но — тихо,
как будто все века прошли

суровой поступью и боле
их нет. Но я тут не один:
ко мне шагает через поле
в венце терновом божий сын».

Тень Пушкина

Наклонился, былинку сорвал,
улыбнулся минувшему лету...
Тихий вечер, луна, сеновал.
Как просторно плывущему свету!

И тебе не теснее, душа.
Да, не стоила жизнь огорчений.
Только вещая тишь хороша.
Хороши только вечные тени

этих елей в Тригорских прудах
да мелькнувшее белое платье
там, на склоне, в далёких годах...
Жизнь давно отворила объятия,

отпустила на волю — гуляй
странной тенью в полях и дубравах!..
Как луна озаряет сарай!
Как роса разгорается в травах!

Наклонился, былинку сорвал,
улыбнулся плывущему свету,
словно именно это искал,
в прежней жизни мотаясь по свету.

* * *

Время по кругу — сумерки, снег,
старые стены, слёзные звуки,
цепкая память — голос во сне,
в лунное небо тропка разлуки.

Вспомнишь: устало шумит прибой,
черствое сердце кольнёт, шевельнётся...
Больше недели дней не найдётся,
чтобы не вспомнил наше с тобой

ЮРИЙ СЕДОВ

бденье под небом дальних широт,
дальше, чем нынешний берег твой вечный.
Там ты одна навсегда. Быстротечный
времени бег уж не бег, а полёт

в темень. А тот, навсегда голубой,
свод, без конца выправляя ошибку,
мучает вечер, нежную скрипку,
старый Гурзуф, луну над тобой.

* * *

Наткнулся в старом дневнике
на строчку о далёком друге...
Он словно промелькнул во выюге —
ещё живой. Он нёс в руке

в авоське стопку первых книг,
он был их автор. Развевала
метель пальто... Давно и мало
нам снилось счастье, но в тот миг

сквозь строчку дневника сверкнуло
такое солнце, свет такой!..
И тут его как ветром сдуло...
Зря мы не ладили с тобой.

Зря разошлись по белу свету.
И дни прошли, и друга нет.
Метёт метель, лишь снежный свет
ткёт нимб безвестному поэту.

* * *

Отбившийся от рук,
от верной власти слова,
в предчувствие разлук
в ночи услышал снова

в мольбе листвы, в тоске
оконной певчей щели,

что жизнь — на волоске,
и птицы улетели,

и некому сказать:
— Приди. Обмолвись словом.
Вдохни в мою тетрадь
удачей птицелова озябшую строку.
В плену суждённых буден
пусть на сухом суку
листочком последним будет.

* * *

Одним планида — поезда,
другим — небесная дорога...
Один увидел:
— Вон звезда!
Другой сказал, что всё — от Бога...

Один спешил — догнать, обнять.
Другой — объять и удивиться:
сестра и брат, отец и мать!
Свои! Почти живые лица.

А этот с поезда — в ложок,
где тропка к роднику сбегает
и задыхается: как мог
ты позабыть о нашем рае?...

Ну, слава богу, здесь ты, здесь!
Твой дом от весточек заждался,
для гостя стол уставлен весь.
Твой день для праздника остался.

Два счастья, разных два пути.
Ах, далека ты, жизнь-дорога!..
Вот так бы до конца идти —
не выше звёзд, не дальше Бога.



**Анастасия
КОЛЬЦОВА**



УМЕРЕТЬ ЗА ХРИСТА*

ПОВЕСТЬ



Анастасия Кольцова родилась в 1993 году в Оренбурге. Окончила Оренбургский педагогический колледж. Ныне живёт в Серпухове Московской области; работает воспитателем продлённой группы в школе; заочно учится в Оренбургском государственном педагогическом университете на кафедре художественно-эстетического воспитания. Лауреат Всероссийского литературного конкурса «Капитанская дочка» (2008), областного конкурса детского литературного конкурса «Рукописная книга» (Оренбург, 2007, 2006, 2009), литературного конкурса имени Валериана Правдухина (2010), IV Международного славянского литературного форума, проходившего в рамках IV Славянского форума искусств «Золотой Витязь» (Суздаль, 2013); участник VI Международного совещания юных литературных дарований (2009).

Литературный успех пришёл к ней как к прозаику, но она с ранних лет пишет и стихи.

Больше всего на свете Ксюха любила свободу. Проявляла её во всём: одевалась всегда с вызовом, пила, курила. Весь свой класс пить и курить научила. Красилась похлеще своей старшей сестры Ленки, известной на районе лёгким поведением. Была постоянной участницей всех школьных драк и потасовок, чем заслужила огромное уважение сверстников и бессильное недовольство учителей. Но в школе её, несмотря ни на что, держали. То ли за былую хорошую учёбу, то ли просто жалели — родителей у Ксюхи не было.

Отец погиб в автокатастрофе, когда она была совсем маленькой, а мама четыре года назад умерла от туберкулёза и систематического недоедания конца девяностых. С тех пор Ксюха и стала беспредельщицей.

Жила пятнадцатилетняя девчонка под опекой старшей сестры, работавшей официанткой. Ясное дело, двадцатилетней Ленке было не до воспитания младшей сестрёнки, она искала своё счастье, и когда притаскивала в квартиру очередного хахала, готового составить это самое счастье на недельку-другую, Ксюха проявляла максимум внимания — не маячила перед глазами, за что Ленка была ей весьма благодарна. Младшая сестрёнка была куда интереснее Ленки — с бешеными каре-зелёными глазами, с чудом сохранившимися в драках и экспериментах над своей внешностью длиннющими волосами натурально-русого цвета, даже дикая боевая раскраска не сильно портила от природы красивую внешность. Так что когда Ксюха была рядом, Ленка не могла быть уверена в своём очередном кавалере. А Ксюхе были безумно противны все Ленкины «кобели», было жалко сестру, и чтобы было не так мерзко, она уходила и напивалась.

Становилось почти хорошо. Глядя на бухих в дерьмо товарищей, которые напились не от того, что им плохо, а для понту и оттого, что она их позвала, Ксюха интуитивно

* Печатается с некоторыми сокращениями.

понимала, что так же, как и у них, нет у неё никакой свободы. Пьёт она оттого, что тошно, что деваться некуда, а не для того, чтобы показать свою взрослость, как объясняют её поведение учителя. Курит — потому что сначала было кайфово, а теперь бросить не может. Красится как шалава — с Ленки пример берёт. Одевается непонятно во что — из Ленкиного шкафа шмотки заимствует. Купить не на что, а повыпендриваться охота, не в одних же своих джинсах с распродажи ходить. Дерётся на «стрелках», потому что надо куда-то злость девать. Не на сестру же выбрасывать, ведь Ленка — это её семья.

Как-то в сердцах Ксюха посоветовала сестре хотя бы деньги брать со своих подонков. Что тут началось! А после примирения, за бутылочкой пива, Ленка плакала и говорила, что очень рада, что Ксюха ещё не такая, но что всё равно когда-нибудь у неё появится парень, с которым она будет жить, и тогда она, Ксюха, сестру поймёт. Ксюха заявила, что никогда она ни с кем жить не будет, и не понимает, зачем это Ленке нужно.

Куря сигарету и прихлёбывая пиво, Ленка долго распространялась о том, как одной сложно и одиноко, как хочется иметь хотя бы видимость мужской защиты. И Ксюха твёрдо обещала себе, что ей такого счастья никогда не захочется. Парней у неё всегда было достаточно, как-то даже с двадцатилетним встречалась, но дальше, чем положено, никогда не заходила. Если не в меру резвый хахаль намекал или напрямую сообщал, что не сомневается в том, что «Ксюша девочка не закомплексованная», Ксюха его сразу посылала.

Для чего ей тогда вообще нужны были парни? Наверное, во многом для поддержания общей тенденции. Считается, что у девчонки должен быть парень, значит, и у Ксюхи должен быть. Хотя и выгода наблюдается — есть, у кого сигареты стрельнуть, есть, кого на пиво растрясти. Правда, надоедают иногда все эти парни, посылает Ксюха очередного несчастного куда подальше, но потом опять всё по новой. Одной даже скучно как-то, не на кого поорать, не с кем повыяснять отношения, полное спокойствие, а его Ксюха ненавидела больше всего.

* * *

В один прекрасный вечер Ксюха отрывалась на хате у одноклассника Лёхи, имеющего в классе статус «мальчика на посылках». Его родки уехали на похороны родственницы, велел сыну охранять квартиру и не притаскивать туда друзей. Но Лёха, нынешний Ксюхин дружок, просто не мог ей об этом не сказать, и часам к семи наиболее продвинутая часть девятого «В» класса плотно у него обосновалась. Сложились всем миром. Колян-Дылда, тянущий на все двадцать, и Ксюха, выглядящая тоже довольно взросло, сбегали за выпивкой. Врубили так любимый всеми гопниками реп. Глядя, как дёргаются подвыпившие одноклассники, как пацаны лапают девчонок, а те радостно повизгивают, Ксюха залпами глушила пиво и думала, как же мало нужно людям для счастья.

— Потанцуем? — Лёха качнулся в сторону дивана, на котором полулежала Ксюха.

«Какие у него тупые мутные глаза, — брезгливо подумала она, — и улыбается как дебил. Даже находиться с ним рядом неприятно. Интересно, я тоже такая мерзкая, когда пьяная?»

— Где у тебя зеркало? — раздражённо спросила Ксюха.

— В коридоре, — удивлённо распахнул свои мутные глаза Лёха. — Ты чо, Ксюш?

— Ничо, — Ксюха встала с дивана, отметив, что на ногах держится ещё довольно твёрдо, — полюбоваться на себя решила.

— Да чо любоваться, красявая, пошли лучше потанцуем.

— Я не настолько бухая, чтобы страдать этой хренью. И руки уберу, они у тебя мокрые и липкие. Мачо нашёлся! — Ксюха оттолкнула Лёху и вышла в коридор. Споткнувшись о чьи-то башмаки, щёлкнула выключателем. Из зеркала на Ксюху глядело озлобленное существо с длинными патлами, с неким подобием широкого ремня на бёдрах и с небольшим кусочком материи, прикрывающим грудь.

— Стерва, — констатировала факт Ксюха. — Зато глаза не тупые. И улыбка не дебильная.

— Ты чо, со своим парнем поговорить не можешь?

У-у, опять этот Лёха. Когда трезвый — нормальный пацан, а стоит слегка выпить, в такое чмо превращается.

— Поговорить могу. Только с условием, что ты мне не будешь нервы делать,— Ксюха направилась в накуренную комнату.

— Я тебе парень или как? — дебильная улыбка на Лёхином лице сменилась какой-то мерзкой озверелой гримасой.

— Можешь считать, что нет,— усмехнулась Ксюха, заходя в толпу беснующихся одноклассников.

— Чо, послала Лёху? — спросила Танька, первая в классе сплетница.

— Наверде того,— белозубо улыбнулась Ксюха.— Он такой дурак, заколебал уже. Как напьётся, в полного свинтуса превращается.

— Правильно,— просюсюкала Танька, обнимая похожего на кена симпатичного второгодника Иванова.

«Вот коза,— беззлобно подумала про неё Ксюха.— Завтра всему классу чего-нибудь на-трезвонит. А-а, пофигу».

Ксюхе стало легко и радостно. Захотелось чего-нибудь выпить. Заметив заныканную кем-то под стол наполовину оприходованную полтарашку, Ксюха основательно к ней приложилась. Отдаваясь ритмам бьющей по ушам какофонии, побрела по комнате, с интересом глядя на извивающихся девчонок и пацанов. Вот умора! Кто чего только не вытворит. Танька виляет и задом, и передом, и вдобавок руками странные движения делает, Колян-дылда сзади неё приноровился и все её движения повторяет. Максимка-цыганёнок прыгает как обезьяна, размахивая пустой полтарашкой, Маринка вокруг Санька, вечного Ксюхиного соседа по парте, как змея увивается, Альбинка уже совсем до ручки дошла — крутит всем, чем только можно, и вдобавок пуговицы на блузке расстёгивает... Ксюхе стало смешно, она не смогла удержаться. Сначала она просто смеялась, потом согнулась от смеха пополам, повалилась на пол, а дальше уже истерично хохотала, катаясь по линолеуму.

— На «ха-ха» девчонку пробило,— сказал кто-то из пацанов.

— Странно, вроде ничего не курили...

— Ты чо, кореш? — Санёк, с которым Ксюха встречалась в седьмом классе, редко называл её по имени, так же как и она его. Он тряс Ксюху за плечо, а она не могла остановиться, конвульсивно подёргивалась, вместо хохота раздавались уже какие-то всхлипы.

— Воды принесите!

Ксюху облили из ковшика, Санёк водрузил мокрую девчонку на диван, все как будто сразу протрезвели. Притихшие, столпились вокруг дивана. Пришёл из коридора Лёха — зарёванный и мрачный. Кто-то выключил музыку.

«Как гадко,— подумала Ксюха перестав всхлипывать и придя в более-менее адекватное состояние.— Сейчас будут смотреть как на свихнувшуюся, спрашивать, как я себя чувствую, Лёха-балбес наверняка подумает, что из-за него, да и не он один»...

— Ну чо столпились? Бесплатный цирк увидали? Обрадовались? — Ксюха вскочила с дивана, со злобой глядя на взволнованные лица одноклассников.— И обязательно было меня водой обливать? Я мокрая до трусов!

— А ты на нас не ори! — Танька одарила Ксюху не менее злым взглядом.— Истеричка! Скажи спасибо, что первую помощь оказали, а то осталась бы навек дурочкой!

— И осталась бы! А тебе что? Уж плакать бы ты не стала, я уверена! — Ксюха чувствовала, что неправа, поэтому ей хотелось подраться с кем-нибудь, с Танькой, например. Вцепиться бы в её жидкие крашено-бордовые волосёнки, расцарапать бы вульгарно размулёванное личико...

— Ксюш, только не надо драться, пожалуйста. Вы же всю квартиру разгромите....

О, да это Лёха протрезвел! И главное, быстро понял к чему дело идёт, собственник несчастный...

— Правда, кореш, лучше не надо,— спокойно сказал Санёк. Единственный человек, которого Ксюха считала более-менее здравомыслящим из этой милой компашки. Но это не давало ему права читать Ксюхе мораль.

— Не учи меня жизни, я предпочитаю брать у неё платные уроки! — Ксюха сумничала, вспомнив, что когда-то мама заставляла её читать толстые книжки, и она была самой продвинутой девочкой в четвёртом «А».

— Предатель! Да пошли вы все....

Ксюха как бешеная выскочила из комнаты, схватила туфли и дала дёру. За ней даже кто-то бежал, кажется Лёха с Саньком, что-то кричали. Выскочив из Лёхиного подъезда, Ксюха свернула за угол, прыгнула через низенький забор, отсиделась в каком-то сарае, подождала, пока стихнут дикие вопли, потом вылезла.

Настроение было хуже некуда, вдобавок ужасно холодно, как-никак октябрь уже, да ещё часов десять вечера, да ещё мокрая и полуодетая. До дома минут десять, если быстрым шагом, вот Ксюха и попрыгала домой, держа в руках малиновые туфли на высоких шпильках.

«Завтра точно с кем-нибудь подерусь, — лихорадочно думала Ксюха, укалываясь босыми ногами о камешки и стёкла разбитых бутылок. — Лучше с Танькой, хотя и с Саньком неплохо. Он благородный, сильно бить не будет. По ходу, со всем классом отношения испорчу, ну и хрен с ними. Я-то без них проживу, а они без меня...»

За спиной послышался такой топот, как будто бежало стадо слонят. По-любому, кто-то из одноклассников и, не оглядываясь, Ксюха драпанула вперёд по дороге.

— Девушка! Девушка! Вы не думайте, я не за вами....

Услышав незнакомый юношеский голос, Ксюха остановилась, оглянулась. За ней следом бежал шкафоподобный парниша с огромными кулаками, равномерно движущимися из стороны в сторону.

«Зря остановилась, — подумала Ксюха, испуганно трезвея. — Кто знает, чо надо этому бугаю?»

Пока Ксюха размышляла на тему, что же ей делать, и как ей быть, бугай подбежал вплотную и затормозил.

«Какая безобидная рожа», — подумала Ксюха и, подтверждая её мысли, запыхавшийся пацан растерянно промямлил:

— Я эта.... На тренировке задержался, вот и побежал, чтобы быстрее было. А то мама волнуется, а вы, наверное, подумали, что обидеть хочу...

Ксюха посмотрела на малиновые туфли в своих руках, потом на этого странного мальчишку и рассмеялась. Не истерично, как в Лёхиной квартире, а вполне нормальным здоровым смехом. Парниша растерянно похлопал белёсыми ресницами, покрутил зачем-то наголо стриженной головой и тоже засмеялся:

— А почему вы мокрая и без башмаков?

— А потому что бухать меньше надо, — радостно улыбнулась Ксюха. Парниша фыркнул, как будто она сказала что-то очень весёлое.

— А как тебя зовут?

— Ксюхой. А тебя?

— А меня Славик. Тебе сколько лет? Мне недавно шестнадцать исполнилось.

— Считаю, что я на год младше. А откуда ты вообще тут взялся? Я со своего курмыша всех знаю, ты чо, нездешний?

Оказалось, что Славик живёт в соседнем районе, а пешком с тренировки ходит для поддержки спортивной формы. Занимается боксом, учится, как и Ксюха, в девятом классе.

— Курить есть? — спросила Ксюха, рассеянно хлопая по пустым карманам. — А то свои, блин, посеяла где-то.

— Не-а, я не курю.

— Ты что, совсем правильный — спортсмен, не пьёшь, не куришь?

— Ну да, — растерянно ответил Славик, — а что?

— Да ничо, в принципе, — пожала плечами Ксюха. — Не скучно жить так? Свободы не хочется?

— Не-а. Ой, извини, ты, наверное, домой торопишься, а я задерживаю. Тебя проводить?

— А мама волноваться не будет? — презрительно усмехнулась Ксюха, но увидев погрузневшую Славикову рожицу, улыбнулась:

— Валяй, провожай.

Так Ксюха познакомилась со Славиком, своим очередным парнем.

* * *

Чем сегодня после уроков занимаетесь? — как и обычно на английском, Ксюха беседовала с Саньком за последней партой.

— Может поотрываемся на бабульках из соседнего двора?

Почти весь прошлый год самая продвинутая часть Ксюхиных одноклассничков пробуждала в беседке, находящейся неподалёку от школы. Вечно сидящим на лавочках бабушкам это было очень не по душе.

— Какое там поотрываемся, даже на сигареты денег нет, — вздохнул Санёк.

— Чо ты паришься, можно и без выпивки, не впервой в банкротах, — Ксюха откинула с глаз давно не стриженую чёлку.

— Не-а, у нас дела, — хитро улыбнулся Санёк. — Ни я, ни Колян, ни Лёха сегодня не можем. Блин, Максимка где-то прогуливает...

— Это что ещё за дела таки, а? Колись.

— А зачем тебе наши дела знать? — подозрительно глянул из-под длинных ресниц Санёк.

— Кореш я тебе или нет? — Ксюха надула губы, отвернулась и открыла учебник.

— Кореш-то кореш, только зачем тебе в дела наши пацанские соваться, — прошипел Санёк, заметив, что Ксюха не на шутку обиделась — уже минуты две старательно следит за текстом, читаемым отличницей Олей.

— Ну почему ты не можешь сказать? Ведь, не к тёлкам идёте, знаю, денег у вас, и правда, нет. Значит ничего такого, что нужно было бы от меня скрывать.

— Ну ладно, уговорила, — Санёк открыл тетрадь по английскому и написал на полях: «После уроков с парнишкой разбираемся».

— Здорово, — Ксюха открыла свою тетрадь и написала на внутренней стороне обложки: «Что за парнишка?»

«Панк из соседней школы», — Санёк тоже стал писать на обложке.

— А меня возьмёте?

— Ты что, сдурела? Что ты там делать будешь? — возмущённо зашептал Санёк.

— Ну возьмите, я же вам не помешаю...

— Я, может, и взял бы, но я же не один там буду.

— А что, Лёха с Коляном, скажешь, меня не возьмут?

— Там ещё парни из параллельного класса будут.

— Уговорим.

— Слушай, Ксюх...

— После-едняя парта, а, последняя парта, мы вам не мешаем? — возвала Алла Александровна к совести Санька и Ксюхи. Отличница Оля прекратила читать текст, с ехидным интересом глядя на болтающую пару. Её острого языка и скептического взгляда поверх очков девятый «В» боялся куда больше, чем гнева всех учителей вместе взятых, так что пришлось создать видимость раскаяния.

— Всё, Алла Александровна, молчим, — прижал палец к губам Санёк и продолжил слушать Ксюху.

— Ну, кто там ещё будет?

— Ну, Васиф, Пашок, Женёк...

— Значит, если они согласны, то not problems? — блеснула Ксюха знанием английского.

— Вот и разбирайся с ними, — Санек благодушно потянулся, как будто гора с плеч свалилась, и улёгся за парту до конца урока.

— Пашок, а Пашок, — на перемене перед последним уроком Ксюха подошла к кабинету параллельного класса и отозвала в сторонку крепкого светловолосого парня с личиком Ивана-царевича и взглядом маньяка, — говорят, у вас какая-то заварушка намечается.

— Салют, кореш, — Пашок по-дружески приобнял Ксюху. — И кто это тебе натрепался?

— Ну, зачем, вдруг ты его попьёшь, — голосом какой-то шалавы из любимого Ленкиного сериала промурлыкала Ксюха.

— Какой ты доброй стала, — хмыкнул Пашок. — Что надо-то?

— Ну, я хочу с вами пойти, — откровенно призналась Ксюха.

— Что тебе делать-то там? Он нам накосячил, нам будет отвечать. Девкам ни к чему поблизости крутиться.

— Пашок, ну неужели ты забыл, как мы бухали вместе, как нас к директрисе вызывали?

— Помню-помню, — счастливая улыбка озарила Пашкино курносое лицо, — я у неё ещё окно разбил, и возле стола упал, такая хохма была... Ну, можно тебя взять, раз так поглядеть на дела наши неймётся, только надо с Васифом, орлом горным поговорить, он у нас за главного.

Васиф недавно по России золото взял и считался первым боксёром школы, а по совместительству, довольно авторитетным парнишкой на районе.

— Беру, — окинув Ксюху оценивающим взглядом угольно-чёрных глаз, гортанно сообщил Васиф. — Она нам подходит.

— И раскачивающейся походкой авторитета пошёл куда-то на улицу.

— Ну, значит, после уроков подходи вместе с вашими к углу школы, — Пашок насмешливо взглянул на Ксюху. — А Васифу ты понравилась. Смотри, осторожней с ним, он парнишка серьёзный. Интересно, зачем только ты там ему понадобилась.

После уроков вместе с Дылдой-Коляном, Лёхой и Саньком Ксюха отправились в «нашу курилку», — так курящие ученики называли угол школы. Васиф, Пашок и Женёк были уже там. Пашок курил, некурящие Васиф с Женьком стояли руки в карманы, о чём-то тихо переговаривались.

— О, Ксюха, молодчик, — приветливо осклабился Женёк, тощенький неказистый пацан в провисающих на уровне колен джинсах. — Не боишься идти с плохими мальчиками, а?

— А наша Ксюха с плохими мальчиками не ходит, — Пашок неторопливо затянулся сигаретой, — правда же Ксюх?

— Ага, — кивнула Ксюха. — Курить есть?

Покурив, не спеша отправились к соседней школе, находящейся на параллельной улице.

— Наш клиент недавно кабинет биологии поджечь пытался, правда неудачно, училка поймала, когда окурок дымящийся в шкаф запихивал, — начал вводить в курс новоприбывших Женёк. — Дело не завели, зато теперь каждый день после уроков родную школу драит. Мне тут один пацанчик должен позвонить, сказать, как закончит. Мы эту поломойку в кустиках возле школы подождём. Ты, Ксюх, позовёшь парнишку, а то вдруг он к нам подходить не захочет. Скажешь там что-нибудь... Ну, например, что... — Женёк задумался.

— Ну, придумаю по ходу, — Ксюха подтянула висящие на бёдрах джинсы, застегнула ветровку, день был довольно холодный. — Подозвать к вам и всё?

— А дальше уж наша забота, — улыбнулся Пашок, четвёртый год посещающий секцию самбо.

— Женёк, помнишь, ты говорил, вы с Васифом новый реп записали, дай послушать? — попросил Колян.

— А, да, щас найду, — Женёк полез в карман за мобильником. — Васиф текст сочинил, у меня как обычно записали. Ты же наш прошлый слышал?

— Прошлый, да, прикольно получилось.

До соседней школы шли, слушали этот новый реп. Ксюха запомнила только, что говорилось о каком-то мудром старце, который «нас создавая, не знал, какими мы станем», а дальше осуждались проституция и наркомания. Дойдя до соседней школы, пацаны уютно устроились, присев на корточки в кустиках с ещё не облетевшими бурными листьями, Ксюха присела вместе с ними. Зазвонил Женьковский телефон.

— Ну, Ксюх, давай, подзови его сюда, — велел Женёк, выслушав донесение «пацанчика». — Он сейчас должен из школы выйти, такой сивый петух с гребнем.

И Ксюха, поднявшись из кустов, не спеша пошла к школьным воротам. По пути расстегнула оранжевую ветровку, молнию на блузке почти до пупка, глянула на своё отражение в большом школьном окне и осталась собой вполне довольна. Лязгнула тяжёлая деревянная дверь, и, зашуганно озираясь, торопливо вышел парень в чёрной косухе, чёрном шипастом ошейнике и с причёсоном в виде стоящего гребня.

— Мальчик, а мальчик... — жалостливо прошептала Ксюха, зажавшись так, чтобы красный Ленкин лифчик виднелся из-под расстёгнутой блузки лишь чуть-чуть. — У меня тут молния на кофточке сломалась, ты бы не мог помочь?

Сначала панк ошалело взглянул на Ксюху, потом по его невесёлому лицу поползла двусмысленная улыбка.

— Ну, понимаешь, у меня мама дома, и если я так приду, она ещё подумает чего... — опустила глазки Ксюха. — Давай мы в кусты отойдём, чтобы людей не пугать, а?

— Ну давай, — паренёк конкретно заинтересовался починкой сломавшейся молнии. — А как это ты её так сломала, а?

— Ну, даже не знаю... — мямлила Ксюха, подводя рокера к кустикам, в которых засели пацаны. — Так получилось...

Вылезший из кустов за спиной панка Колян положил ему руку на плечо. Панк вздрогнул, обернулся, а Ксюха тем временем шмыгнула за широкие спины вышедших вперёд Пашка, Санька и Лёхи, поспешно застёгиваясь и размышляя, «а что же они успели увидеть». Последним из кустов неспешно и солидно вышел Васиф, чуть впереди семенил Женёк.

— Ну, что, здравствуй, Мингажев, — насмешливо проговорил Васиф. — Далеко собрался?

Услышав, по-видимому, хорошо знакомый гортанный голос, панк дёрнулся как ошпаренный. Окинул испуганным взглядом окруживших его парней. Было отчего испугаться. Боксёр Васиф, самбист Пашок, Санёк с Женьком тоже боксом занимались, хотя и не с таким успехом как Васиф, Колян сам по себе создан страх внушать...

— Какой у тебя ошейничек симпатичный, — подёргал за шип Женёк. — Случайно не у собаки взял погонять?

— Подстава значит... — еле слышно прошептал Мингажев. Поднял метущиеся серые глаза. — Говорите сразу, что нужно.

— Слышишь, Васиф, пацанчик спрашивает, что нам нужно, — внимательно посмотрел в глаза горбоносому жожаку Санёк. — Может, скажем, что нам нужно? Кажется, он хочет договориться.

— Говоришь, договориться хочет? — сощурился Васиф. — А когда он со своими погаными рокерами в клубе понтовался... — Васиф употребил нецензурное выражение, — тогда тоже договориться хотел?

— Ну, он больше не будет так делать, правда, Мингажев? — Колян наклонился к панку. — Ну что молчишь?

— Не буду, — прохрипел панк.

— Видишь, Васиф, он говорит, что не будет, — насмешливо улыбнулся Санёк. — Может, поверим?

— Ладно, я добрый сегодня, — Васиф презрительно сплюнул.

— Заберите трубу, гребень петушиный состригите, и пускай гуляет пацанёнок.

— Слышишь, что Васиф сказал? — Пашок похлопал рокера по плечу. — Давай телефон.

— Сейчас... — Мингажев трясушейся рукой начал расстёгивать карман.

— Быстрее, Васиф торопится, — высунулся из-за Пашкова плеча Лёха.

Женёк принял мобильник из побелевших пальцев Мингажева, засунул в джинсы.

— Ну, что, теперь только осталось модельную стрижку сделать, — снисходительно улыбнулся Васиф. — Женёк, ножницы у тебя?

— Всегда со мной, — лицо Женька засияло радостно-иезуитским выражением. — Острижём нашего петушка...

— Дайте, я сам остригу парнишку, — Васиф принял большие ножницы из рук подобострастно заглядывающего ему в глаза Женька. — Нагните его.

Пашок и Колян заломили руки даже не пытающегося сопротивляться панка, нагнули его раком. Васиф хохотнул, сделал в сторону униженного парня непристойное телодвижение. Потом щёлкнул ножницами, обезобразив некогда так красиво стоявший гребешок. Сунул ножницы в руки Женька:

— Убери.

Пашок с Коляном выпустили из крепких рук остриженного Мингажева. Он поднял лицо. «Какие у него глаза,— с интересом подумала Ксюха.— Как у изнасилованной девки из видео, которое мы с Ленкой недавно в инете смотрели».

— Ну, что, гуляй, Вася,— сделал широкий жест рукой Санёк.— Или ты хочешь с нами остаться? Что, парни, примем мальчишку в нашу компанию?

— Смотрите, да он не хочет,— рассмеялась до этого молча наблюдавшая Ксюха вслед убегающему Мингажеву. А Лёха поднял с дороги кирпич и запустил по ногам панка. Тот споткнулся, но останавливаться не стал.

— Слабоват, парнишка,— сожалеюще усмехнулся Васиф.— Трубу сбываем как можно скорей, хотя он на ментов выходить не станет, но так надёжней. Колян, ты знаешь через кого, Женёк, отдай ему. Что, кореши, гуляем?

Ксюха позвонила Ленке, чтобы убедиться, не занята ли та дома с очередным хахалем, после чего компания отправилась ко Ксюхе на хату, что было делом весьма редким — Ксюха терпеть не могла у себя бухих гостей. По дороге Васиф, Пашок и Женёк сложились, купили выпивку.

— Ладно, не парьтесь,— успокоил Пашок не складывавшихся Ксюхиных одноклассников уже сидючи на Ксюхиной кухне.— Свои как-никак.— И отхлебнул пиво из пузатого бокала.— Что, Ксюх, с боевым крещением?

— Наша Ксюха была просто супер,— самодовольно усмехнулся Лёха, приобняв бывшую подружку. Кажется, всё ещё надеется, что

Ксюха ответит взаимностью.

— Всегда носи красное нижнее бельё,— посоветовал Женёк.

А Васиф отодвинул Лёху, и поставил свою табуретку между ним и Ксюхой. Лёха не посмел перчить, только с завистью зыркнул на горбоносого главаря. А Ксюха улыбнулась и решила, что, как ни хорош авторитетный Васиф с его накачанными плечами и статусом авторитетного мальчика, в парнях его иметь для здоровья крайне опасно.

* * *

Ксюха сидела на подоконнике в тёмной комнате и намазывала майонез на кусок чёрного хлеба. Было часов одиннадцать вечера, Ленка где-то шлялась, Ксюха была в квартире одна. К большой её радости сестра перестала водить на квартиру хахалей, сама начала к ним ходить. Но в этом были и свои минусы — частенько Ленка вообще не заглядывала домой, не приносила остатков еды из своей кафешки, и Ксюхе было нечего есть. Когда в школе взвешивали и замеряли рост, все с интересом отметили, что при росте метр шестьдесят Ксюха весит всего сорок два килограмма. Более упитанные одноклассницы с интересом спрашивали, на какой диете Ксюха сидит, а она думала, что дальше так нельзя, надо что-то менять. Готовить Ксюха не любила, так что иногда питалась у кого-нибудь из друзей-товарищей, но чаще довольствовалась тем, что оставалось в холодильнике после очередного Ленкиного прихода.

Денёк сегодня выдался не слишком весёлый. Ксюха даже хотела устроить у себя на хате пьянку с одноклассниками, да не получилось. А со взрослой компанией она уже несколько месяцев не общалась после скандального расставания с двадцатилетним Стасиком. Даже Славик, и тот, смылся на соревнования по боксу в другой город. Ксюха ухмыльнулась своему отражению в стекле, вспомнив, как недавно уговорила его попробовать курить.

— Это же вредно,— отнекивался Славик, а Ксюха только смеялась в ответ:

— Ты чо, не пацан?

Скрепя сердцем и зубами, Славик согласился. Потом долго кашлял, ругался и говорил, что никогда больше не попробует этой гадости. Ксюха улыбалась, а на следующий день попросила его составить компанию — одной, мол, не в прикол. И Славик опять не смог отказаться.

«Скоро он и пить начнёт,— думала Ксюха о Славике, глядя на светящиеся окна дома напротив.— Он же меня так ценит. А то неудобно — как будто не с пацаном гуляешь, а со своей совестью. Если я пью-курю, пускай и другие так же делают».

Ксюха заметила в одном из окон напротив длинную, сгорбленную над столом фигуру. В ней Ксюха узнала одного чокнутого из своего двора. Насколько она знала, ему было лет двадцать, учился в каком-то универе и выглядел полным придурком. При росте под два метра он был худой до дикости, ходил всегда в одних и тех же потёртых джинсах, подчёркивающих тощие ноги, и в растянутой чёрной футболке. Жидкие светло-русые волосы Чокнутый, как мысленно называла его Ксюха, отрастил до плеч и всё время перебирал в руках какие-то бусы. А осенью ещё обзавёлся кошмарным чёрным плащом, развевающимся по ветру. Когда это чудо шло по двору, глядя вдаль своим потусторонним радостным взглядом, Ксюха чувствовала в себе желание сделать ему какую-нибудь гадость. Он был из тех людей, которых Ксюха не переносила — весь такой правильный, по улицам не тусовался, наверняка вёл здоровый образ жизни. И вдобавок, Чокнутый был круглым отличником и ходил в церковь. Это Ксюхе рассказал Шома, сосед Чокнутого по лестничной площадке и друг Ксюхиного детства.

— Он, того, верующий сильно, — говорил Шома, показывая частично выбитые в драках зубы. — Пошлешь его спяну, или даже заденешь маленько, а он ничо, даже не обижается. А зададут этого учить, ну... Как его там, Пушкина, мы же в ПТУ за год два класса проходим, зайдёшь к нему, попросишь книжку, а он ничо, даёт. Добрый, тока сдвинутый малость, не общается ни с кем из нормальных людей, всё такие же к нему ходят. Девки-монашки в длинных юбках, парни правильные больно, тоже отличники, наверно...

А ещё Ксюха взяла у Шомы номерок Чокнутого. Так, на всякий пожарный. Вдруг сучка одолеет. И глядя на сгорбленную фигуру этого отличника и тихони то сидящего неподвижно, то что-то порывисто записывающего, Ксюха решила, что пора им заняться. Вообще, она любила доводить людей по телефону. В этом занятии, так же как в драках и ссорах, Ксюха находила особый кайф. И энергии после такого занятия почему-то прибавляется. Чаще всего она просто звонила и отключалась, с каждым звонком наслаждаясь всё более раздражённым голосом доводимого. Но Чокнутый заслуживал чего-нибудь более интересного. На него даже баланса не жалко. Задумчиво дожевывая бутерброд с майонезом и не почувствовав ни малейшего чувства сытости, Ксюха взялась за телефон. Гудки казались невозможно длинными, нестриженные грязные ногти с облупленным лаком до боли впивались в ладони.

«Ну, возьми же наконец трубку, лошара», — раздражённо думала она, глядя на фигуру Чокнутого в окне напротив. Наконец тот зашевелился, и Ксюха услышала в трубке до приторности добрый голос:

— Да? Это ты, брат....

Чтоб поскорее перебить этот противный голос, Ксюха быстрее заговорила:

— Нет, я тебе не брат. Давай познакомимся?

Молчание было раздражающе долгим, а потом Чокнутый виновато сказал:

— Простите, я не могу.

И отключился. Ксюха с ненавистью поглядела на Чокнутого, что-то торопливо строчащего, и позвонила опять.

— Это снова я. Почему не хочешь познакомиться?

— Извините, я очень занят. Не звоните, пожалуйста.

И бросил трубку, негодяй. Тогда Ксюха позвонила и отключилась, с интересом наблюдая за движениями Чокнутого в окне напротив. Потом позвонила ещё раз, а у Чокнутого телефон выключен. Предусмотрительный!

— Ничо, я на тебе ещё отыграюсь, — ласково прошептала Ксюха. Поудобнее устроилась на подоконнике, закурила, и стала смотреть на гаснущие окна дома напротив. Чокнутый, судя по всему, спать не собирался, всё строчил что-то. Долго Ксюха на него глядела. Так и заснула на подоконнике.

* * *

Славик вернулся с почётным вторым местом. Сидя у Ксюхи дома за чашкой чая и слушающая её болтовню, он безмятежно улыбался, погружённый в приятные воспоминания.

— Ну, ты мачо! — восхищённо сказала Ксюха, и искушающее добавила, — Обмоем?

— Я же не пью... — слабо сопротивлялся Славик.

— Так я и не предлагаю тебе стать алкашом-хроником, просто культурно посидим — Ксюха мигом вытащила из холодильника бутылку пива.— Лови момент, обычно я пью за чужой счёт!

Ксюха разлила пиво в бокалы, Славика ещё водки подлила для интереса. Он не заметил даже.

— Смелей, смелей,— поддержала Ксюха, когда Славик с интересом пригубил спиртное. И Славик выдул весь бокал залпом.

— О, да ты прям хроник! Ещё по бокальчику?

— Да нет...

Ксюха налила ещё по бокалу, на этот раз и себе водки добавила.

— А это зачем? — Славик заметил, что она что-то подливает.

— А это для остроты ощущений. Водочка.

Славик вздохнул, но ничего не сказал.

«Вот так и прощаются с трезвенностью»,— ехидно подумала Ксюха, а вслух спросила:

— Выйдем, покурим?

— Нет, я не хочу. Правда.

«Неужто от рук отбиваться начал»? — улыбнулась про себя Ксюха, вслух грозно сказала:

— Ты хочешь поссориться? Я тебя не держу. Ты даже уйти можешь, если хочешь. Только общаться я с тобой после этого не стану.

И Славик поплёлся за Ксюхой на балкон — курить. Потом поплёлся обратно — допивать пиво. Потом спьяну признался в любви. Ксюха с трудом удерживаясь от смеха, ответила согласием на Славиково предложение дружбы. Всё шло так, как было задумано. Просто, когда Славик был на соревнованиях, Ксюхе пришлось в голову сделать его своим телохранителем и цепным псом. А для этого нужно было немного постараться. Так, самую малость.

* * *

Единственной своей подружкой Ксюха считала неформалку Аньку. С ней и решила повидаться на следующий день после окончательного утверждения Славика бой-френдом и цепным псом. С Анькой Ксюха познакомилась около года назад на очередной разборке с соседней школой. Началось с того, что Ксюха сказала что-то насчёт Анькиного прикида, а той не понравилось. Они сцепились, Ксюха чуть не порвала Аньке ухо с гроздьё серёжек, но кончилось всё мирно. Девчонки купили банку коктейля, выпили её на лавочке в сквере и с тех пор стали закадычными подружками. Виделись они не слишком часто, и при каждой новой встрече Ксюха поражалась новым прибабасам в Анькином прикиде. На этот раз та порадовала серёжкой на губе и тоннелем в ухе. Если прибавить к этому шесть дырок в правом ухе, три в левом, пирсу на пупке, проколотую бровь, сильно подведённые чёрным глаза, чёрные губы, висящий на шее черепок и тяжёлые ботинки, впечатление девочка в чёрном производила потрясающее.

— Как ты умудрилась такую дырищу сделать? — поинтересовалась Ксюха, глядя на Анькин туннель.

— Да не сложно, могу и тебе такую же сварганить. Делаеть обычную дырку, мажешь карандаш блеском и расширяешь её. Я на алгебре делала.

— Больно?

— Да ничо, терпимо. А ты фиолетовый тоник смыла? — Анька окинула Ксюхины расчёпаные волосы мимолётным взглядом.— Жалко. Ну как там жизнь у тебя? С кем ты щас?

И девчонки побрели по вечерней улице, пиная осеннюю листву и консервные банки.

— Представляешь, я тебе такое расскажу! — Анька сгорала от нетерпения, дёргая нагельный крестик, висящий в одной из дырок правого уха.— Недавно приходит Анечка домой со школы,— (Анька предпочитала говорить о себе в третьем лице),— не пила, не курила, ничо такого, а зрачки расширенные, и крыша едет. И мама, и папа дома, а Анечка кричит: «Смотрите, смотрите! Я вижу крокодилчиков!» И ржёт, и ржёт! Папа ко мне подходит, говорит так серьёзно:

«Аня, скажи, что ты употребляла, чтобы мы могли тебе помочь», а мне весело! Повезли Анечку в наркологический диспансер, там какой-то пацан сидит, а я ему: «Брат, тебя тоже забрали!», а он смотрит на меня как на больную... Кстати, недавно всей нашей компашкой на кладбище ночью были. Взяли с собой кошечку, ушки и лапки ей отрезали, прикольно так. Она визжит, а мы режем, позитивчик такой. Мальчики хотели ещё язык ей отфигачить, но она такая слюнявая была, кусалась, визжала... Мама говорит, не закончу девятый класс — шкуру с меня спустит. Куда пойдём?

— Айда в центр, погуляем. Есть на что?

— Дармоедка ты, Ксюха, как на тебя ни посмотришь, всегда за чужой счёт пьёшь! Айда, есть.

В автобусе Анька как обычно рассказывала о своих многочисленных попытках суицида:

— Вены я резала шестнадцать раз, травилась три раза. Один раз прыгала со второго этажа, но с Анечкой даже тогда ничего не случилось. Больше всего мне нравится резать вены...

Ксюха с усмешкой слушала, как Анька делится опытом в суицидных делах, и глядела на сидящую напротив солидного вида тётку. Судя по всему, та тоже слушала, и при взгляде на Аньку на лице её отражался непритворный ужас. Анька, всегда остро чувствовавшая чужие взгляды, заметила её интерес:

— Не развешивай уши, тётя. Я не для тебя рассказываю.

Сидящий рядом с тёткой краснолицый мужик, судя по всему, муж, возмутился:

— Выбирайте выражения, девушка.

Лучше бы он так не говорил.

— А ты за своей шалавой походи, чтобы она глазками туда-сюда не зыркала и ушки не грела на чужих разговорах!

Тётка побагровела от возмущения, а краснолицый сумничал:

— Прежде чем хамить, посмотрите на себя, девушка, как вы одеты и как себя ведёте.

— И как это мы себя ведём, а? — ввязалась в ссору Ксюха.

— Девушка, я требую, чтобы вы извинились перед моей женой! — краснолицый от гнева аж со своего места привстал.

— Ты чо, ко мне клеёшься, понравилась что ли? — взвизгнула Анька.

Тётка схватила мужа и потянула к выходу:

— Не надо, Серёжа, оставь, нам выходить скоро....

— А ну, прекратили! — заорал из-за своей перегородки шофёр.

И под хихиканье Аньки и Ксюхи тётка с мужем покинули автобус.

— Придурки, — констатировала Ксюха, а Анька с презрением сказала:

— Слабак. Даже ударить меня побоялся.

На следующей девчонки вышли, неподалёку от остановки купили бутылку пива и, попивая по очереди, побрели куда-то вперёд. Смеркалось, холодный ветер продувал насквозь, но, тем не менее, на улице была уйма народу.

— Бабка моя совсем меня заколебала, — сердито надув крашенные чёрной помадой губки, пожаловалась Анька. — В каком-то городе парня сожгли на Вечном огне, так она истерику мне закатила, типа, знаю я, чем вы там, готы, занимаетесь... А с парнем этим здорово придумали, не помелочились. Это в нашем захолустном сити всё кошечки да собачки. Вот можно же по крупному работать. Реальное жертвоприношение. А бабка ещё святой водой меня брызгать выдумала, в еду мне её подливала. Но я-то её чую, сразу всё из тарелки в урну вываливаю. Мамка говорит, чего взять со старушки, отстала она от времени. Хорошо, хоть мамка мою свободу не ущемляет, спокойно своим фен-шуйем занимается.

— А какая тебе разница до этой святой воды? Ну подлила бабулька, но это же не отрава?

— Не понимаешь ты ничего, Ксюха, — самодовольно отхлебнула пиво Анька. — Я нутром её чую, меня от неё воротит. Не одну меня, кстати, многих моих знакомых тоже. Брр, как вспомню... — Анька аж передёрнулась вся, как будто до лягушки дотронулась. — И вспоминать неохота. Надо каких-нибудь мальчиков подцепить, — Анька с сожалением глянула на ополовиненную бутылку. — Всегда приятнее пить за чужой счёт.

— Да,— машинально согласилась Ксюха.— А что ты любишь больше всего в жизни, Анька?

— А чёрт знает.— Анька задумалась.— Наверное, возможность самовыразиться, делать что хочешь. Свободу, короче. А ты?

Зажглись фонари. Ксюха с наслаждением вдохнула холодный свежий воздух, высунула руку из кармана куртки, глотнула пиво.— Ты точно сказала, свободу. Кроме неё у меня ничего нет. У тебя хотя бы родаки богатенькие...

— И чо с того? Всё равно для меня это не главное. Главное, что я не такая как все, могу нести всякую хрень, вести себя как хочу, одеваться, как хочу, могу дать по морде тем, кто имеет что-то против. А те, кто ведёт себя как все, одевается, как мама велела, боится врезать, если хочется,— мне противны, я таких ненавижу. Жизнь — для таких, как мы, Ксюха. А не для таких как те баба с мужиком из автобуса, как тысячи людей, которые каждое утро тупо ходят на работу, заводят детей, подышают. И не для их детей, которые проживут свои никчёмные жизни так же, как и их рашен предки. Для нас!

— Да, ты права,— со злобой сказала Ксюха, глядя на сверкающую витрину магазина, на стройный манекен в изящных босоножках и стильном платьице. О таких босоножках и о таком платьице Ксюха может только мечтать, денег ни на то, ни на другое нет...

— Мерзко жить и ощущать, что ты — среднестатистический человек.— Ксюха оторвала взгляд от манекена и подтянула джинсы.— Разобьём?

— Чем?

— Надо кирпич какой-нибудь найти. Факт, что на этой улице булыжники не валяются, пошли на соседних улицах поищем.... Минут через десять, допив пиво и вытащив из бордюрика по увесистой каменюке, подруги снова были около витрины.

— Издалека кидать не будем,— инструктировала Анька.— Мы не настолько трезвы, чтоб докинуть. Просто подходим, с размаху бьём камнем по витрине и мотаем за угол. Ментов рядом не наблюдается, граждане нас ловить не станут, хотя.... Тут, говорят, эти бывают, не помню как называются, короче, помощники ментов, но в нормальной одежде.

— Да хрен с ними! — Ксюхе хотелось что-нибудь разбить, изуродовать и, желательно, скорее.— Давай!

Звук разбивающегося стекла и пьяный визг какой-то девки приятно пощекотали нервы. Потом они долго бежали и отдышались только в какой-то подворотне. Она была похожа на пещеру и вводила в тёмный замкнутый двор. Дома во дворе были разномастные, но все двухэтажные.

— Здорово! — прошептала Ксюха, присев на корточки.

— Ага,— Анька присела рядом.— Блин, надо завтра чёрную краску купить, опять шу-хер красить пора.

В темноте мерзко скрипнула какая-то дверь. Подруги насторожились — из двери явно кто-то вышел.

— Девушки, можно познакомиться? — раздался чей-то глухой голос.

Анька и Ксюха вскочили от неожиданности. Неподальёку от них разглядели тёмную мужскую фигуру. Неизвестно, что от этого типа можно было ожидать. Выход из двора был только один, и этому странному типу до него было ближе.

— Давайте,— сказала Ксюха, не выдавая своего испуга.— Вас как звать?

— Саша,— представился тип.

Ксюха с Анькой тоже назвали себя: Ксюха — Катей, Анька — Машей.

— А почему это вы вдруг решили с нами познакомиться? — спросила Анька.— По-моему, этот двор не лучшее место.

— Да просто смотрю, девушки симпатичные, решил подойти.

— А как вы узнали, что мы симпатичные? Здесь темно вообще-то! — Ксюха начала трезветь от страха.

— А я привычный к темноте.

— Может, выйдем отсюда? — предложила Анька.

— Да нет, зачем, здесь лучше. Тут у меня недалеко есть тёплое местечко, посидеть можно...

— Подвал что ли? — не думая ляпнула Ксюха.

— А-а,— голос странного типа стал радостным,— вы обо мне уже слышаны. Тем лучше. Так пойдёте?

— Ты чо, правда, зовёшь нас в подвал? — по голосу было ясно, что Анька здорово труханула.

— Ну да. А вы что, не хотите?

— Ты чо, маньяк? — напрямую спросила Ксюха.

— Да нет,— опешил Саша.— А что, похож?

— Очень,— усмехнулась Ксюха. Весь её страх как рукой сняло, непонятно почему, и она поняла, что тип не опасен.— Ты, вообще, часто так с девушками знакомишься?

— Да когда как. Я вообще, каждый вечер по центру хожу, но знакомиться не всегда получается. Когда сразу с двумя-тремя знакомлюсь, а когда меня вообще посылают. Тогда я говорю: «Девушка, попридержите язычок...»

— А для чего ты знакомишься? — Ксюхе становилось смешно.

— Да жену ищу. Мне ведь уже двадцать два года.

— И чо, есть у тебя кто на примете?

— Да, у меня много номеров было. А потом сдал телефон в ломбард, и теперь снова знакомлюсь...

— Ты где работаешь? — Анька тоже заинтересовалась Сашей.

— А я не работаю. Но полгода назад начал искать, куда бы устроиться.

— Ты не обидишься, если мы будем называть тебя Маньяком? — предложила Ксюха.

— Да нет, вы же шутите.... Так мы пойдём в подвал?

— А чо это за подвал у тебя? А, Маньяк? И с кем ты сидишь там?

— Да я прошлой зимой ходил-ходил, холодно стало, начал искать, где погреться, нашёл подвал. А сию я там один, обычно, хотя иногда знакомая заходит, она живёт тут недалеко. У меня в подвале хорошо, даже свет есть. А недавно лампочка перегорела, в темноте приходилось сидеть, пока её кто-то не заменил.

— А у тебя дом есть? Или ты всегда в своём подвале живёшь?

— Да нет, у меня дом есть. Я обычно дома ночую. А раньше вообще всё время ночевал, потому что, если поздно возвращался, меня мама била.

— Ну, что, айда, Маньяк, в твой подвал.— Ксюху охватило взбалмошное, дерганое настроение, когда хочется какого-то неоправданного риска, на экстрим тянет.

— Айда,— согласился Маньяк.

И пошёл в тёмный угол двора. Ксюха направилась за ним, но Анька схватила её за руку:

— Ты чо, с ума сошла? Драпаем отсюда! Он же помешанный!

— Маньяк, а Маньяк, ты всех подряд в свой подвал приглашаешь? — Ксюха размышляла, пойти ей в подвал или послушаться Аньку.

— Нет, только тех, кто сильно понравится. Ну, вы чо там, идёте?

— Он псих, пошли отсюда,— прошипела Анька, и, скрепя сердцем, Ксюха сдалась.

Подруги выскочили со двора, причём Ксюха успела обернуться и разглядеть адрес: Пролетарская 17. Бежали до самой остановки, где сразу же повезло сесть на автобус. Доехали без приключений. Анька приговаривала:

— Понравились мы ему, видите ли! Интересно, какие у него там садистские игрушки в подвале для тех, кто понравился...

На прощанье она сказала:

— Знаешь, я всегда гордилась тем, что Анечка одна такая неадекватная, но, оказывается, есть хуже! А маньяка этого надо запомнить. Жаль, конечно, что он в церковь не бегаёт, я бы сразу почуяла. А то бы и его неплохо на каком-нибудь вечном огне...

Перед тем как завалиться спать, Ксюха отодвинула штору. В освящённом окне дома напротив горбатилась над письменным столом долговязая фигура. Но донимать Чокнутого было уже лень.

Последним уроком была литра. Со скукой глядя то на крючконосую литераторшу, уже полчаса распространяющуюся о бессмертном гении Солженицына, то на курного соседа Санька, рисующего красной гелевой ручкой татуировку на руке, Ксюха подумала: «А почему бы не заглянуть в подвал к Маньяку?»

— Солженицын был первым вестником демократии,— под нос бубнила тщедушная литераторша с маленькой головкой, покрытой реденькими волосами.

Девчонки говорили, что она слишком часто красилась «блондексом».

— Ну, опять про свою демократию,— скучающе протянул Санёк.

Литераторшу класс не любил.

Адресок Ксюха запомнила, благоразумной Аньки рядом не было, и, с трудом досидев литературу, она поехала в центр. Славика решила с собой не брать — какой экстрим, когда за спиной стоит шкафоподобный парниша с пудовыми кулаками. А вот когда одна, совсем другое дело. Спускаясь в подвал по скрипящей скособоленной лестнице в полной темноте, она вполне оценила этот экстрим. Свет сотового телефона не мог разогнать мрак затхлого подвала, и Ксюха, всегда славившаяся безрассудством и бесстрашием, чувствовала, как трясутся коленки. Спустившись с лестницы, она начала ощупывать стены. К этому времени Ксюха более-менее привыкла к темноте, так что путём ощупывания и разглядывания заключила, что находится в малюсеньком квадратном помещении и что стены в нём кирпичные. Одну стену целиком занимала железная дверь. Ксюха нащупала ручку и замерла. С полминуты стояла, боясь шелохнуться, тревожно прислушиваясь к каждому своему вздоху и стуку сердца.

«Ну и дура ты, Ксения Владимировна,— подумала, наконец, она со злобой.— Даже Славик, даже этот Чокнутый из дома напротив, не труханули бы так! Конечно, если бы им пришлось в голову сюда полезть. Ну, ты чо, на одноклассниц своих становишься похожей, что ли? Ну, открой дверь, не куксись, скотина ты этакая»,— уговаривала себя Ксюха.

Было ужасно страшно, но Ксюха знала, что не может убежать, не заглянув за эту дверь. Иначе она потеряет всё уважение к себе. И, зажмурившись, Ксюха дёрнула ручку. Дверь бесшумно отворилась. Раскрыв глаза, Ксюха с интересом поглядела в дверной проём. За ним было просторное тёмное помещение с неясными очертаниями труб на заднем плане. А на переднем.... Сначала Ксюха подумала, что посреди комнаты сидит манекен, до того фигура была неподвижной.

«Подожду немного. Если это человек, он, в конце концов, зашевелится»,— промелькнула в Ксюхиной голове рациональная мысль. Но ожидание затянулось. Ксюха стояла как соляной столп, человек тоже признаков жизни не подавал. Ксюхе надоело:

— Эй, есть кто живой!?

Протянулось долгое мгновение ожидания, и манекен ожил.

— А я думаю, кто это тут бродит,— отозвался он голосом Маньяка.— Включи свет, выключатель справа от тебя.

Ксюха щёлкнула выключателем, на сводчатом потолке зажглась лампочка. Подвальчик был довольно уютным — на трубу, разделяющую его на две половины, была положена длинная доска, сверху постелена одеялка с утятами, на которой и восседал Маньяк. При свете слабой лампочки он оказался небритым темноволосым парнем с полосатым шарфом и взглядом тормоза.

— Вот ты придурок,— облегчённо вздохнула Ксюха.— Нельзя было сразу объявиться, нужно было меня пугать! — Ксюха чувствовала, что Маньяк совершенно безобиден, поэтому вошла в привычный стиль общения.— Ни стыда, ни совести!

— Да я сам напугался, когда ты зашла,— начал оправдываться Маньяк.— Мало ли кто зайти может! А ты садись,— Маньяк подвинулся на уголок своего топчана освобождая место на одеялке.— Хорошо, что пришла. Почему вы, кстати, вчера убежали? А-а, неважно, не рассказывай. Обычно я тут один сижу.

— А что это за знакомая к тебе приходит? — Ксюха присела подле Маньяка.

— Знакомая? Это Оксана. Она уборщицей работает и говорит, что она психолог. А она никакой не психолог, потому что, если я её не понимаю, она сразу орать начинает и говорит, что я на голову больной...

— А что, не так?

— Нет, я здоровый. А что, не похож?

— Да не очень как-то. А где ты раньше работал?

— О-о,— глаза Маньяка оживились,— я работал охранником. Тут такая история...

Взгляд Маньяка обрёл некое потустороннее выражение, и он начал бессвязную историю без начала и конца:

— Мне нельзя возле Дома Советов ходить. Там часто бандиты собираются. Я когда охранником работал, мой начальник помогал бандитам, и он знал, что я не согласен. И тогда он натравил на меня бандитов. Они и сейчас за мной следят. Я ещё с девушкой расстался, потому что мой начальник ей сказал, что со мной общаться не надо. А другой мой начальник работал в ФСБ. И я стал ему помогать. За тобой теперь тоже бандиты будут следить, они узнают, что ты со мной общаешься...

Ксюха с интересом глядела на Маньяка. «Ясно, что психически нездоровый,— думала она, вполуха слушая его бредовые фантазии.— А кто тогда здоровый? Я? А может, Анька? Про Чокнутого и вспоминать не буду. В любом случае, с психами интереснее. У них мышление нестандартное».

—...Я тоже в ФСБ работаю, только ты не говори никому, это государственная тайна. Если узнают, что ты знаешь, тебя бандиты поймают...

— Скучная у тебя история, Маньяк,— Ксюха вскочила с одеялки и полезла за трубы ловить кошку, невесть откуда взявшуюся, молчаливую.— Откуда она здесь?

— И мой начальник, который в ФСБ работает, сказал моей девушке, чтобы она со мной опять встречалась...

— Эй, Маньяк, ты чо, оглох? — Ксюха вылезла из-за труб, после неудачной попытки поймать кошку.— Откуда она тут? Ты, что ли, притащил? Почему она не мяукает?

— А? Да, это я. Я её на кладбище нашёл, поэтому она такая неразговорчивая.— Так, на чём я остановился...

— Ты погоди, лучше я тебе свою историю расскажу. Знаешь, я переодетая принцесса. Джинсы на коленках рваные для маскировки, куртка грязная для той же цели. Мой батя-король конспирируется, живя в обыкновенной квартире, мама-королева торгует на рынке. Мы скрываемся, потому что в нашем государстве Оборвандии произошла бирюзовая революция и за нами охотятся....

— Я что, так неправдоподобно рассказываю? — Маньяк погрустнел.

— Да, ты занимаешься враньём. Сам-то веришь в это?

— Да. Только я не врал, за мной, правда, охотятся!

Ксюхе стало скучно. Она поднялась с одеялки, поправила ранец на спине.

— Прощай, Маньяк, надоело мне у тебя. Больно ты занудный.

— Уже уходишь? Плохо. Ко мне так редко приходят... Недели две назад ремонтники приходили, пришлось от них в углу за трубой прятаться, а кроме них никто. Ещё когда-нибудь придёшь?

— Не знаю,— пожал плечами Ксюха и закрыла за собой железную дверь.

Поднялась по скрипучей лестнице, выглянула во двор. Вроде никого. Тихонько вылезла, и чуть не наткнулась на припаркованный рядом с дверью в подвал лиловый пежо. Из окошка высунулся мордастый мужик:

— Чего вы там делали?

— Кошек кормила! — крикнула Ксюха, на бегу прочитав на стене надпись «АСКЕТ». Кто это, интересно?

В автобусе было жарко. Ксюха расстегнула куртку, положила ранец на колени. Прикорнула маленько, проехала свою остановку, пришлось пешком обратно топтать. Закурила Ксюха последнюю сигарету, бросила пустую пачку в ворох листьев, и, наслаждаясь осенью и согревающим изнутри дымом, медленно пошла домой. Была любимая

Ксюхина погода. Серое небо и ветер, качающий верхушки деревьев, воющий о чём-то грустном и свободном, сбивающий с ног, размётывающий мусор, грязные листья. Позвонил Славик, но Ксюха раздражённо нажала на красную кнопку — в такую погоду хотелось побыть одной. Хотелось просто идти вперёд, глаза на заборы и частные дома, и ни о чём не думать. Не вышло. С раздражением Ксюха услышала за спиной чьи-то приближающиеся шаги и заранее ненавидела этого придурка, помешавшего любоваться стихией. Он нагнал её, и Ксюха сразу признала в нём Чокнутого. Ну да, развевающийся по ветру чёрный плащ, закинутая в небо сивая башка, дурацкая улыбка. Как не признать!

— Чо лыбу давишь? — Ксюха была настроена весьма агрессивно. А Чокнутый ноль внимания — только взглянул мельком сверху вниз, поднял удивлённо тонкие брови, увидев сигарету, и всё. Даже улыбку дурацкую не убрал. «Да этот негодяй тоже погоде радуется! — с возмущением поняла Ксюха. — Он, типа, такой умный! Ну, посмотрим...». Ксюха прибавила темп, чтобы не отставать от длинноногого Чокнутого, и занялась делом. Для начала бросила в него окурком. Никакой реакции.

— Ты чо, считаешь, если вырос шлагбаумом, людей можешь не замечать?

— Не считаю.

— А в чём проблема? Остановись, поговори со мной.

— О чём?

— Да хотя бы о нас с тобой. Ведь это я тебе недавно звонила с предложением познакомиться.

— Зачем?

— А запала на тебя. — Эта невозмутимость бесила Ксюху намного больше, чем самая отборная ругань, когда-либо произносимая в её адрес. — Я же давно по тебе сохну, козёл безрогий, ублюдок паршивый! — Ксюха вспомнила слово, прочитанное на заборе, и решила, что оно тут вполне уместно. — Аскет! А ты и взглянуть на меня не хочешь. Жалко, да?

— Тебя жалко.

— Какой жалостливый! Лучше для себя жалость побереги, на тот случай, если побьют в тёмном переулке. А тебя скоро побьют, я уверена.

У Ксюхи сводило ноги от быстрой ходьбы, щёки пылали от гнева, и настроение было препаршивым. А этот Чокнутый идёт на своих ходулях, и нет ничто. Улыбается ещё, придурок. Улыбка очень даже ничо, кстати... Ксюха видела, что все её слова как об стенку горох, и не знала что делать. Поэтому стала просто материть Чокнутого. Так и дошли каждый до своего дома — Ксюха сквернословя всеми словами, которые только знала, а Чокнутый молча.

Забежав в квартиру и скинув куртку, Ксюха с удивлением обнаружила, что Ленка дома, и что вид у неё до невозможности зарёванный. Оказывается, очередной подлец бросил Ленку.

— Не плачь, — успокаивала Ленку Ксюха, — ну и что, что он тебя бросил? Ты себе другого найдёшь, хорошего.

Сёстры уселись, обнявшись, на диван, стали плакать вместе. Ленка, понятное дело, из-за подлеца, а Ксюха из-за Чокнутого. С ресниц текла тушь, Ксюха размазывала её ладошкой по лицу. Никто ещё так спокойно не реагировал на Ксюхины доводжения, и ей было очень обидно.

* * *

Шёл первый снег. Ксюха со Славиком курили на углу дома Чокнутого. В последнее время Славик под Ксюхиным влиянием совсем человеком стал. И совесть при его появлении не мучает, и прямая выгода наблюдается. Нет сигарет — у Славика попросить можно, выпить хочется — Славик всегда согласен, если есть на что. Только в одном Ксюха была им недовольна. Больно он мягкотелый, добрый, даже ударить никого не может, хоть и боксёр. Недавно идут они со Славиком мимо Ксюхиной школы, а навстречу Лёха с Саньком. Прошли мимо, Санёк поздоровался, Лёха промолчал, а пройдя мимо, сказал что-то вполголоса и заржал. Наверняка насчёт Ксюхи.

— Дай ему по морде, — прошептала Ксюха. — Да по сильнее.

— За что? — удивился Славик. — Он же ничего плохого не сделал, к тому же намного слабее меня.

— Не спрашивай, а делай, что говорят, — процедила сквозь зубы Ксюха, но, наткнувшись на его упрямый взгляд, замолчала. Не всё сразу, не всё сразу...

Снег шёл всё сильнее.

— У тебя же в это время обычно тренировка? — невзначай проронила Ксюха, поймав на ладонь пушистую снежинку. Снежинка растаяла.

— Ну да, — опустил глаза Славик.

— Правильно, на кой она тебе сдалась? Ещё успеешь находиться.

А молодость только одна.

Ксюха сбила пепел с сигареты, надменно закинув голову, поглядела на затянутое серыми снежными облаками небо. Ещё бы! Тут ради неё тренировки прогуливают.... В конце безлюдного двора появился Чокнутый. Закинув голову, он подставлял лицо хлопьям снега, размахивал руками, вообще, как обычно, вёл себя неадекватно.

— Славик.... Ты меня любишь?

— Люблю.

— Докажи. Если любишь меня, — не побоишься дать по морде вон тому патлатому верзиле, — Ксюха кивнула на Чокнутого. — А если побоишься, — значит, не любишь, и всё это время просто бессовестно врал.

— Ксюша, но как... Он же...

— Боишься? Ну да, он выше тебя на голову!

— Не боюсь. Но бить ни за что — подло.

— Не любишь ты меня, Славик. А я думала....

На глаза наворачивались слёзы, так было обидно, что Чокнутый не получит по морде. А тот безмятежно шёл к своему подъезду хоть и без дурацкой улыбки, но всё равно в чересчур хорошем настроении. Это было так неправильно, так несправедливо! Ксюха гневно отвернулась. Славик бросил сигарету и двинул на Чокнутого. Она оглянулась. Славик уже стоял перед этим длинным придурком. Чокнутый был выше шкафоподобного Славика, но такой тощий, недокормленный, что Ксюха за Славика нисколько не переживала. Правда, будь Чокнутый амбалом с гигантскими кулаками, добрая Ксюха и тогда бы волноваться не стала. Беспокоило её только то, что в самый последний момент Славик передумает. Но нет. Славик оглянулся на Ксюху, поймал её ожидающий взгляд и недрогнувшим кулаком заехал Чокнутому по морде. Раздался удивлённый вскрик. Чокнутый закрылся руками, весь как-то ссутулился, как будто захотел стать меньше, и, не отрывая рук от лица, спотыкаясь и разбрызгивая ботинками грязь, побежал к двери подъезда.

«Какой он жалкий», — подумала Ксюха. А Славик.... А Славик зачем-то кинулся вслед за Чокнутым. Тот уже возился с кодовым замком, прикрывая лицо рукой с намотанными на запястье бусами. Когда Славик подскочил, Чокнутый ещё сильнее сжался, рука, набравшая циферки, безвольно опустилась вдоль чёрного плаща.

«Что Славiku надо? — Ксюха начала нервничать. — Он что там, добить, что ли, Чокнутого решил?»

— Прости меня, — Славик опустил голову.

Чокнутый удивлённо поглядел на него через растопыренные пальцы прижатой к лицу руки своими солнечно-кариными глазами. Улыбнулся.

— Я на тебя не злюсь.

— Спасибо тебе, — Славик поднял голову.

— Что ты! Не надо...

— Ну, я пойду?

— Да, иди... — Чокнутый грустно поглядел на Ксюху, и от этого совершенно беззлобного взгляда ей стало не по себе.

Потом, набрав код, неловко зашёл в подъезд, задев дверь рукой. Только когда дверь тихо затворилась, Славик медленно пошёл от подъезда, глядя вперёд невидящими глазами.

— Ты чо? — поинтересовалась Ксюха, скользнув взглядом по кровавому отпечатку на двери Чокнутого.

— А ничего. Теперь ты довольна?

Ксюха никогда ещё не видела, как Славик злится, и ей было как-то непривычно.

— Ты чо психуешь, я не понимаю? Ничего такого не случилось. Ну, дал ты Чокнутому по морде, ну и что?

— Ничего. Только я подонок после этого, а ты ещё хуже. Единственный среди нас нормальный — это тот парень, которого ты Чокнутым называешь. Мне нужно было раньше понять, а я дурак, не хотел... Не надо нам с тобой общаться, Ксюша.— Славик погрустнел.

— Ну почему? — Ксюха чувствовала, что теряет над Славиком власть и пыталась что-то сделать.— Неужели из-за этого глупого эпизода, этой ошибки, ты меня бросишь? Это жестокое! Ведь ты же говорил, что любишь меня! — Ксюха судорожно припоминала все подходящие фразы из сериалов, которые когда-то так часто смотрела с Ленкой.

— Люблю. А ухажу не только из-за этого эпизода, как ты говоришь. До того как мы с тобой познакомились, я не пил, не курил, тренировки не прогуливал. А ты на меня плохо влияешь. Если ты мне что-то говоришь, я не могу отказаться. Знаешь,— Славик начал сдаваться,— если ты пообещаешь, что изменишься, я останусь...

— В смысле, изменюсь? — Ксюха с насмешкой посмотрела на Славика. И зачем она его столько времени мучила? Больше месяца...

— Ну, пить не будешь, курить, перестанешь быть такой злой...

«В принципе, почему бы не пообещать,— подумала Ксюха, глядя на переминающегося с ноги на ногу Славика.— Сёдня пообещаю, завтра он опять станет спокойным, и всё по-старому пойдёт. Хотя, зачем ему жизнь портить? Пускай ведёт здоровый образ жизни, ходит на тренировки, прочей ерундой занимается. У него другая жизнь, чо я к нему лезу?»

Вспомнилась фраза, вычитанная где-то в интернете: «От недостатка собственного счастья мы лезем в чужую жизнь...» Мда. Толку от него никакого, даже по морде дать нормально не сумел, нафига он мне такой нужен? И твёрдым голосом Ксюха сказала:

— Я никогда не изменюсь.

— Пока.— Славик полез зачем-то в карман, порылся там. Протянул Ксюхе зажигалку и пачку сигарет.

— Пока,— вздохнула Ксюха, засовывая всё это добро в куртку.

Славик повернулся и, не оглядываясь, пошёл со двора. Теплело. Снег падал и таял, весь двор был уже в грязи. А ещё каких-то полчаса назад земля была покрыта его чистыми хлопьями. Ксюха решила, что на прогулку с одноклассниками, не комплексуя, наденет жёлтые резиновые сапоги.

Расставшись со Славиком, Ксюха мало чего потеряла. В тот же день он заменился шнырём Лёхой, и жизнь пошла та же, что и со Славиком. Ксюха транжирила Лёху на пиво и сигареты, а тот терпеливо это сносил. Только в отличие от Славика не строил из себя правильного, а воспринимал это как должное и был теперь более покладистым, боясь, что Ксюху вновь посетит бзик, и она пошлёт его куда подальше. Да, Ксюха любила держать около себя людей послушных, смиренных. Конечно, Санёк, сосед Ксюхин по парте, куда интереснее Лёхи, да и в разы авторитетней, ну и что? Зато у Санька на всё своё мнение, он терпеть не может, когда ему приказывают, а следовательно, в парни Ксюхе не годится.

Чокнутого Ксюха долго не встречала, но из надёжного источника, а конкретно от Шомы, знала, что Чокнутый долго ходил с распухшим носом.

— И кто этого дурака обидел? — недоумевал Шома.— Узнал бы, дал бы по морде, честно слово! А он молчит, спросишь, молчит всё. Добрый лопух, чо уж говорить.

«И что он меня не выдал? — усмехнулась про себя Ксюха.— Ведь я ему каждый день после того случая на нервы действовала! У него аж в привычку вошло телефон под вечер выключать. Номерок, кстати, так и не сменил...»

— Да уж, правда, добрый лопух,— согласилась Ксюха.

Чокнутого она встретила дня через два после разговора с Шомой. Она в одиночестве шла со школы, видите ли, Лёше нужно срочно домой, даже проводить некогда, а Чокнутый шёл куда-то из дома. «У него что, во вторую смену институт?» — подумала

Ксюха, аккуратно сбивая пальчиком пепел с сигареты. Не хотелось встречаться глазами с Чокнутым, не хотелось, чтобы тот вообще её заметил, и Ксюха опустила глаза, сделав вид, что думает, как с наименьшими потерями для своих кроссовок обойти лужу.

— Ты не смотришься с сигаретой.

Эта фраза прозвучала так неожиданно, что Ксюха не нашла, что сказать. Надо нахамить поскорей, ляпнуть что-нибудь вроде: «Вашего мнения не спрашивали!», или похлеще что-нибудь...» — пронеслось в Ксюхиной голове, но почему-то она так не сказала. А когда, наконец, решилась, Чокнутый был уже далеко. Кричать ему Ксюха не стала, только долго недоумевающе глядела вослед, пуская дым вниз. Ветер развевал чёрный плащ, длинные светлые волосы Чокнутого, и Ксюха подумала, что будь она художником, непременно нарисовала бы его на фоне восхода...

* * *

...Ксюхе нравилось писать самостоятельные по обществознанию. Да и сам урок тоже нравился. Она любила те предметы, которые не надо было учить, потому что домашние работы Ксюха делала только в крайних случаях. А общество можно было на уроке прочитать или не читать вообще — в любом случае найдёшь что ответить, сообразительности Ксюхе не занимать. Чаще всего Елена Александровна, учителька по истории и обществу, давала самостоятельные на какую-нибудь полусвободную тему. Что-нибудь навроде «Моё мнение на тему...», или «Что я думаю о себе». На этот раз тема звучала так: «Кого я считаю личностью». Не слушая объяснений Елены Александровны и шепотню одноклассников, Ксюха задумалась. В самом деле, кого она считает личностью? Актёра, поп-звезду? Нет. Какого-нибудь известного человека древности? Вот ещё не хватало! Путина? Вполуха Ксюха слышала, что обсуждая о ком же писать, одноклассники несколько раз произнесли его фамилию. Нет, о Путине Ксюхе писать не хотелось. Она взяла ручку и как можно аккуратнее вывела в тетради своим бешеным подпрыгивающим почерком: «Я считаю личностью себя».

— Вот загнула, — выразил своё мнение Санёк, всегда берущий Ксюхины самостоятельные за образец, — а мне-то чего писать?

— Пиши про Путина, тока отвянь, — Ксюха не любила, когда отвлекают, и, в отличие от других более-менее сообразительных девчонок, никогда контрольных за шоколадку или пачку сигарет не писала.

«Я считаю себя личностью, потому что ни от кого не завишу, — продолжила она, — и всегда делаю только то, что хочу. А остальные мои знакомые, одноклассники, например, не личности. Потому что они зависимые. От учителей, родителей, даже от меня. Скажешь им что-нибудь — сразу побегут. И своего мнения у них нет. Если что-нибудь говорят — факт, что где-то услышали и повторяют».

— Ну, ты и понаписала, — недовольно сверкнул миндалевидно-карими глазами Санёк, — личность ты наша... А мне-то чо писать? Я у тебя такое не могу списывать!

— Отвали, — Ксюха начинала злиться, — чо хошь пиши, вон у Таньки спроси, недалеко же сидит.

И Санёк пристал к сидящей сзади Таньке. А Ксюха продолжила: «Я не такая. У меня на всё своё мнение, я никогда не хожу ни у кого на поводке. У меня есть свобода, которую я люблю больше всего и ни на что не променяю. И вообще, я — это я, меня ни с кем не спутаешь. Когда в школе спрашивают: «А кто это — Ксюха Никольская?», то сразу же слышат в ответ: «Да эта беспредельщица из девятого „В“, заводила постоянная». Что правда, то правда, я веду за собой весь класс. А значит я — личность. Потому что с личности хочется брать пример, а мне пытаются подражать все одноклассники. Правда, неудачно, потому что они не личности, и не могут во всём быть как я».

— Ну, кореш, — Санёк опять теребил её за плечо, — ну скажи чо-нибудь, а то я вот написал, что Путин сильная личность, потому что стал президентом, а чо дальше писать — не знаю.

— Ладно, записывай, — Ксюха решила, что с неё писанины хватит. — «Ещё Путин личность, потому что пересажал всех своих оппонентов. Ходорковский, например, и сейчас ещё сидит».

— «И сейчас ещё сидит»,— послушно записывал Санёк.

— Дальше пиши. «Путину хочется подражать и путинские последователи говорят его голосом. А люди так Путина ценят, что вешают везде его портреты. В нашем классе, например, висит его фотография, и в конце четверти на генеральной уборке мы всегда смахиваем с неё пыль».

— А можд не надо про пыль, а?

— Пиши чо диктуют и не возникай, а то обижусь. «Ещё у Путина хорошее чувство юмора. Его выступления забавно послушать...»

Со школы Ксюха шла с Лёхой. Болтали о какой-то ерунде, ржали. Лёха рассказал, что Альбинка недавно не дошла вечером до дома и заснула на лавочке в парке. Было весело.

— Ну, давай покурим что ли на прощанье,— усмехнулась Ксюха, когда они с Лёхой зашли в её двор. По традиции остановились на углу дома Чокнутого, Лёха полез в карман брюк за пачкой сигарет и зажигалкой. Ксюха с интересом гладела на свой незастеклённый балкон с висящими на верёвке трусами и, только взяв сигарету своими длинными красными ногтями, заметила, что в конце двора появился Чокнутый.

— Ну закуривай, что ли,— Лёхе уже надоело держать зажигалку в ожидании, когда Ксюха затынется.— Ты чего, Ксюш?

— Ничего,— Ксюха поймала весёлый, солнечный взгляд Чокнутого, и сигарета выпала из дрожащих пальцев.

— Чо, руки трясутся с похмелья? — Лёха наклонился за Ксюхиной сигаретой.

— Не трожь!

— Ты чо? — Лёха снизу вверх испуганно взглянул на Ксюху.

— Не смей трогать.

Ксюха во все глаза смотрела на Чокнутого. А тот шёл по двору, размахивая руками, радостно улыбаясь и... глядя на Ксюху. От его взгляда Ксюхе было и не по себе, и, одновременно, дух захватывало, как будто летишь вверх по американской горке. Проводив ошарашенным взглядом закрывшуюся за Чокнутым дверь подъезда Ксюха с ненавистью поглядела на Лёху. Тот пускал дым, жадно глядя на сигарету у Ксюхи под ногами.

«Какой он мерзкий»,— подумала Ксюха и спросила раздражённо:

— Почему ты куришь? Это же стрёмно.

— Ты что, бросила? Ведь сама же покурить предложила!

— А почему ты, вообще, Лёха, куришь? — Ксюха почувствовала необъяснимое желание сделать Лёхе больно, ударить его или оскорбить, неважно как, лишь бы побольней.

— Так ведь ты же научила! — Лёха недоумевающе поглядел на Ксюху.— Помнишь, в шестом классе, тогда только ты курила и Дылда-Колян, и один раз ты всем сказала...

— А своих мозгов у тебя не было? Это вообще-то ты на меня должен был влиять, а не я на тебя! — Ксюхе очень хотелось расцарапать Лёхину рожу, но она сдерживалась.— Кто тут пацан, ты или я? Васиф с Женьком, между прочим, не курят.

— Но ведь ты...

— Ах, я уже пацан! Интересно, в каком месте,— Ксюха пнула банку из-под пепси-колы, та ударилась об урну.— Неприятен ты мне, Лёха. Уйди, рядом с тобой стоять противно.

— Ты чо, с цепи сорвалась? Я же ничего тебе не делал! Зачем ты так?

— Слабак ты, Лёха,— усмехнулась Ксюха, направляясь к своему подъезду,— надоел ты мне. Прощевай.

— Ксюша!

Но Ксюха оборачиваться не стала.

Весь день просидела за компом, переписываясь в контакте с каким-то красавцем из солнечной Армении. Тот предлагал встретиться для дальнейшего сожительства, Ксюха не отказывалась, но и не соглашалась. А часов в одиннадцать вечера уселась на подоконник расчёсывать волосы, глядя на Чокнутого и злясь на саму себя.

«Да, Ксения Владимировна,— ехидничала Ксюха,— совсем ты воспитанной стала. Ляпнул Чокнутый, что ему, видите ли, сигарета не нравится, а ты и рада стараться. И чо за бзик на меня напал? Сёдня так даже и не курила». Ксюха глядела, как Чокнутый что-то пишет, и раздражалась всё больше и больше. «А дойму-ка я его». Ксюха бросила расчёску,

взяла телефон, нашла в телефонной книге привычную кличку, нажала зелёную кнопку. С удовольствием выслушав, как Чокнутый успел сказать «да», отключилась. Потом ещё разок. И ещё. А потом Ксюхе пришла от Чокнутого sms-ка. «Спокойной ночи», удивлённо прочитала Ксюха. Перечитала ещё разок. Спрыгнула с подоконника, попрыгала взад-вперёд по комнате, залезла обратно на подоконник. Подумала: «А ведь кареглазый блондин — это клёво». Поглядела на светящееся окно дома напротив. Чокнутый ничего не писал, а просто сидел за столом. «Тебе тоже спокойной», отправила ему Ксюха. И пошла спать. Назавтра было семнадцатое ноября.

* * *

На последнем уроке Ксюхе позвонила Анька.

— Только быстрее, я на биологии,— прошептала Ксюха, нагнувшись под парту.

— Да, понимаю. Знаешь, завтра пацаны с нашей параллели в заброшенном гараже собирались манату варить, меня позвали, из девчонок я там одна буду. Пойдёшь?

— Манага... Это что-то с коноплей связанное? С молоком, что ли?

Одноклассники вокруг Ксюхи начали хихикать.

— Там всё увидишь. А знаешь, я решила язык проколоть. Щас пойду к девке, там прокалывать будем...

— Чо, сами что ли?

— Ну да, не в салон же переться, там денег сдерут ни за что...

— Никольская!

— Ну, всё, давай, завтра созвонимся,— попрощалась Ксюха, услышав возмущённый голос биологички, и вынырнула из-под парты.

Эта вредина Марь Сергеевна всего год в их школе, а понтуется как не знай кто. Вся такая стильная, очки, костюмчик, туфельки.

— Никольская, положите телефон мне на стол,— Марья Сергеевна поправила причёсочку. Эта причёсочка была темой дня во всех классах, где сегодня была биология,— я жду.— Биологичка постучала по доске указочкой.— Мне подойти и забрать самой?

— Ну, Марь Сергеевна, я же убрала, чо вы? — Ксюха мрачно взглянула на училку, засовывая телефон в карман. А эта училка как будто специально решила довести её до белого каления. Бросила доску с рисунком какой-то схемы и направилась к парте.

— Тока не хами ей сильно,— шепнул Санёк,— она же вредная, четвёрку тебе не поставит.

— Хрен с ней.

— Никольская, дайте мне телефон. Я передам родителям. Как раз увижу их. На родительское собрание они прийти, насколько я помню, не удосужились? — Марь Сергеевна нетерпеливо постучала указочкой по Ксюхиной парте.

— У меня нет родителей. И телефон я вам не отдам.

— А-а... — Марья Сергеевна смешалась, но быстро пришла в себя.— Ну, телефон я могла бы отдать и твоим опекунам.

Класс недовольно загудел. Марья Сергеевна встретила ненавистный Ксюхин взгляд, отвела накрашенные синими тенями глаза:

— Себе хуже делаете, Никольская,— биологичка неспешно прошествовала к доске.— Не ждите четвёрки по моему предмету.

После урока Ксюха отметила, что собрался Лёха необыкновенно быстро и из класса вылетел одним из первых. Судя по шушуканью девчонок, о вчерашнем расставании он кому-то уже рассказал, скорей всего соседке Таньке.

«Мне-то что? — Ксюха закинула ранец и вышла в коридор,— пускай языками мелят, я от этого ничо не теряю».

— Эй, Ксюх,— Колян-Дылда потрепал её за плечо,— пойдёшь с нами в беседку? Посидим, с дури поаемся.

Во время осенних каникул Пашок разбил окно на Ксюхиной кухне. И хотя стекло при содействии Санька, у которого родики дом строили, было вставлено, гостей с той поры Ксюха звать опасалась.

— Айдаге, помаемся с дури,— согласилась Ксюха.

И часа два добрая половина девятого «В» торчала в беседке соседнего от школы двора. Ржали, курили, обсуждали учителей, отсутствующих одноклассников, действовали на нервы местным старушкам. Деньги, вырученные за Петрухину мобилу, уже были пропиты. Санёк поведал, что Петруха, чьё избиеение было самой обсуждаемой в последние дни темой, уехал к родственникам в Питер, Танька начала расспрашивать подробности. Пришлось срочно менять тему. Давно Ксюха не была в таком хорошем настроении, давно над её шутками так не смеялись. Она с прикрасами пересказывала расставание с Лёхой, и в её интерпретации он выходил каким-то слабоумным, с которым Ксюха встречалась только от большой доброты. Моросил дождик, было промозгло, и, наконец, все решили разойтись. Попрощавшись с одноклассниками, Ксюха бодро потопала домой, расплёскивая кроссовками мелкие лужицы и думая: «Скорей бы снег выпал. Надоела уже эта слякоть».

Чокнутый вывернул из-за угла совсем неожиданно. Ксюха аж споткнулась и остановилась. А он, видя её замешательство, улыбнулся и спросил:

— Кажется, вы хотели со мной познакомиться? — и протянул руку, — Михаил.

Ксюха недоумевающе пожала его длинные холодные пальцы, растерянно назвала своё имя. Она его совсем не понимала. Как он может так дружелюбно с ней говорить, после всего хорошего, что она ему сделала?

— Так пойдёмте? Кажется, нам в одну сторону, — Михаил неспешно двинулся вперёд, весело глядя на Ксюху своими солнечно-кариими глазами. Она подумала: «А он совсем не чокнутый, этот Чокнутый», тряхнула волосами и рассмеялась. Михаил посмотрел на неё и тоже отчего-то засмеялся. Так они, смеясь, и пошли вдвоём по улице под назойливым дождиком.

— За что ты меня так невлюбила, если не секрет? — Михаил, к большому удивлению Ксюхи, спросил это таким радостным голосом, как будто говорил о чём-то хорошем.

— А ты меня что, больно любишь?

— Стараюсь, — улыбнулся Михаил, — правда, иногда это бывает довольно сложно, но Христос заповедовал нам «Возлюби ближнего своего как самого себя». Вот я и стараюсь всех любить, — Михаил лукаво взглянул на Ксюху и добавил, — даже тебя.

— Ты что, сильно верующий? — Ксюха никогда ещё не слышала, чтобы человек почти её возраста говорил о вере, и с интересом взглянула на Михаила.

— Да нет, что ты, верующий я никомушный. Всё время кого-нибудь осуждаю, смирения во мне мало.

— Смирение эт чо такое?

— Ну, как тебе сказать.... Впрочем, когда тебя ударят по левой щеке, подставь правую. И не злись на обидчика.

— Получается, когда тебе нос разбили, ты смирение проявлял?

— Надень капюшон, у тебя все волосы мокрые.

— Не указывай, сама знаю чо мне делать, — Ксюха демонстративно ещё и куртку свою любимую фиолетовую расстегнула. — Жарко. А чо, все ваши верующие должны такими безответными быть? И кстати, как твоя вера называется? Это та самая, в которую старушки верят или какая-нибудь другая?

— Та самая, — Михаил улыбнулся сверху глядя на Ксюху, — православие называется. А насчёт безответности, как ты это называешь.... Меру смирения каждый выбирает для себя.

— Но ведь это просто слабость! Какая уж тут сила! — Ксюха хоть и перестала считать Михаила чокнутым, но продолжала его не понимать. — Как так можно! Ведь ты теряешь к себе всякое уважение! Унижаешься....

Ответ Михаила Ксюху удивил.

— А зачем мне уважение? Главное, как я выгляжу в глазах Бога. А всё остальное — неважно.

— Неважно? — Ксюха представила, что ведёт себя так же как Михаил — ни на кого ни задирается, ни кому не даёт сдачи, и ей стало смешно. — А вдруг Бога нет? Ведь тогда ты всю жизнь зазря просиришься!

— Но ведь Бог есть. Значит не зазря,— Михаил сказал это так серьёзно, что Ксюха не нашла чего возразить.

— Тебе чо, пить и курить тоже нельзя? — Ксюха с нетерпением ждала ответа. Вот теперь-то она над ним оторёт!

— А ты знаешь, кому это выгодно, что ты пьёшь и куришь? — взгляд Михаила стал насмешливым.

— Ну, производителю, наверно,— Ксюха припомнила уроки обществознания.— Ты что, думаешь, я совсем тупая?

— Не думаю. Но выгодно это не только производителю. А ещё и тем, кто хочет видеть наш народ тупым быдлом, не способным понимать, что творится в России. Так что, выпивая и покуривая, ты этим людям здорово помогаешь. Я им помогать не хочу.

— Только не надо умничать, я это не люблю. И что это вообще за ерунда? Кому это может быть выгодно? Ты просто чушь несёшь! А самому наверняка завидно, что другие живут свободно, без всяких глупых ограничений. И вообще, ты знаешь, что такое свобода?

— А ты думаешь, что одна это знаешь?

— Ну уж ты, такой весь из себя правильный, знать этого никак не можешь! Ты же верующий, всё по правилам живёшь...

— А свобода — это право выбора. Ты проявляешь свою свободу, ведя греховный образ жизни, я — стараюсь жить по заповедям Христа. Это мой выбор. «Желанное, светлое слово свобода. Без веры его не поймёшь»... — процитировал Михаил чьи-то строчки.— И если хорошо поглядеть, у тебя свободы нет. Ты несвободна от своих вредных привычек, не можешь управлять своими чувствами, поступками.

— Это ещё с чего? Я, вообще-то, что хочу, то и делаю! Это у тебя свободы нет, потому что ты боишься своего Бога, боишься, кабы чего не вышло, боишься, что Он тебя накажет.... — Ксюха, не привыкшая отказывать себе в выражении негативных эмоций, ужасно хотела заматериться на Михаила, и она с трудом сдерживала себя.

— Думаешь, что ты делаешь, что хочешь? — Михаил улыбнулся.— Нет, мы никогда не делаем того, чего хотим. Мы с тобой — всего лишь пустые сосуды. В нас нет ничего своего — ни своих мыслей, ни своих желаний. Мы всё время находимся под влиянием, а кого — решать нам самим. Либо Бога, либо дьявола...

— Ты говоришь, как древняя старушка. Сколько тебе лет?

— Двадцать. А тебе?

— Пятнадцать, но скоро будет больше, в общем, неважно.... А ты в церковь часто ходишь?

— Стараюсь каждое воскресенье. Хочешь как-нибудь пойти со мной?

Такого поворота Ксюха не ожидала.

— Да ты чо.... Да как я, да чо я там буду делать.... Там же все такие правильные, как ты, и куча всяких старушек! Вот состарюсь, тогда и буду ходить в твою церковь, помирать готовиться, а сейчас зачем? Молодость только одна.

— К врачу ходят не здоровые, а больные. Так что не считай, что в церкви только правильные и старушки. А насчёт смерти.... Никто не знает, сколько ему отмерено, и нужно всегда быть готовым к отходу в мир иной.

— Слушай, а ты, случай, не неформал какой-нибудь? А то чо эт ты всё о смерти? И плащ чёрный, и волосы длинные.

— Да нет, организация, куда я вхожу, вполне формальная. Русская православная церковь называется. А плащ и волосы — это так... — Михаил тряхнул головой, откидывая падающие на глаза потемневшие от дождя пряди.— А ты — неформалка? Или просто умываться не любишь? Что это у тебя глаза в чёрных подтёках?

— Тушь растеклась. И ничего смешного я в этом не вижу, нечего скалиться! — Ксюха почувствовала необычайное раздражение, но на Михаила его выплёскивать не захотела. Поэтому предпочла побыстрее с ним распрощаться, благо, уже около минуты они стояли в своём дворе.

— Надеюсь, сегодня ты мне звонить не будешь,— сказал на прощанье Михаил.— Нет, ты, конечно, можешь позвонить, только не отключайся. Я не прочь с тобой пообщаться, если по-хорошему.

Ввалившись в свою квартиру, Ксюха услышала Ленкин голос. Ленка болтала по телефону.

— Ой, да... Знаешь у меня после аборта тоже... Вакуумный?

— Блин, неужели я тоже когда-нибудь так буду? — передёрнуло Ксюху.— Какая гадость...

* * *

На следующий день после школы Ксюха долго пыталась дозвониться до Аньки. Но в очередной раз услышав, что «абонент временно недоступен», бросила бесполезные попытки и, посожалев, что так и не отведаёт манаги, поплюхала домой. Дождя на этот раз не было, но лужи остались, и это Ксюху добивало. «Почему всё так плохо? — раздражённо думала она, глядя на носки своих грязных рваных кроссовок. Ленка сказала, что новые купит только весной, сейчас и без того на сапоги зимние надо тратиться. А то из своих старых Ксюха выросла, до Ленкиных ещё не доросла.— И Михаил этот.... У него что, занятия что ли другого нет, кроме как мораль Ксюхе читать? И ладно бы он на неё поматерился за назойливые звонки или выпал бы за разбитый нос, нет же! Он весь такой культурный, так ненавязчиво намекает, что нехорошо краситься и курить, что аж тошно». Ксюха нервно вытащила последнюю сигарету, бросила под ноги пустую пачку, закурила. На работу что ли устроиться куда-нибудь? А то совсем на личные нужды денег нет. Скоро и правда придётся бросить курить.

Дома Ксюха машинально пообедала тем, что нашла в холодильнике, и засела в интернете. На что, на что, а на инет у Ленки деньги всегда есть, хотя бы это радует. Посидев часов до четырёх, копируя картинки о несчастной любви, Ксюха подумала: «А позвоню-ка я Михаилу. Может, станет интересней»? Ксюха уселась на свой любимый подоконник, отыскала в телефонной книге Чокнутого. Надо, кстати, переименовать...

— Да? — голос Михаила был как обычно радостный, и Ксюха недовольно подумала: «Он когда-нибудь бывает злым или раздражённым? Никакого разнообразия!»

— Привет,— буркнула Ксюха,— чо творишь?

— Да вот с института недавно пришёл, пока ничего не творю. Собираюсь мусор свой разгрести, а то на полке куча тетрадей, ещё школьных. А что?

— Да так, ничо,— Ксюха не знала, что сказать дальше, не знала, зачем она вообще позвонила, и размышляла о том, как бы покультурней распрощаться.

— А приходи ко мне,— неожиданно пригласил Михаил,— составишь мне компанию в уборке. Ты же наверное знаешь, где я живу? — в голосе Михаила послышалось ехидство.

— Ну да, знаю, и что с этого? Так, я приду?

— Приходи. Код двери ты, наверное, всё-таки не знаешь?

— Да нет, я и код знаю.

Ксюха прыгнула с подоконника, выключила комп, напялила джинсы, куртку, слегка высушенные на батарее кроссовки, собрала торчащие во все стороны волосы в неопрятный волочащийся по спине хвост и пулей вылетела из подъезда.

Если бы предложение посетить квартиру после одного дня знакомства поступило ей от кого-нибудь из людей нормальных, Ксюха бы сказала что-нибудь навроде: «Не на дуру напали!» и послала бы куда подальше. Но Михаил — совсем другое дело. Он почти тоже, что Маньяк Саша — безобидный, и, благодаря своей чудаковатости, интересный.

Набирая код Михаила, она испытывала почти те же ощущения, что и при спуске в подвал к Маньяку. Так же тряслись колени, и было так же неизвестно, что за железной дверью. Как и Ксюха, Михаил жил на четвёртом этаже. Как и у Ксюхи, лифт не работал, и пришлось топтать на своих двоих. Едва она успела нажать на кнопку звонка, как дверь открылась, и Ксюхиным удивлённым глазам предстал Михаил — в растянутой полосатой футболке, штанах непонятного цвета, с чёрным ремешком на голове, придерживающим падающие на лоб волосы, и с кипой бумаги в руках.

— Проходи, хорошо что ты пришла. Конечно, извини, что уборкой занимаюсь, но я так долго собирался, что никак не могу отложить.

— Так, ты меня, вообще-то, и приглашал убираться, — хмыкнула Ксюха, — извиняться-то зачем?

— А, ну тогда ладно, — Михаил неловко закрыл дверь и теперь растерянно переминался с ноги на ногу, ожидая, пока Ксюха съмет куртку и кроссовки. — Сейчас уберёмся по-быстрому и чаёвничать пойдём. Ксюха была не прочь подкрепиться более серьёзно, но вспомнила, что она не у одноклассников, и рассмеялась. Михаил светло улыбнулся её беспричинному смеху, но ничего не сказал.

Первое, что поразило Ксюху в его комнате — это иконы. Они висели по всем стенам, стояли на книжных полках, на столе, и были самые разные. От маленьких бумажных и средних деревянных до целых постеров. В углу был иконный уголок с горящей лампадкой.

— Ни хрена себе, — Ксюха никогда не видела ни у кого столько икон зараз, — ты что, коллекционируешь?

— Да нет, что ты, — Михаил, сидя на полу, разбирал тетради и беспорядочно раскиданные листы исписанной бумаги, — Просто дарят иногда, а иногда увидишь икону, так сердце к ней и ляжет. Приходится покупать.

— А почему у тебя книг так много? — Ксюха растерянно глазела на доверху забитые полки и стол, весь заваленный книгами.

— Да нет, не много, только самое нужное. Классика, словари, духовная литература...

— Всё это, конечно, хорошо, — Ксюха освоилась и стала вести себя почти как обычно, только малость покультурней, — только вот почему у тебя такая грязь? Книги все пыльные, компьютер пылью зарос, иконы тоже, ковёр неизвестно когда в последний раз пылесосили... Ты что, раз в полгода убираешься?

— Ты почти права, — Михаил смутился. — Обычно после уборки вещи теряются, поэтому я стараюсь реже порядок наводить.

— Мне и в самом деле придётся составить тебе компанию, — Ксюха присела рядом с Михаилом на пыльный ковёр. — Давай быстрее собирай свои бумажки, а я примусь за твои книжные полки. Где у тебя пылесос? Ой, да тут у тебя тетрадь за девятый класс! — она выхватила из кучи бумаг толстую тетрадку с измятыми краями. Обществознание.... Ксюха раскрыла тетрадь, в глаза бросился знакомый заголовок «Кого я считаю личностью». — Да мы недавно такое же сочинение писали! Ты не против, если я прочитаю?

— Да, конечно, — Михаил сосредоточенно листал какой-то рваный блокнотик. И Ксюха принялась читать, удивляясь каллиграфическому почерку Михаила.

«Собираясь ответить на вопрос, „кого я считаю личностью“, нужно уяснить, как я вообще понимаю слово „личность“. Сухое определение из учебника обществознания меня не очень устраивает, поэтому напишу своими словами.

На мой взгляд, личностью можно называть человека, имеющего своё мировоззрение, не поддающегося чуждому влиянию, не зависящего от чужого мнения. Такой человек знает, чего хочет, и не предаёт своих идеалов, ему хочется подражать».

«В принципе, что и у меня, только умными словами», — подумала она и продолжила читать.

«Для меня личностью является Иисус Христос. В нём воплотились две ипостаси — божественная и человеческая. И как человек Христос сильная, ведущая за собой личность. Всей своей жизнью, а затем смертью на кресте он показал людям, какова должна быть их жизнь, на деле подтвердив свои слова, что „нет большей любви, как если кто положит душу свою за други своя“. И вот уже около двух тысяч лет Христос является идеалом для множества людей. Такие его черты, как смелость, нетерпение зла, самопожертвование, совершенное безразличие к личной выгоде и любовь к ближним, в той или иной степени отразились во всех выдающихся личностях православной церкви».

Ксюха закрыла тетрадь, задумчиво взглянула на кучу бумаг на ковре.

— А почему ты написал про Христа?

— А про кого ещё можно было написать? Ты, например, про кого бы написала? — Михаил отложил блокнотик в отдельную кучку бумаг и тетрадей, достал из общей кучи целую связку печатных листов.

— Я написала про себя. Ты что, считаешь, что я тоже должна была писать про какого-то неизвестного мне Христа? — Ксюха в очередной раз почувствовала прилив беспричинной злобы. — Ты так на меня смотришь, как будто намекаешь, что ты, типа, самый умный!

— Да нет, что ты, — Михаил грустно улыбнулся, — если ты считаешь себя личностью, я ничего не имею против. Сам я личностью не являюсь, следовательно, экспертом в этом деле быть не могу, но только мне кажется, что тебе не хватает собственного мировоззрения и независимости от чужого мнения.

— Я сама знаю, чего мне хватает, а чего не хватает! — Ксюха раздражённо бросила тетрадь по обществознанию в общую кучу. — И с чего ты взял, что у меня нет своего мировоззрения?

— А откуда оно у тебя может быть? Книги ты вряд ли читаешь, максимум, телевизор смотришь. Кстати, к какой религии ты себя относишь?

— Ну, какой и ты, наверно. Я же крещёная, даже крестик ношу. А причём тут книги?

— Книги многое значат. Что крестик носишь, это хорошо, но в церковь-то ты не ходишь.

— Ой, отвянь, только нравоучений твоих мне не хватало. Скажи лучше, по какому принципу ты свои бумажки на кучки раскладываешь?

— Это старые черновики, в них мои стихи, заметки разные, — Михаил указал на маленькую кучку. — Если хочешь помочь, ищи в тетрадях карандашные записи, особенно непонятные и неразборчивые.

— Ты что, стихи пишешь? Про что, про любовь?

— В том числе. А ты стихи любишь?

— Не-а, я в этом деле не шарю, — Ксюха принялась листать тонкую, по всем страничкам изрисованную зелёной ручкой тетрадь. — А у тебя девушка есть? Ты только не думай ничего, я у всех это спрашиваю.

— Да я и не думаю, — Михаил посмотрел на Ксюху так насмешливо, что она пожалела, что задала этот вопрос. — Девушки у меня нет, можешь не волноваться.

— Это я-то волнуюсь? — она не ожидала, что воспитанный Михаил начнёт ехидничать, и даже не знала, что бы сказануть пообидней. — Ты не такой красавец, чтобы из-за тебя кто-нибудь волновался!

— Я тоже так думал, пока ты не начала меня донимать.

— А ты, оказывается, не такой чокнутый, каким кажешься, — Ксюха с интересом взглянула на Михаила, — и намного забавней всех моих знакомых вместе взятых.

— Спасибо, рад, что показался тебе забавным. Ты тоже кажешься мне не такой дикой, как вчера. Смотрю, сегодня даже боевую раскраску навести забыла и волосы слегка прибрала...

— Слушай, чем тебя так мой прикид не устраивает? Вообще-то, все девушки красятся, и все ходят с распущенными волосами. Это же красиво!

— Ну не скажи. Самая лучшая красота — естественная, которую тебе Бог дал. А когда ты зачем-то глаза чёрным обводишь и на ресницы с полкилограмма туши накладываешь, на тебя и глядеть-то страшно. А волосы твои куда лучше бы смотрелись, заплетённые в косу. Твоя коса и в самом деле была бы до пояса...

— Слушай, — Ксюха взглянула на Михаила так грозно, что он фыркнул от смеха, — да не хохочи ты, я тебя серьёзно спросить хочу. Ты что, действительно подумал, что я в тебя влюблена? И зачем ты вообще со мной общаться начал?

— Ну, общаться со мной, вообще-то, ты начала, — Михаил откинул упавшие на глаза светлые волосы. — А после того, как мальчик с большими кулаками подкараулил меня возле подъезда, я окончательно уверился в том, что ты меня совсем не любишь, и что это положение нужно исправить.

— В смысле, исправить? И при чём тут то, что я тебя не люблю?

— А при том, что духовно здоровый человек всех любит. И не ругается на незнакомых людей посреди улицы. А тем более не кидается в них окурками.

— А теперь ты начнёшь читать лекцию о вреде курения? — Ксюха заметила на последней странице тетради какие-то странные фразы, наспех записанные карандашом.

— Да нет, зачем? Ты ведь и сама понимаешь, что с сигаретой выглядишь глупо, и что если будешь курить, дети твои больными будут, к тому же курить — грех ...

— Смотри, тут написано что-то,— Ксюха сунула тетрадь Михаилу под нос.— «Легко быть смелым и честным, помни, что смерть лучше позорного существования в оплёванной, униженной России». Сергей Марков. «Человек вменяем настолько, насколько сердцем он вменяет Бога». Виктор Николаев. Чо это такое? Это вы что, в институте проходили?

— Да нет,— Михаил взял у неё тетрадь,— просто умные фразы записывал, вдруг пригодится.

— Зачем пригодится? — Ксюха взялась за новую тетрадь.

— Пока не знаю.

— А вот тут ещё! «Кто не идёт вперёд, тот идёт назад: стоячего положения нет». Белинский. «Любить, созерцать, молиться и творить можно только свободно, исходя из собственной потребности». Ильин. Кто такой Ильин?

— Русский философ. Давай и её сюда,— Михаил взял у Ксюхи и эту тетрадку.

Она вытащила из кучи блокнот в кожаной обложке, начала листать. Да ведь это личный дневник! Михаил сосредоточенно что-то разглядывал, и, не чувствуя угрызений совести, Ксюха начала читать. «Главное составляющее поста — духовное, так что если голодать без идеи, ни к чему хорошему это не приведёт. Вычитал недавно у отца Александра Ельчанинова цитату какого-то психолога, что святой минус святость равно неврастеник. Меня в праведности трудно заподозрить, но тем не менее орудие злых духов из оголтелого злого постника может получиться». Так-так... Нет ли тут чего-нибудь про любовь? «Прежде чем ляпнуть что-нибудь, надо подумать: а Иисус Христос стал бы выражаться так и таким тоном, как я это собираюсь сделать»? Опять Иисус Христос. Ксюха перелистнула несколько страничек. «А для счастья нужно немного. Только солнечный день, только я один, только думаю о тебе. Представляю тебя. Ты — самая необыкновенная девушка, которую я только встречал. Если бы ты заметила, как я смотрю на тебя все пары, то, наверное, рассмеялась бы.

Хорошо, что ты невнимательна»...

— Михаил, а это про кого? — Ксюха положила блокнот сверху тетрадки, которую он держал, и только тогда поняла, что попала впросак. Но, как ни странно, Михаил совсем не огорчился, что Ксюха читала его дневник.

— Это? Это про одну мою однокурсницу. Она недавно в «гражданский брак» вступила. А такая хорошая девчонка была.

— А что, в гражданский брак только плохие вступают?

— «Гражданский брак» — это не тот, который в загсе оформляют, а просто блуд. А блуд — грех. Ты, надеюсь, ни с кем не собираешься вступать в «гражданский брак»?

— Не-а, не собираюсь.

Она не стала упрекать Михаила в попытке почитать нравоученье, и оставшиеся бумаги они перебирали в мире и согласии. Поэзией Ксюха никогда не увлекалась, но когда в тетрадях ей встречались обрывки стихов, по-быстрому записанные карандашом, она читала их с огромным удовольствием. Если бы её спросили, про что эти стихи, она даже не смогла бы ответить, настолько они были какие-то неуловимые, лёгкие, воздушные. На радость Ксюхе после разборки всех бумаг и водворения половины в мусорное ведро, а половины обратно на полку, Михаил разогрел кастрюлю борща, и впервые за неделю Ксюха поела нормальной пищи. Перед едой Михаил прочёл молитву, и Ксюха с интересом выслушала малопонятные слова «Отче наш, иже еси на небесех...» Пылесосить и протирать полки решили на следующий день.

— Это чтобы у тебя был повод прийти,— сказал на прощанье Михаил. Ксюха ничего не имела против.

* * *

Когда Ксюха зашла в класс, и все девчонки кинулись ей навстречу, она сразу поняла, что случилось что-то нехорошее. Такие у них у всех были лица — испуганные и жаждущие чем-то поделиться.

— Ты знаешь... — нерешительно начала Альбинка.

— Ну, чо я знаю? — волнение девчонок передалось и Ксюхе.

— Помнишь свою подружку, готку из соседней школы?

— Ну?

— Ей позавчера язык у девки дома прокалывали, — Танька взяла инициативу на себя. — Наверное, иголка грязная была, или ещё чо, вобщем её вечером в больницу увезли. Там и умерла...

— Умерла? С чего взяли? Кто вам сказал?

— Девчонка одна из параллельного класса, она с Анькиным братом двоюродным встречается...

Ксюха бросила рюкзак, села за парту, кажется, даже не за свою. Они же совсем недавно били витрину, познакомились с Маньяком, вчера Ксюха должна пойти с Анькой на манагу, а оказывается, Анька умерла. Ксюха почувствовала какое-то странное опустошение, почти такое же, как после смерти родителей. И не то чтобы она была сильно привязана к Аньке, нет, просто общались иногда, но Ксюха вдруг поняла, что тоже когда-нибудь умрёт. И на хрен всё это, если в конце-концов нас ждёт одно и то же? Зачем вообще нужна жизнь, если нас всё равно не станет? Может быть, чем раньше, тем лучше? Она рассеянно выложила на стол учебники, задумчиво отсидела уроки. Когда умерла мама, Ксюха дня три редела, билась головой об стену, потом ещё с полгода закатывала Ленке и время от времени наведавшимся из Самары родственникам истерики, и в конце-концов ей стало легче. Теперь она была совершенно спокойна, и это было самое страшное. «Гадко, что Ты забрал Аньку, — с ненавистью думала Ксюха. Она сама не осознавала, к кому обращается, но зато отлично знала, что нужно сделать, чтобы ему насолить. — А я не буду ждать, пока Ты меня заберёшь, я свободная, я сама знаю, когда и куда мне нужно идти. Я пойду куда хочу».

Придя домой, Ксюха бросила рюкзак, не спеша повесила на вешалку куртку, засунула в мусорное ведро рваные кроссовки. Всё равно уже не пригодятся. Вместо свитера надела чёрную майку со светящимся в темноте черепком, включила набираться ванную и села краситься перед зеркалом.

— Ему, видите ли, не нравятся крашенные девушки, — Ксюха вспомнила Михаила и улыбнулась своему злomu отражению. — Ничо, тому, к кому я пойду, они очень даже нравятся... — Ксюха сама не понимала, что говорит, слова сами откуда-то лезли. Она старательно накрутила и причесала длинные ресницы, жирно подвела глаза чёрным карандашом. Взяла свои любимые ядовито-зелёные тени, позаимствовала у Ленки красную помаду. В довершение всего взлохматила волосы и осталась вполне довольна собой.

— Вот так — совсем другое дело, — Ксюха в последний раз улыбнулась ведьмочке из зеркала, откинула с глаз отросшую чёлку и отправилась в ванную. Вода уже набралась. Ксюха выключила кран, взяла розовую бритву. Розовое так красиво смотрелась на фоне белой с синими прожилками руки, что Ксюха засмотрелась и не сразу услышала раздражающее пение телефона. — Какая мразь... — Ксюха сунула бритву в карман джинс, побежала доставать из сумки телефон. Звонил Михаил. Как же, в такой момент только нравочения читать.

— Да? — Ксюха с интересом подумала, что Михаил — последний, с кем она будет разговаривать.

— Здравствуй. Как у тебя дела?

— Отлично. Сам как?

— Я тоже ничего. Сегодня у нас пары философии не было. Помнишь о своём вчерашнем обещании?

— Помнить-то помню, только не приду. Нас сегодня в школе задержали...

— Разве? Ты же недавно домой пришла! — в голосе Михаила послышалось необидное удивление.

«Вот балда, — недовольно подумала Ксюха. — Он же меня в окно видел! Что бы ему сказать, чтобы отвял поскорее. Лучше всего — нахамить». И Ксюха сказала грубым голосом:

— Слушай, ты чо, как картавый? Не ясно, что ли, что я видеть тебя не хочу?

— Да нет, теперь ясно. Просто я удивился, думал, может, ошибся, может это не ты в свой подъезд заходила. А ты что, антисемитка?

— Чо-чо? Какая ещё антисемитка? Ты что материсься?

Михаил рассмеялся в трубку, потом ответил своим неизменно добрым голосом:

— Да нет, что ты, я никогда не матерюсь. А антисемитами называют тех, кто евреев не любит. Ты меня назвала картавым, а евреи букву «р» обычно не выговаривают. Вот я и подумал...

— А сам ты что, антисемит? — Ксюхе стало интересно.

— Да нет, я к евреям спокойно отношусь. У меня есть друг еврей, Иван Кузнецов. И вообще, православный человек не может быть антисемитом. Ведь Богородица — еврейка, апостолы — евреи да сам Иисус Христос по человеческому естеству — еврей. Вот только сионистов не люблю.

— А сионисты — это то же самое, что и еврей?

— По национальности, зачастую — да, но по духу другие. Может, ты всё-таки придёшь? Я тут в холодильнике чисто случайно остатки торта нашёл, составишь мне компанию?

— Ой, не знаю... — Ксюха посмотрела на бритву, торчащую из кармана, потом на своё отражение в зеркале, что возле вешалки, и решила, что ничего не случится, если она малость повременит и полакомится перед смертью тортиком. — Конечно, я придду! — крикнула она в трубку уже надевая куртку. Кроссовки были в мусорке, поэтому Ксюха пошла в тапочках. Михаил этому совсем не удивился. Когда Ксюха вошла к нему в квартиру, он только облегчённо вздохнул:

— Слава Богу, что ты так не сделала.

— Как — так? — Ксюха ошарашено взглянула на Михаила, а он показал глазами на её карман, из которого всё ещё торчала бритва.

«Н-да, на кого-кого, а на чокнутого он совсем не похож», — утвердительно подумала Ксюха, отправляясь на Михайлову кухню. Так же, как и вчера, тихо горела лампадка, отражаясь на лицах святых с икон, также Михаил прочёл молитву. Уплетая торт, она с интересом слушала его рассказы о Деннице, который захотел стать больше Бога и был низвержен во ад, о том, как Денница, ставший сатаной, хочет забрать к себе побольше людей, о том, что самовольно уходя из жизни, человек отправляется именно к нему. Ксюха вполуха слушала его рассказы, потом спросила:

— А куда попадёт Анька? Она... — дальше Ксюха просто разревелась. По лицу потекла тушь. Михаил отвёл её в ванную и велел умыться. Ксюха смыла свою ведьмачью окраску и стала обыкновенной девочкой, правда чересчур лохматой и заплаканной, но, тем не менее, довольно-таки милой. Потом, сидючи на диване, Ксюха долго всхлипывала, рассказывая о своей подруге. Михаил её не утешал, просто внимательно слушал, держа за руку. Что он ещё потом говорил, когда Ксюха замолчала, она не запомнила. Но только после того, как Михаил проводил её домой, взяв обещание никогда больше не думать о самоубийстве, Ксюха твёрдо знала, что у неё никогда ещё не было такого хорошего друга.

* * *

Снег лежал уже около недели. Наконец-то Ксюхе удалось выбить с Ленки денег, и за место рваных кроссовок она обзавелась лимонно-жёлтыми сапогами на высоком каблучке. С фиолетовой курткой они смотрелись неслабо. Михаил удивлённо приподнял брови, увидев её обновку, но смеяться не стал. Ксюха с Михаилом шли по двору. Может, она в последнее время стала слишком долго идти со школы, может он слишком быстро ехал из института и бежал с остановки, но как-то так получалось, что домой они возвращались вместе.

— И не скучно тебе так жить? — в очередной раз поинтересовалась Ксюха.

Она общалась с Михаилом больше месяца, но никак не могла до конца его понять. Ну ладно, верит он в Бога, Ксюха, в принципе, тоже в Бога верит, но зачем быть таким правильным?

— Вот на твоём месте мне действительно было бы скучно,— улыбка Михаила стала озорной,— пьёшь-куришь, пьёшь-куришь, никакого разнообразия!

— Скажешь, у тебя больно много разнообразия? Пишешь стишки, ходишь в церковь, вот и всё!

— Ну не скажи,— он остановился под заснеженным кустом сирени.

«Опять лекцию будет читать»,— подумала Ксюха, но слушать приготовилась уже без всяких признаков злобы.

— Представь себе,— начал Михаил,— что вся твоя жизнь — борьба. Борьба эта началась ещё давно, когда Денница решил стать больше Бога и увлёк за собой сонмище ангелов, ставших бесами. Он знает, что ему суждено погибнуть. Поэтому искушает людей, заставляет грешить, чтобы не погибать одному. И что, неужели тебе захочется составить ему компанию? По мне, нужно всячески ему противиться, стараться самому в ад не пойти и помочь другим...

— И ты, типа, мне помогаешь? — съехидничала Ксюха.

— Чай пить ко мне пойдём?

— Конечно к тебе!

И Ксюха, как обычно в последнее время, отправилась чаёвничать к Михаилу. Выслушав молитвы, которые она уже наизусть знала, уселась на своё законное место. Напротив, под иконами, присел Михаил. Ксюха уже знала, что вся еда у него дома во время Рождественского поста была постной. В смысле — без мяса, молока, яиц и всего остального, чем можно плотно и вкусно наесться.

— А покойников ведь раньше под иконы клали? — полюбопытствовала Ксюха, уплетая булочку домашней выпечки. Даже булочки у Михаила постными были.

— Почему раньше? Меня бы и сейчас под иконы положили.

— Ты что, умирать собрался?

— Да нет. Просто всегда надо иметь память смертную, всё время помнить о ней,— разъяснил Михаил, поймав недоумевающий Ксюхин взгляд.

— А-а,— Ксюха подлила себе из чайника кипяток.— А как ты умереть хочешь?

— Как умереть хочу? Я мечтаю умереть за Христа. Как — неважно.

— Это навроде тех мучеников, про которых ты рассказывал?

— Да,— к её удивлению у него даже улыбка с лица исчезла. Но почти тут же снова появилась.— А ты как хочешь умереть?

— Я вообще не хочу умирать! Это тебе легко, ты знаешь, что после смерти в рай попадёшь. А я не знаю, что будет со мной после смерти. Вдруг Бога нет? Ведь тогда совсем ничего не будет. Зато я буду в гробу лежать. А если Бог есть, всё равно плохо. Тогда он меня в ад потащит.

— Бог никого в ад не тащит. Люди сами себя туда отправляют. Даже если бы Бог помиловал грешника и заместо ада отправил бы его в рай, грешник сбежал бы обратно. Потому что не смог бы существовать там, где нет греха. А Бог есть, как бы бес не заставлял тебя в этом сомневаться.

— Ну ладно, уговорил, есть Бог. Но я ведь всё равно не буду, как ты, жить по заповедям и ходить в церковь! Это не по мне.

— А тебя никто и не заставляет. Когда-нибудь сама к этому придёшь,— Михаил задумчиво мешал чай в бокале, и, судя по всему, готов был воспитывать её до утра.

— А что ты завтра делаешь?

Назавтра было воскресенье.

— В храм иду. Пойдёшь со мной?

«Нечего сказать, сменила тему»,— подумала Ксюха, а вслух сказала:

— Так и быть, заколебал ты с этой церковью, пойду. Во сколько?

— Служба в восемь начинается, так что выйти в семь придётся...

— В семь утра? Ты что, с ума сошёл? И ты так каждое воскресенье ходишь?

— На литургию каждое воскресенье, а по будням иногда на вечернюю.

— Жесть.

Она с интересом выслушала его наставление, как нужно одеться в храм и, представив

себя в платке и длинной монашеской юбке, облилась горячим чаем.

Дома Ксюха долго подыскивала нечто хотя бы отдалённо соответствующее церковному наряду, и в конце концов остановилась на юбке почти по колено и свитере любимого бирюзового цвета с лицом какой-то поп-звезды. Платок заменила чёрная бандана. Смыв с ресниц тушь, и заплетя волосы в косу, она завалилась спать, но заснуть сразу не смогла. Пришлось сесть за компьютер, заблаговременно освобождённый уже дрыхнувшей Ленкой, и заняться перепиской с какими-то придурками. За компьютером Ксюха и заснула.

* * *

В семь утра позвонил Михаил.

— Доброе утро. Как спалось?

— Ужасно. А тебе как? Неужели ты выспался, если такие тупые вопросы задаёшь?

— Да нет. Просто когда в храм собираюсь, всегда настроение хорошее.

— А-а,— Ксюха потянулась, протёрла глаза и начала выключать компьютер.

— Ну я не буду тебе мешать, собирайся, не забудь, встречаемся возле подъезда.

— Ага,— Ксюха положила телефон, выключила комп и пошла умываться. Потом отправилась к зеркалу, с сожалением глядя на разложенную на тумбочке косметику и напоминая себе, что краситься сегодня не надо. Заплела косу, оделась, ехидно отметив, что выглядит совсем пай-девочкой, поглядела на часы и пошла надевать куртку и свои новые лимонно-жёлтые сапоги.

— Ты куда, Ксюх? — раздался из спальни сонный Ленкин голос.

— В церковь,— насмешливо ответила Ксюха, застёгивая молнию на куртке.

— Ну-ну,— в хриплом Ленкином голосе не слышалось ни капли доверия, и, размышляя о том, что думает Ленка насчёт того, куда младшая сестрёнка намыливается ни свет ни заря, Ксюха закрыла дверь. Михаил уже ждал во дворе.

— Извини, что опоздала,— Ксюха сама не поняла, как у неё вырвалась эта фраза, и жутко возмутилась своему вежливому поведению. «Фу, это наверно на меня правильный прикид так действует,» — подумала она.

— Да нет, ты не опоздала, просто я раньше вышел,— глаза Михаила весело блеснули в темноте.

— Зачем? Ты что, мёрзнуть любишь?

— Мёрзнуть? Да нет, что ты. Просто красиво-то как, погляди!

Звёзды ещё не погасли, вот я и выглянул полюбоваться. Хотя сейчас довольно прохладно,— он поёжился.

— А я и не заметила, когда ты свой плащ «а-ля Гарри Поттер» успел на зимнюю куртку сменить,— Ксюха подёрнула искусственный мех его капюшона.— На остановку?

И снег заскрипел под двумя парами сапог.

Народу на остановке было мало, только два каких-то поцика лузгали семечки, подпрыгивая от холода.

— А почему ты любишь молчать? — поинтересовалась она в маршрутке, глядя, как Михаил сосредоточенно разглядывает промёрзшее стекло.— И зачем тебе бусы на руке? Всё спросить забываю.

— Это не бусы, это чётки. По ним Иисусову молитву читают. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного»...— а молчать полезно. Особенно когда в храм едешь. Давай помолчим?

И оставшуюся дорогу до храма она упражнялась в молчании, наблюдая, как Михаил перебирает чётки.

Перед храмом он трижды осенил себя крестным знаменем с поясными поклонами. Ксюха тоже перекрестилась. Поднявшись вслед за ним по высоким ступеням и юркнув в любезно раскрытую им скрипучую дверь, она растерянно встала в углу притвора, вопрошающе глядя на своего спутника. Михаил снова трижды перекрестился, снял куртку, и Ксюха, тщательно скопировав эти действия, пошла за ним к вешалке. В храме было тепло и уютно. Умиротворяюще звучал голос чтеца, читающего утренние молитвы. Сновали мелкие и не очень мелкие детишки. Девушки и женщины были все в платках и длинных

юбках, мужчины и юноши без головных уборов. Старушек, к удивлению Ксюхи, было не очень много.

— А что ты теперь делать будешь? — шёпотом поинтересовалась Ксюха.

— Пойду исповедоваться. Видишь, в правом приделе народ толпится?

Осторожно лавируя между молящимися, Михаил направился в конец этой импровизированной очереди.

— А как ты исповедоваться будешь? — Ксюха полезла вслед за Михаилом.

— Подойду к священнику, расскажу свои грехи. Он накроет меня епитрахилью, прочтёт разрешительную молитву. Потом и причащаться можно.

— А тебе что, приятно про себя какому-то незнакомому человеку рассказывать? — Ксюха с интересом глазела по сторонам — на людей, на росписи стен, на иконы, подсвечники.

— А я не неизвестному человеку рассказываю. Все священники нашей церкви мне хорошо знакомы. И даже если бы и не были знакомы... Иисус Христос невидимо предстоит во время исповеди, и на самом деле я исповедую грехи ему.

— А у тебя что, грехи есть? Ты же не пьёшь-не куришь, какие у тебя грехи?

— Перед исповедью священник прочтёт перечень грехов, послушаешь какие, — Михаил пристроился в конце очереди, возле иконы какого-то старенького святого.

— А кто это такой? — Ксюха кивнула на икону.

— Николай Чудотворец. Он когда-то с ересью боролся и дал пощёчину еретику Арию, чтоб неповадно было народ совращать.

— Здравый мужик. А что это сейчас читают?

— Утренние молитвы.

— А чем это так хорошо пахнет?

— Ладаном. Во время службы дьякон кадит будет, ещё лучше станет.

— А зачем кадить?

— Во время каждения дьякон кланяется иконам и всем людям, присутствующим в храме. Кланяясь нам, он кланяется Божьему образу в нас. Ведь Бог создавал человека по образу и подобию своему, то есть, похожим на себя.

— А...

Стоящая впереди пожилая женщина строго оглянулась на увлечшихся собеседников.

— Тихо, исповедь началась. Слышишь, отец Сергей грехи перечислять начал, — уведомила Ксюху Михаил, и она принялась слушать малопонятные слова.

— А что такое прелюбодеяние? А чревоугодие? — Ксюха подёргала Михаила за рукав.

— Пока слушай, я тебе потом объясню.

— Ладно, — и она привстала на цыпочки, чтобы увидеть отца Сергея.

Он был маленький, пухленький и, к удивлению Ксюхи, не сильно старый. Когда отец Сергей прочёл перечень грехов, вышли ещё два священника, и исповедь началась. Первый из нововышедших был священник как священник, серьёзный, бородастый, зато второй был обыкновенный пацан, высокий, навроде Михаила, только без длинных волос, со стрижкой как у большинства мальчишек в школе. И с большим крестом на груди.

— А разве такие бывают... — не выдержав, Ксюха опять обратилась к Михаилу с вопросом, но он уже направился на исповедь к маленькому священнику. Тогда она отошла к стенке около входной двери, оперлась спиной и принялась разглядывать людей. Её внимание привлекла пробирающаяся мимо компания. Две девчонки и два пацана, старше Ксюхи лет на пять.

«Такие же, как Михаил», — подумала Ксюха про девушку в светленьком платочке и скромного парня в очках. А вот на лохматого пацана в чёрной футболке с надписью «Православие или ад» и курносую девчонку с решительным выражением лица Ксюха поглядела с большим интересом.

— Ты бы ещё больше дрыхла, Победа, мы бы ещё раньше пришли, — недовольно пробасил этот пацан в чёрной футболке своей курносой подруге. — Вот, общую исповедь проорозили.

Та, которую он назвал «Победой», только фыркнула в ответ.

— Ты чо, сдурел? — Ксюха чуть ли не взвизгнула, когда носок её прекрасных жёлтых сапог отдавила пудовая подошва тяжёлых ботинок этого чернофутболочника.

— Да я не специально, простите, — мимоходом извинился этот подлец и, ласково улыбувшись, отправился вслед за своей компанией. А Ксюха, почувствовав привычное раздражение и решив, что до конца службы успеет ещё на нём отыграться, подошла ближе к отцу Сергию, исповедавшему Михаила. Но из-за пения хора подслушать ничего не удалось.

Поцеловав крест, Евангелие, и взяв у отца Сергия благословение, Михаил подошел к ней. Ксюха насмешливо глянула на его счастливое лицо и пошла за ним следом в главный придел, отметив, что компания «чернофутболочника» стоит на исповедь к священнику пацанского обличья.

— Михаил, а что это за такой священник? Без бороды и не старьёй!

— Отец Александр недавно семинарию закончил, — Михаил пристроился возле правого клироса, за которым пел хор.

— А что такое семинария?

— Учебное заведение для священников.

— А почему ты туда не пошёл?

— Не достоин.

Краем глаза Ксюха заметила, что скромный парень в очках уже склонил голову под епитрахилью, а девчонка, которую «чернорубашечник» назвал «Победой» задумчиво переминается с ноги на ногу, комкая в руках какую-то бумажку.

— Михаил, а Михаил, а что надо на исповеди говорить?

— Каяться в своих грехах. Священник перед исповедью их перечислял.

К удивлению Ксюхи, он отвечал спокойно, как будто за сегодняшнее утро она не успела ему надоесть.

— А если я не помню, как они культурно называются? Можно сказать, что я бухаю там, или матюгаюсь?

— Можно. Главное чтобы искренне, а какими словами — не важно.

— Ну, значит, я пошла? — и, раздвигая во все стороны бабушек, не видя удивлённого взгляда Михаила, она затолкалась в очередь как раз сзади «чернофутболочника». Не слушая ропот тех, кому она успела наступить на ноги и вперёд кого залезла в очередь, Ксюха сосредоточилась на его затылке, думая, что бы такое напакостить, пока он не ушёл исповедоваться. На ногу ему она решила не наступать — всё равно сквозь свои дикие ботинки не почувствует... Конечно, можно было бы устроить скандал, обвинить его во всех смертных грехах, но... Ксюха с удивлением поняла, что после этого ей было бы стыдно перед Михаилом. И, кажется, в первый раз в жизни она сдержала себя и не стала устраивать разборку. Зато когда «чернорубашечник» рассказывал свои грехи, Ксюха подслушала всё, что только можно подслушать, когда в двух метрах поёт хор. Особенно ей понравилось, что этот негодяй исповедовался в грехах пьянства и сквернословия. За ним и Ксюха подошла к этому пацану с крестом, отцу Александру. Рассказывая о том, что «курила, бухала и материлась», она удивилась, что отец Александр выслушал всё это совершенно спокойно и даже не смеялся. Она бы на его месте наверняка что-нибудь злопакостное сморозила, а он ничо. Поинтересовался под конец:

— В первый раз на исповеди?

— Угу, — усмехнулась Ксюха. К чему эт он клонит?

— К причастию готовились?

— Не-а, я причащаться не собиралась!

Он улыбнулся, и, пытаясь строго нахмурить брови, спросил:

— Каетесь?

— Аха, — кивнула Ксюха.

Накрыв её голову своим красивым фартуком, отец Александр прочитал какие-то молитвы, а потом велел поцеловать крест и Евангелие со своего столика. Ещё раз улыбнулся и размашисто перекрестил Ксюху. Она ещё пару секунд потопталась на месте и пошла искать Михаила.

— Поздравляю,— тоже улыбнулся Михаил. Впрочем, он всегда улыбается, так что ничего особенного в этом она не увидела.

Оставшееся время Ксюха бродила по храму, разглядывая иконы, прихожан и росписи. Раз десять прошла мимо компании «чернофутболочника», так что тот даже озираться на неё начал. Пускай озирается, подлец... Под конец Ксюха так утомилась бродить взад-вперёд, что плюхнулась на какую-то лавочку возле старушек. Там её и разбудил после службы Михаил.

— Ну что, пойдём?

— Айда...— Ксюха рассеянно взяла куртку из его рук и поплелась за ним к выходу. Хотелось спать. А Михаилу хоть бы хны — улыбается, радуется жизни, вообще, как обычно.

— Ты что, не устал? — поинтересовалась Ксюха, стоя на остановке.

— Есть немного. А ты устала? Это с непривычки...

— Больше никогда не пойду сюда, так что и в привычку не войдёт,— сонно огрызнулась она. А Михаил всё улыбался, как будто не замечая, что Ксюха на него злится. Вернувшись домой, она сразу же завалилась спать.

* * *

Придя со школы, Ксюха кинулась к холодильнику. Он старательно гудел, но был пуст. И она не придумала ничего лучше, чем отправиться к Михаилу. На улице было холодно, колючий снег летел в лицо. Короткой перебежкой добравшись до подъезда, Ксюха стала торопливо набирать код. Она не сомневалась, что Михаил был дома. Обычно он возвращался из института часа в два-три, а сейчас было половина четвёртого. К тому же, рыскающая по холодильнику, Ксюха заметила, как в окне напротив маячит его длинная фигура. Доехав на лифте до четвёртого этажа, она направилась к двери и с неприятным удивлением услышала за ней чьи-то весёлые голоса. Ксюха остановилась, размышляя, позвонить ей или повернуть обратно, но дверь распахнулась, и Михаил, по обыкновению радостно, пригласил Ксюху войти.

— Это кто там у тебя? — Ксюха недовольно сморщила нос.

— Да это друзья мои... Проходи,— Михаил пошире распахнул дверь,— познакомлю, интересные люди.

— Ты что, с ума сошёл? Не надо меня ни с кем знакомить, лучше я домой пойду. Она представила, как какие-нибудь умники будут на неё глазеть, как на чудо света, и развернулась, но слова Михаила её остановили:

— Ты что, думаешь, они такие же зануды как я? Да нет, они совсем не такие...

«В самом деле, интересно, что за чуваки»,— подумала Ксюха и привычным шагом переступила через порог.

— Кто там, Мишка? — раздался с кухни басовитый голос, показавшийся Ксюхе знакомым.

Вешая куртку и снимая сапоги Ксюха тщетно пыталась вспомнить, где она его слышала, но тут появился лохматый пацан в чёрной футболке, и Ксюха признала негодяя. Это же он отдал ей вчера ногу! А этот негодяй с большим интересом на Ксюху глазел и ковырял давно не стриженным ногтём обои в Михайловом коридоре.

— Знакомся, Ксюш, это мой троюродный брат Игорь,— улыбнулся Михаил,— среди нашей компании, не считая тебя, он самый юный, ему всего семнадцать. А это Ксения,— Михаил кивнул в её сторону,— моя хорошая знакомая.

— Этому буйволёнку всего семнадцать? — Ксюха злобно взглянула на Игоря. Игорь бросил на Ксюху оценивающий взгляд, вытащил наушник из правого уха и неожиданно предложил:

— Наступи мне на ногу, а? А то ведь так и не уймёшься, пока в ответную не напакоштишь.

— Ты уже и с Ксенией поссориться успел? — Михаил направился на кухню, сокрушённо взглянув на троюродного брата.

— Да мы с Ксенией вчера в храме виделись,— Игорь произнёс её полное имя с особой

ехидной интонацией,— я ей ногу случайно отдал, так она за мной после этого всю службу охотилась... Так отдавишь ты мне ногу или нет? Я даже без ботинок на этот раз...

— Да отдавлю, отдавлю, не парься,— Ксюха поняла, что Игорь — чувак хороший, но, тем не менее, последовала его совету с огромным наслаждением.

— «Мы хотим видеть дальше, чем окна дома напротив, мы хотим жить, мы живучи как кошки...»,— проговорил невпопад Игорь, качая головой в такт песне из наушников.

На кухне было полно народу, и всё знакомые люди — те, кто вчера с Игорем на исповеди были.

— Ника,— решительно протянула руку курносая девчонка, которую Игорь называл «Победой». На этот раз она была в реперовских джинсах, провисающих на уровне колен и с кучей косичек на голове с вплетёнными в них разноцветными нитками.— «Семеро наклали, один носит»,— промелькнула в Ксюхиной голове Пашковская фраза. Он так репера Женька доводил.

— Света,— тихо сказала светленькая скромная девушка. Она была одета, как и вчера в церкви.

А тощий очкарик картаво представился Иваном Кузнецовым.

— Кстати, сеструха моя,— указал пальцем на Нику Игорь и добавил с деланным уважением,— Старшая. Аж на два года! — И засунул в ухо болтающийся наушник.

— Игорёк, не позорь мою седую голову, не тычь в меня пальцем,— Ника дала младшему брату подзатыльник.— Кстати, когда ты вчера по храму бродила, он на тебя всё время оглядывался... Прими к сведенью! — И Ника поправила чёрный шейный платок с красной надписью «реп».

— А что мне ещё оставалось делать? — притворно смущаясь, начал оправдываться Игорь.— Если кто-то бродит вокруг, как собака Баскервилей, не может же не стать интересно! И придвинул Ксюхе вазочку с постным печеньем:

— Угощайтесь, леди.

— Ага, джентльмен,— ехидно улыбнулась она, уминая одну постную булочку за другой.— Что слушаешь?

— Цоя он слушает, рокер несчастный,— опередила младшего брата Ника.— Нетрудно заметить, наверняка и тебе уже успел что-нибудь процитировать. Он и ночью с наушниками спит, и в школе с ними не расстаётся... Никак не наслушается.

— Чья бы корова мычала! Я хотя бы рок слушаю, а ты полный отстой, реперша несчастная, под Децла косишь своим косичками, а читать толком не умеешь, на батлах сама позоришься, и меня как своего брата позоришь, а всё туда же...— Игорёк с большой скоростью выдал на гора эту тираду и захлебнул её чаем.

— Да помолчи ты, малолетка, сам в репе ни хрена не смыслишь, и ещё строишь из себя знатока-ценителя... И под Децла я не кошу, не гони.

— Опять вы ссоритесь... — Михаил с грустной улыбкой поглядел на брата и сестру.— Давайте сменим тему...

— А я не против! — Игорёк поспешно проглотил кусок булки и продолжил.— Мы остановились на том, что я собирался пойти бить стёкла, а Ника, из одной вредности, была против, только из вредности, сама ведь наверняка мечтает пойти со мной...

— У нас зашёл разговор об абортах,— шёпотом объяснила ничего не понимающей Ксюхе Света.— А как раз по пути в храм стоит абортарий... Вот Игорёк и хочет пойти побить там окна. Но мы, конечно, против, разве так можно?

— А почему нельзя? — удивилась Ксюха,— ведь это просто супер!

— Но Христос говорил: «Аз есмь отмщение...», значит, мы во всём должны полагаться на волю Божию, а не заниматься самоуправством.... Последнюю Светину фразу расслышал Игорёк.

— Светка, что за чушь! Православие должно быть активным, оно должно диктовать свои правила, а не забиваться в угол и ждать, пока всё исправится само собой! Мы почему-то должны молчать, зато всякие тупые атеисты и глобалисты не молчат! «И вот мы пришли заявить о своих правах, слышишь шелест плащей, это мы... Дальше действовать будем мы, дальше действовать будем мы»... — закивал Игорёк в такт наушникам.

— Насчёт этого даже я с тобой согласна, любезный братец, — усмехнулась Ника. — Вот только Цоя цитировать ни к чему, и воинствовать ты хочешь отнюдь не из благих побуждений. Просто после последнего похода мамы в школу ты дал обещание в школе ни на кого больше не кидаться, а энергию надо куда-то девать...

— Вот я и пытаюсь направить её в благородное русло! А ты мне мешаешь, непонятно почему, и не хочешь помочь...

— А почему это я тебе должна помогать, а, братец? Мы с тобой всё время собачимся, а как очередная проделка — айда, Победа? Будешь тащить на место приключения кирпичи?

— А кого, кроме тебя, звать? Ванька зануда, Светка тихоня, Мишка смиренный... Одна ты нормальная!

— А что это за кличка — Победа? — подёргала Игорька за наушник Ксюха.

— А? Победа? Это в святцах еёшнее имя так переводится... Вот я и зову её так.

— А когда ты собираешься стёкла бить?

— Да сёдня же ночью! Чихал я на тебя, Ника, и без тебя обойдусь... Один пойду, раз вы все такие зануды!

— А меня возьмёшь? — скромно поинтересовалась Ксюха. — Я в делах битья опытная...

— Да ну? Хоть один нормальный человек! Ты что, била уже там окна?

— Да не, я больше по витринам магазинов прикалывалась...

— А каких магазинов?

— Да не помню... Какая разница!

— Э нет, разница есть. Главное не то, что бьёшь стёкла, главное, какие. Но, конечно, я тебя возьму! Тебя ночью пустят? Сейчас рано темнеет, так что даже не ночью, а вечером часиков в десять-одиннадцать?

— Без проблем... Дай-ка свой номерок.

— Слушай, Игорь, — Иван строго помешал чайной ложечкой в бокале, — ты только посторонних в свои приключения не втаскивай, тем более девушек... И вообще, как старший, я запрещаю тебе сегодня ночью идти куда-либо, потому что действия, которые ты собираешься осуществить, противозаконны...

— А ты за меня не решай, — злобно улыбнулась Ксюха. — Вот ещё, воспитатель нашёл-ся! Похлеще Михаила будешь.

— Ой, помолчи, — отмахнулся от Ивана Игорёк, — знаю я, что ты на юриста учишься, знаю. Вот только запретить ты мне ничего не можешь, ты всего-навсего друг моей старшей сестры, причём не лучший. Мишку я, может быть, и послушал бы, но он ничего мне не станет запрещать, правда, Мишка? Видел у тебя недавно на столе книжку под названием «Спротивление злу силой», Ильин, кажется...

Михаил открыл рот, чтобы что-то ответить, но Ника его опередила:

— Игорёк, ты что, забыл, как родители тебя за драку из ментовки вытаскивали? Пособачился в центре с какими-то придурками ни за что ни про что, на ментов чуть не кинулся... Радуйся, что всё хорошо обошлось и не страдай больше никакой хренью!

— Ну, от тебя-то, сеструха, я такого не ожидал! Неужели ты до сих пор не простила тот диск, на который я случайно наступил? Успокойся, он всё равно был устойчивым... А пособачился я не «ни за что, ни про что», а за честь дамы! Пускай она была нетрезвой и чести у ней, может, уже не было... Это не имеет никакого значения. И пойти со мной ты не хочешь исключительно из вредности! Ну, что, Мишка, будешь меня воспитывать или нет? — Игорёк ехидно-вопросительно взглянул на Михаила. Ксюха со скукой приготовилась слушать нравоучение, но...

— Да, ты прав, — улыбнулся Михаил, — православие должно быть воинствующим, воинствующим в смысле созидания добра в этом мире, вытесняющим из него зло. «Уклонись от зла и сотвори благо». Но только не все способны это исповедовать. Я не считаю битьё окон способным что-то изменить, но если ты, Игорь, так считаешь, не имею ничего против. Только учти, что Иван прав, и тебе придется отвечать за мелкое бытовое хулиганство. А за Ксению я даже рад...

— Эт почему? — она была удивлена. Ну даёт Михаил! Что это он так вдруг изменился?

— Я скажу тебе когда-нибудь позже,— Михаил снова улыбнулся, и, как показалось Ксюхе, погрузился. К чему бы? Игорёк прихватил пригоршню постных булочек, и они отправились на диван в зале обсуждать грандиозные планы на предстоящий вечер.

— «Не нравится мне эта девушка»... — расслышала Ксюха с кухни приглушённый голос Ивана и приснула от смеха.

— Что там? — Игорёк вытащил наушники и тоже прислушался.

— Да юрист говорит — не нравлюсь я ему.

— А, забей,— Игорёк засунул один наушник обратно в ухо,— это нормально. Ваньке, кроме Светки, вообще никто из девушек не нравится. Даже когда он влюбился, ей первая об этом Ника сказала, а не сам Ванька... Ника, кстати, Ваньке тоже не нравится. Он только из-за того с ней и общается, что Светка её подружка. А уж как я ему не нравлюсь! — Игорёк уморительно завёл глаза.

Ксюха по своей давней привычке начала угорать над Ванькой, найдя в Игорьке большого любителя поехидничать на чужой счёт, и не расслышала довольно громкую реплику проницательной Ники:

— Люди, а вы заметили, Мишка-то к этой любительнице ночных приключений равнодушен!

* * *

— Ну, что, готова к труду и обороне? — Игорёк неожиданно выскочил из-за дерева, так что Ксюха чуть было не испугалась, хотя никогда не имела такой дурной привычки.

— Ага, как же без этого. Что твои друзья-товарищи поделывают?

Вместо ответа Игорёк запел:

— «Они говорят, им нельзя рисковать, потому что у них есть дом, в доме горит свет...» — и прибавил,— Светка с Ванькой по домам разбежались, Ника у Мишки гостует. Да, Цой прав. А ты что слушаешь?

— А, всё подряд,— они потопали к остановке.— Смотря какое настроение.

— Ясно,— хмыкнул Игорёк.— Кстати, давно Михаила знаешь?

— Да месяца три. А что?

— Ёкырный бабай! — промчавшаяся мимо тойота чуть не задела Игорёка.— Да не могу понять, чего у вас общего. Со мной всё ясно, я, как-никак, его троюродный брат, вот он меня и терпит. Нику тоже. А тебя-то с чего? Он ведь всё время чётки перебирает, а ты, как видно, к этому виду спорта совершенно равнодушна. В его вкусе Ванька со Светкой. Хотя притягиваются противоположности, действительно.

Игорь достал из кармана телефон и начал переключать песню.

— Это в смысле — притягиваются? — рассмеялась Ксюха.— А Ванька со Светкой? Они же одинаково занудные! Не пори чушь...

— А вот ты как запела. Ты что, в Мишку влюблена?

— Игорёк, я сверну тебе шею! Разве можно быть влюблённой в Мишку? Он чересчур возвышенный для этого.

— Действительно, на совершенство можно только смотреть как на совершенство, или как там у Достоевского. А ты не такая дурында, как кажется на первый взгляд.

— Ну спасибо. Порадовал.

— Не за что, всегда обращайся. Знаешь,— продолжил Игорёк после того, как с дикой силой захлопнул дверцу остановленной, не доходя до остановки, маршрутки и плюхнулся на сиденье,— иногда я завидую Мишке. Посмотришь на него, и думаешь: уж он-то точно в рай попадёт! Ведь он никогда ни на кого не злится, даже на меня, хоть я его здорово доводил, особенно в детстве. Никогда Мишка не пил, не курил, с книжкой всё свободное время. И вообще, Мишка — пассионарий.

— Эт как?

— Ну, это понятие из книжки историка Гумилёва.

Пассионарий — это тот, кто людей за собой ведёт, кому подражать хочется.

— И чем же ты Михаилу подражаешь? — она скептически улыбнулась.

— Я из-за Мишки в храм стал ходить. Так же, как Ника, Иван и Света.

— А-а. Кстати, ты куришь? — невинным голосом осведомилась Ксюха...

— Не-а,— помотал головой Игорёк и утвердительно спросил:

— А ты куришь?

— Ага.

Игорёк только неопределённо хмыкнул в ответ. А Ксюха подумала, что, несмотря на видимую разницу, внутренне Михаил с Игорьком очень даже похожи. И поинтересовалась:

— А ты тоже не любишь курящих девушек? Может, и макияж мой тебя тоже не устраивает?

— Ну, до твоего макияжа мне по барабану, и вообще, готки похлеще красятся. А вот курящих балбесок я, действительно, не переносу. Ходят как дуры со своими сигаретами... Хотя иногда польза от них — зажигалку можно свистнуть, если вдруг понадобится подпалить что-нибудь.

— Поджигатель, по тебе не скажешь, что ты такой правильный,— улыбнулась Ксюха.— Сквернослов и пьяница...

— Выдержка из моей исповеди? Ну да, видел, как ты крутилась и подслушивала...

Игорёк отвернулся к тёмному окну, старательно что-то там разглядывая. Вышли из маршрутки в торжественном молчании. Под подозрительными взглядами фонарей направились тем же путём, которым Ксюха с Михаилом шли вчера в храм. Изредка попадались запоздалые прохожие.

— Запомнила мои инструкции? — Игорёк посильнее натянул на уши шапку цвета российского триколора.— Разбиваешь три окна с одного бока, я три с другого, боксёрские перчатки у меня, и гоним что есть духу... Кстати, как у тебя с бегом? Говорят, курильщики быстро выдыхаются, да ты к тому ж на каблучках ещё...

— Знаешь что, Игорь, как вас там по батюшке...

— Юрьевич,— охотно подсказал Игорёк.

— Игорь Юрьевич, если вы такой выпендрёжник, то и носитесь со своей правильностью как курица с яйцом, только делайте это в одиночку!

Выпалив это, она быстро свернула за угол и побежала, петляя между сугробами. Негодяй! Скотина... Выдохнувшись, Ксюха упала в сугроб и стала глотать снег. Фу, какая муть! Сама напросилась с этим придурком, для того чтобы ему было перед кем повыкаблучиваться...

— Отдыхаем? Ненадолго же тебя хватило. Я вот пешочком не спеша дошёл. Ты что, обиделась на меня? — Игорёк насмешливо наклонился над сугробом, в котором развалилась Ксюха.— «Я хотел бы остаться с тобой, просто остаться с тобой, но высокая в небе звезда зовёт меня в путь...»

— Да пошёл ты...— она приподнялась на локте и мрачно взглянула на почти невидимого в темноте Игорька.

— Какой нежный взгляд,— Игорёк протянул руку — Подымайся, пошли.

— Вот ещё,— буркнула Ксюха и рывком поднялась из сугроба, так и не воспользовавшись благородно протянутой рукой. Он хмыкнул:

— А ты ничо, общаться с тобой можно. Так пойдём?

— Ну ты и хам. Ты что, думаешь, я с тобой пойду? Один иди! Я же бегаю медленно...— с силой вдавливая каблучки в промёрзший снег, она направилась к остановке. «И зачем я вообще с ним связалась? Тупица... И Михаил... тоже хорош. Насоветовал! Хотя, я ведь знаю номер этого негодяя... Подводить можно».

Но тут негодяй со смехом схватил Ксюху за плечи:

— Никуда ты не пойдёшь...

«А ведь мне с ним интересно»,— невпопад подумала Ксюха, стряхивая его железные лапы, а вслух сказала:

— Ладно, так и быть, остаюсь, но только с условием...

— Вот ещё! Никаких условий, я тут главный.

— Да ты чо...

— Ага.

— Тварь, вот ты кто...

Она была удивлена тому, как быстро согласилась остаться. То ли сильно хотелось окна побить, то ли ещё что, но через пять минут, увлечённо болтая с Игорьком о том, как лучше пакостить учителям на уроках, Ксюха, поскользнувшись, почти воткнулась в холодную стену абортария.

— Ну-ну, потише на поворотах,— Игорёк поспешно схватил ее за шиворот,— расшибёшься в лепёшку, а Мишка мне голову свернёт...

— А при чём тут Михаил? — Ксюха встряхнула волосами, задев Игорька по носу.

— Но-но, ты поосторожней гривой трясси, а то пришибёшь ещё! — он дёрнул Ксюху за взлохмаченные волосы — или я тебя... А Мишка тут при том, что целый час читал мне мораль и впаривал, что за тобой надо присматривать, кабы с тобой чего не случилось. Надоел до безумия, хоть я его и уважаю...

— И поэтому ты так заботился, чтобы я не смылась от тебя, после того, как ты мне нахамил? — Ксюха подёрнула ремень сумки, прекинутой через Игорьково плечо.— Телохранитель грёбаный.

— Ну да, я же обещал Мишке, что с тобой ничего не случится,— он взял её под руку,— да и жалко будет, если тебя кто-нибудь прикончит... Как-никак тоже творенье Божье, хоть на меня и обзываешься.

— Спасибо, какой ты заботливый,— Ксюха становилось холодно.— И не обзываюсь я на тебя, это ты всё время борзеешь. Так давай, что ли, перчатки свои, приступим?

Игорёк неуловимым движением расстегнул молнию на сумке и вытащил две боксёрские перчатки.

«Красные»,— заметила Ксюха, хотя фонарь, светящий слабым розовым светом, стоял далековато — метрах в десяти от абортария, как раз возле ментовки.

— «И две тысячи лет война, война без особых причин, война дело молодых, лекарство против...»

Напевая, он быстро надел красную боксёрскую поверх обычной чёрной:

— Тебе помочь?

— Любишь портить людям жизнь? — Ксюха отметила, что прикосновения Игорька, пусть даже через перчатку, и даже само его присутствие, здорово действуют на нервы.

— Ага, портить людям жизнь — занятие успокаивающее,— Игорёк отпустил её руку в боксёрской перчатке.— Если бы мы сейчас прибежали, разбили окно и убежали, это было бы скучно. А мы сначала поругались, потом я всё-таки уговорил тебя не дуться, и вот сейчас мы надели перчатки и готовы к труду и обороне. Кстати, доводить тебя мне очень понравилось, всегда буду так делать. Жаль, сейчас не до этого. Пускай пройдет вон тот мачо,— Игорёк кивнул на тёмную фигурку худенького мальчика, пробегающего мимо,— и можно к делу приступать...

— Ты, юморист, ты что, думаешь я общаться с тобой стану после сегодняшнего приключения? Не мечтай, а даже если и стану, это я тебя буду доводить, а не ты меня.

— Фу ты ну ты, ножки гнуты... Да ты ещё бегать за мной будешь, чтобы я согласился с тобой минут пять поговорить, а я ещё подумаю, облагодетельствовать тебя али нет. В любом случае, ты войдёшь в число моих многочисленных поклонниц.

— Не имею привычки быть чьей-то поклонницей. Тебе надо, ты и бегай...

— Я? За тобой? Да ты что, сдурела! Таких как ты на каждом углу по пять штук, и все такие же страшенькие, с сигаретками... В моём вкусе девушки красивые, женственные... Изящное платье с декольте, минимум макияжа...

— Всё, закрыли тему, а то я закомплексую!

— Не хочешь признать, что ты так себе? Ну ладно, всё, всё, до белого каления я тебя довёл, теперь пора твою энергию в нужное русло направить. Пацанчик уже прошёл...

* * *

Звон бьющегося стекла и пробежка по заснеженным улочкам не выходили у Ксюхи из головы, даже когда она уже два часа как ворочалась в постели. И наглая курносая

Игорькова рожа стояла перед глазами. «На кой я думаю об этом негодяе?» — саму себя спрашивала Ксюха и опять принималась вспоминать, как Игорёк похлопал её по плечу и сказал на прощанье: «Бывай, братан...».

Раздражённо засунув голову под подушку, Ксюха решила, что сходит завтра на рынок и купит себе крысу.

После школы, вытащив из копилки свои немногочисленные накопления, Ксюха отправилась на рынок. «Назову крысу Игорьком, — ехидно думала она, прохаживаясь по звериному ряду. — Негодяй»...

Все уроки Ксюха ловила себя на мысли, что мечтает о том, как вновь этого мерзавца увидит, и что ему скажет. На рынке направление её мыслей не изменилось. Нечего сказать, докатилась... Ксюха с удовольствием нащупала в кармане только что купленную пачку «Бонда» и остановила взгляд на хорошенькой чёрненькой крыске с брезгливо сморщенным носиком.

— Ути, какая лапочка, — Ксюха решила, что больше не будет выбирать. — Мальчик или девочка?

— Девочка, — прищурила глаза на перевёрнутую в руке крыску краснощёкая от мороза продавщица.

— Блин, а я Игорьком хотела назвать... Ну, ладно, значит будет Алёнкой.

Засунув банку с крысёнком под куртку, Ксюха радостно потопала к выходу с рынка, торопливо отдавливая чьи-то ноги и натываясь на чьи-то животы. А дома вытащила из чулана высокую кастрюлю с дырявым дном и устроили в ней домик для Алёнки. Постлала газету, порвала на гнездо исписанную тетрадь по математике и посадила туда свою новоиспечённую воспитанницу. Сверху накрыла кастрюлю каким-то завалавшимся на антресолях куском стекла, оставив небольшую щель для воздуха.

— Ну ты и дура, Ксения Владимировна! — выругалась вслух Ксюха, с умилением глядя на Алёнкину возню по устройству гнезда. — Сохнуть по Игорьку — это хуже чем встречаться с Васифом. У этого чуда на всё своё мнение, к тому же он любит выпендриваться и командовать. Нафига нам такой нужен, а, Алёнушка? Нам нужны люди, как выражается Михаил, смиренные... — Она ехидно улыбнулась, взглянув на часы. — Сегодня четверг, у Михаила уже час как пары закончились... Осторожно засунув крыску в карман куртки, Ксюха нервно слетела вниз по лестнице — лифт как обычно не работал. Михаил открыл со своей вечно счастливой улыбкой:

— Здравствуй!

— Привет, представляешь, смотри! — и Ксюха с восторгом сунула Михаилу под нос дрыгающую розовыми лапками крыску.

— Ой, — Михаил от неожиданности уронил какой-то учебник.

Ксюха наклонилась за книгой, оставив свою питомицу в руках Михаила.

— А, ты же к экзаменам готовишься, — вспомнила вдруг она, и, как совсем культурная чувиха, поинтересовалась:

— А я тебя не отвлекаю?

— Нет, что ты, — он, осторожно держа крыску, разглядывал её мордочку. — Такая симпатичная...

— А ты, наверное, будешь хорошим семьянином, — ухмыльнулась Ксюха, вешая куртку на привычный гвоздик, — ишь, как с ней нянчишься...

— Я всегда в детстве мечтал о какой-нибудь зверюшке. А мама не разрешала, говорила — только морока от них, — улыбнулся Михаил. — Пойдём в комнату?

В комнате был обыкновенный для него творческий беспорядок. Разбросанные по дивану учебники, стакан недопитого чая, стоящий поверх стопки книг на столе, почти скрытый от глаз кучей тетрадей компьютер.

— Ой, не помни! — он поспешно выхватил из под сидящей Ксюхи какой-то смятый исписанный листок.

— Стихи?

— Да...

— Про чо?

— Так тебе всё и скажи,— Михаил лукаво улыбнулся.— Они ещё не написаны.— Спрятал листок в карман джинс и добавил.— А волосы ты опять распустила, ай-я-яй.

— Как будто у самого они не распущены,— ухмыльнулась Ксюха.

— Сравнила свои и мои,— он тряхнул причесоном, отличающимся от Ксюхиного разве что меньшей длиной и отсутствием чёлки.

— Что, сочиняешь стишки и думаешь, что ты, типа, такой умный? — огрызнулась Ксюха, нежно поглаживая возмущённо трепыхающуюся в её руках Алёнку.— Я же знаю, что так красивее!

— Что ты,— Михаил присел на краешек дивана,— я стихов не сочиняю.

— Ну-ну!

— Думаешь, я тебя обманываю? Нет. Ещё Ломоносов говорил, что если в одном месте что-то прибудет, в другом — убудет.... Значит ещё до того, как я записал их на бумагу, они существовали где-то в пространстве. А я всего лишь уловил их. Так что в этом нет никакой моей личной заслуги, я всего лишь проводник.

— Ну, ты и философию развёл,— Ксюха пустила Алёнку погулять по дивану, ограничив ей пространство своими вытянутыми ногами и сидящим Михаилом.— Сам придумал?

— Нет, что ты, у нас своих мыслей нет... Умней меня люди говорили.

— Всё равно ты умный,— она лениво потянулась.— Расскажи что ли что-нибудь интересное.

— Ну, в наличии у меня ума ты далеко заблуждаешься, да и под умом я предпочитаю не это подразумевать.

— А что?

— Для меня умный человек — это человек смиренный, смирившийся с тем, что окружающие его люди такие, какие они есть, с их грехами и недостатками, и что не перевоспитывать их надо, не ненавидеть, а просто любить... Мир здешний жесток и несовершенен, но и в нем есть место для радости, духовной радости. Рано или поздно мы все отойдём в мир иной...

— Ну, начал свою любимую тему,— сморщилась Ксюха, отпихивая пытающуюся перелезть через её ногу Алёнку.— Почему ты такой непозитивный, хоть всё время улыбаешься, а?

— Непозитивный? Нет, что ты, я всё время радуюсь. Ведь так прекрасно, что мы пришли в этот мир, что когда-нибудь уйдём в другой...

— Забавно. А как там твой братец поживает?

— Игорёк? Да неплохо поживает. Жаловался на тебя после вашего похождения,— Михаил почти незаметно усмехнулся.

— Это ещё на что?

— Да говорил, ты от него убежать пыталась.

— Негодяй твой Игорёк! Я ещё в церкви это заметила!

— Понятно, чем ты там занималась...

— Ну, ничем плохим. И вообще, я туда не хожу, и столько торчать на одном месте не привыкла.

— А на Рождественскую службу пойдёшь? — Михаил взял в руки притихшую Алёнку.

— А Ника с Игорьком? — торопливо поинтересовалась Ксюха.

— Тоже пойдут. Игорёк с детства любит ночные службы. Кажется, Алёнушка проголодалась, такая грустная стала. Пойдём, покормим?

Во время кормления сидящей на кухонном столе Алёнки Ксюха подумала: «А почему бы, действительно, для интереса не сходить на эту службу? Тем более, негодяй Игорёк там будет».

— Михаил, священник меня в прошлый раз спросил, готовилась ли я к причастию. А что это за подготовка, а?

Михаил, начавший с рук скармливать Алёнке кусочек морковки, оторвался от этого приятного занятия, предоставив крыске самой держать еду в передних лапках.

— Перед причастием три дня постятся, духовно и физически. Плюс канон покаянный в каждый из этих трёх дней читают.

— Что за канон, где его берут? А на Рождество причащают? — зачастила вопросами Ксюха.

— Причащают, я всегда на Рождество причащаюсь. А канон в каждом молитвослове есть. Если хочешь, могу подарить, у меня их несколько.

— Покажи.

Домой Ксюха отправилась с Алёнкой в одном кармане и молитвословом в другом, размышляя на тему: «А может, действительно ради прикола причаститься на Рождество?»

* * *

На следующий день Ксюха понесла Алёнку в школу похвастаться. Попугала учителей и одноклассниц, порадовала пацанов. На уроке геометрии Алёнку кормили под партой яблоком, купленным щедрым Саньком в школьной столовке.

— Осторожней, смотрите, чтобы Юль Михаловна не заметила, — волновалась сзади Танька, но её опасения не оправдали себя. Юлия Михайловна, заметив крысу, не только не велела её убрать, но и сама приняла участие в её кормлении, на что, к великой радости класса, ушло десять минут от урока.

— Такая хорошенькая, — умилилась педагог. — Надо дочке тоже купить, а то она давно какую-нибудь живность просит.

Дочка Юлии Михайловны училась в пятом классе.

— А ничо, среди училок тоже нормальные встречаются, — сообщила Саньку Ксюха, когда Юлия Михайловна вновь отправилась к доске. — И прикид у неё забавный — косы как корона на голове. И вся она такая милая, толстенная.

— Что-то ты добрая стала, аж страшно, — ухмыльнулся Санёк. — На тебя что — новый дружок так действует?

Ксюха уткнулась в тетрадь и ничего не ответила.

После уроков, засунув Алёнку под куртку, Ксюха долго торчала в беседке соседнего двора с пацанами из своего и параллельного классов. Денег на выпивку ни у кого не было, развлекались как могли. Курили. Колян-Дылда, щерясь недавно выбитым в какой-то драке зубом, рассказывал пошлые истории из жизни более опытных друзей. Ксюха с интересом слушала, задавала вопросы, приводящие Коляна и одноклассников в полное замешательство.

— Ну ты даёшь, Ксюха, — угорал случайно заглянувший в этот день в школу прогульщик Максимка-цыганёнок. — А ещё девочка называется...

— Если бы я давала, я бы не называлась девочкой, — цинично парировала Ксюха.

Намёрзнувшись в холодной беседке весёлая компания побрела по домам. По дороге до дому Ксюха всё время заглядывала под куртку: как там Алёнка? И не сразу услышала идущего навстречу Михаила.

— Ксюш, здравствуй!

— Ой, привет. А ты куда? — Ксюха отметила, что из-за поста скулы у Михаила заострились, а глаза блестели из-под шапки лихорадочно-голодным и одновременно счастливым огнём.

— Да в магазин подержанных книг. Надо прикупить кое-что. Как учёба?

— Терпеть можно... А где этот магазин? А можно я с тобой? Вот только сумку занесу? Подождёшь? Я быстро, одна нога здесь — другая там.

— В центре магазин. Подожду, куда я денусь, — удивлённо согласился ей вслед Михаил.

— Быстро я? — чуть не врезавшись в него с разбега, спросила вернувшаяся Ксюха.

— Как торпеда. Ты и в магазин с Алёнкой?

— Ну да. А что за книжки ты будешь покупать? — поинтересовалась Ксюха по дороге на остановку, на ходу убирая мешающие волосы и засовывая нос под куртку к своей питомице. — Наш пазик идет!

Влезли в полупустой автобус.

— Достоевского. Из русских классиков мой любимый писатель. К сожалению, не все его произведения, у меня есть, приходится в библиотеке брать.

— Слышала что-то про такого... А чего он написал, Достоевский? И когда жил?

— Жил в девятнадцатом веке, в тысяча восемьсот двадцать первом году родился. Всего шестьдесят лет прожил, а написал столько, что и на несколько жизней хватило бы. В девятом классе будете «Преступление и наказание» проходить, «Белые ночи», кажется, уже должны были...

— А, не знаю, я в учебник редко заглядываю,— отмахнулась Ксюха.

— Зря. В математику и, правда, скучно заглядывать, а вот литературу знать надо,— улыбнулся Михаил.

— Насчёт математики согласна, а зачем мне литра-то нужна? У нас отличница Оля на перемене, что на дом задавали, по-быстрому пересказывает.— Ксюха застегнула куртку, решив больше Алёнку не морозить.

— Пересказ — это совсем не то. Читая хорошие книги, развиваешься духовно... Словарный запас увеличивается, кругозор расширяется. Теоретический жизненный опыт появляется.

— Нафига мне твоя теория, своей практики по горло хватает,— Ксюху конкретно утомила интеллектуальная беседа.

Сидя рядом с молча перебирающим чётки Михаилом, Ксюху вдруг замучила угрызениями внезапно проснувшаяся совесть.

— Михаил,— она подергала соседа за мех на куртке,— перескажи какое-нибудь произведение Достоевского, а?

— Наверное, то, которое вы скоро проходить будете, любительница чтения? — беззлобно подколот Михаил.

— Не-а, не обязательно, перескажи, какое хочешь. Какое у тебя любимое?

— Хитрая ты, Ксения,— Михаил весело сощурил глаза, напомнив чем-то Игорька.

— Можешь не страдать, слушая о гении Достоевского, я на тебя и так не обижаюсь.

— Да я не из-за этого, всё равно Расскажи что-нибудь,— Ксюха выгащила из-под куртки Алёнку и принялась кормить её сохранённым в кармане кусочком Санькова яблока.— Ну, Расскажи...

— Слышала, наверное, фразу «Красота спасёт мир»?

— Ага,— кивнула Ксюха.

Вот, она из моего любимого романа Достоевского. Называется «Идиот».

— Милое название. Оно что, про психа?

— Нет, не сказать что про психа... В «Идиоте» Достоевский показывает «вполне прекрасного человека», исполняющего все заповеди Христовы, любящего весь мир. Фёдор Михайлович показывает невозможность существования таких людей в нашей жестокой реальности. Главного героя зовут князь Лев Николаевич Мышкин. Начинается роман с приезда князя из швейцарской психиатрической лечебницы в Россию.

— Оу, он всё-таки псих?

— Не совсем. Князь болен эпилепсией, по-тогдашнему падучей. Время от времени у него бывают приступы, но когда их нет, он нормальный человек, только более тонкий духовно, более ранимый. Именно через него Достоевский поднимает в романе вопрос красоты. Красота для Достоевского отнюдь не нормальность, а вещь страшная и ужасная... Михаил так странно-задумчиво посмотрел на нее, что Ксюхе стало малость не по себе.

— Ты что, Михаил?

— Так, ничего — он улыбнулся, но Ксюху не покидало ощущение, что Михаил всё равно смотрит как-то не так.— А ты добрая? — внезапно спросил он.

— Тебе лучше знать,— усмехнулась Ксюха.

— Будь доброй, тогда всё будет спасено... Кстати, нам выходить на следующей.

В книжном Михаил торчал возле полок с умными книжками, а Ксюха листала глянцево-журналы с белозубыми звёздами на обложках и игралась со своей питомицей.

— «Идиот», даже с иллюстрациями Глазунова,— как маленький радовался Михаил на обратном пути, размахивая увесистым пакетом.— Из современных художников мой любимый.

— Что рисовал? — рассеянно поинтересовалась Ксюха.

Впереди на вывеске магазина «Запретный плод» красовалась цитата Бриджит Бардо: «Какой день в вашей жизни вы назвали бы лучшим? — День... Это была ночь». — Глазунов рисует Россию. Я даже на его выставке был, когда она в нашем городе проходила, правда, это так давно было... Особенно интересные у него монументальные полотна, на одном полотне — история России за несколько веков, но мне больше всего глаза нравятся у его людей. Небесно-синие, такие чистые... Как Россия...

* * *

...Новый год, к большому негодованию Ксюхи, решили справлять у неё на хате.

— А что, у тебя одной свободно, — объясняла сие решение Танька. — У всех родики дома, а твоя Ленка сматывается, всё по-честному.

— Ага, и значит нужно устроить у меня пати на хате? А убираться после вас мне, конечно, да? Перепьётесь, заблуете туалет, в потолок шампанское, конечно, как же без этого... — возмущалась Ксюха, но, в конце концов, согласилась. Надо же где-то и с кем-то отмечать. Прошлый Новый год прошёл в компании Ксюхиного бывшего парня Стасика, теперь нет Стасика. Михаил постится... Да и даже если бы не постился, Ксюха глубоко сомневается, что с ним вообще можно что-то отмечать. Он же такой правильный, непьющий.

— Что, по сколько складываемся? — перешла она к делу, и, усевшись на парту куда-то отлучившейся отличницы Оли, наиболее шалопутные товарищи девятого «В» занялись подсчётами.

— Так, положено начать с шампанского, пиши, Альбинка, «шампанское» — две бутылки, — надиктовывал список Санёк.

— Водки сколько? — просунул голову через Ксюхино плечо Максимка-цыганёнок.

— Фу, нафига водку, — сморщилась Маринка.

— А тебя её пить никто и не просит, — усмехнулся Лёха. По его опухшей физиономии и частым прогулам нетрудно было понять, чем он занимался в последние недели второй четверти.

— Хоть ты у нас и алкаш со стажем, — хмыкнул Санёк, — но делиться придётся.

— Так, алкаши, а ну брысь с моей парты, — хозяйка-отличница сердито вонзила в пол острый каблучок. — Здесь не место для обсуждения ваших пьяных походов.

— Оленька, а почему бы тебе не составить нам компанию, а?

— Дылда-Колян ласково положил свою лапу на плечо хорошенькой отличницы. — Говорят, как проведёшь Новый год, так и весь год пройдёт...

— В таком случае мне всю ночь придётся готовиться к Государственной итоговой аттестации, — не удосужившись заметить Колянову руку, насмешливо поправила очки Оля.

— В отличие от некоторых я не собираюсь в ПТУ. Брысь, кому сказано...

— Ладно, ладно уходим, — вечно списывающий у Оли Колян убрал руку, и компания покинула парту строгой ботанички.

Выслушав свои четвертные тройки и четвёрки, пошли ко Ксюхе. Радостно закинув ранец с учебниками на антресоли до следующей четверти, она всю отдалась на блюдениям за планированием гулянки. Альбинка, Маринка и Танька в откровенном наряде репетировали у неё в комнате восточные танцы, должны соблазнить подвыпивших одноклассников, одноклассники на кухне не спеша становились подвыпившими, дегустируя купленный к Новому году коктейль, а Ксюха с Алёнкой на плече бегала от комнаты до кухни и обратно.

— У, нахрюкалась уже, — сетовала на неё любительница коктейля Танька, старательно вращая костлявыми бёдрами, — нет бы, нам компанию составить.

— Я не собираюсь мальчиков соблазнять, — усмехалась Ксюха, гладила Алёнку и смывалась обратно на кухню.

Часам к девяти вернулась Ленка, одноклассники расползлись по домам, и Ксюха принялась слушать выдержки из богатого Ленкиного жизненного опыта, глядя как та, сидя перед зеркалом и ойкая, выщипывает брови. Благо, Ксюха не занималась такой

самоэкзекуцией, её и свои устраивали. Выщипав брови в тонкую ниточку, Ленка принялась примерять накладные ресницы с синими перьями.

— Смотри, одна в комнате с несколькими мальчиками не оставайся, а то был у меня как-то на Новом году такой случай... — Она недовольно поморщилась, — в общем, гуляй, но будь осторожна... У тебя сейчас постоянный мальчик есть? Он будет здесь?

Чтобы успокоить Ленку, Ксюха ответила утвердительно, но старшая сестра не угомонилась.

— А у вас так, или серьёзно? — многозначительно спросила она, отводя рукой выжженную бордовую прядь.

— Не волнуйся, у нас всё так, — отмахнулась Ксюха, — и вообще, я не такая опытная как ты.

— Ну, с одной стороны это хорошо, не приходится волноваться, что заразилась какой-нибудь дрянью, — глубокомысленно изрекла Ленка, — да и не боишься, что залетишь... Как думаешь, может лучше было бы с зелёными перьями? — она критично разглядывала наскоро приклеенные ресницы. — Да, зелёный к моим глазам лучше бы подошёл...

— А как твоего теперешнего зовут, что-то я забыла? — рассеянно спросила Ксюха.

— О, сейчас я с Ильнуром, он соседний район «крышует» — радостно отозвалась Ленка, и ближайšie часа два Ксюха раскаивалась в своём опрометчивом вопросе, слушая о том, как выглядит Ильнур, сколько денег у Ильнура и какой Ильнур крутой.

Позвонил Игорек, поздравил с наступающим, пожелал провести его более позитивно, чем уходящий, поинтересовался, пойдёт ли она на Рождество. Когда он отключился, Ксюха радостно завизжала — она и не представляла, что он может позвонить! Вау, всё-таки жизнь прекрасна...

Следующий день начался для Ксюхи с обеденной попойки, во время которой выпили почти весь оставшийся коктейль. К счастью, деньги у одноклассничков ещё были, так что эту утрату решено было восполнить с уговором до двенадцати ночи не пить.

— А то всё не по-людски, — Санёк смачно допил из кружки остатки коктейля, — Новый год надо трезвыми встречать.

Оставив бурно виляющих бёдрами девочек в квартире, Ксюха с пацанами пошла на улицу. Подвыпившие подростки валялись в сугробах, и их разухабистые вопли далеко разносились по округе. Сквозь метель Ксюхе показалось, что она узнала стоящую возле подъезда фигуру Михаила, но, вытряхнув из-за шиворота снег и протерев глаза, она уже никого не увидела. Наверное, спьяну померещилось.

Новый год ничем особенным Ксюхе не запомнился. После шампанского и полуобнажённых танцев Танька, Маринка и Альбинка быстро перешли на коктейль, пацаны достали водку. Ксюха тоже составила им компанию. Новизну в празднование внёсла разгневанная Танька, сообщившая, что Альбинка с Танькиным бывшим Ивановым уединились в душе.

— Видать, помогли стриптизёрские танцы соблазнить второгодника, — сострила Ксюха, и пьяная компания, кто с водкой, а кто с коктейлем, перебралась в коридор, где долго по очереди долбили в двери душа, пытаясь выжить оттуда обнаглевшую парочку. Это несколько разнообразило попойку, но вскоре наскучило. Принялись играть на раздевание завалывшимся у Ксюхи мячиком. Не поймал — отдаёшь какую-нибудь вещь. Вскоре и так мало одетые Маринка с Танькой под хохот бухой пацанвы вынуждены были прикрыться для приличия простынёй. Часов до пяти утра маялись пьяной дурью кто как мог, а потом все дружно заснули мертвецким сном на двух имеющих в наличии кроватях. Альбинка с Ивановым, всю ночь проторчавшие в душе, улизнули из квартиры во время сна более нравственных одноклассников.

Часам к десяти, оклемавшись, девчонки пошли домой отмечаться в своей целостности и сохранности, а пацаны с Ксюхой продолжили празднование ещё до полудня, допивая остатки спиртного.

Пошёл отсчёт будней и воскресений вновь наступившего года...

— Михаил, а Михаил, а может необязательно канон покаянный стоя читать? — выпрашивающе поинтересовалась Ксюха. До Рождества оставалось три дня.

— Что ты, перед Богом стоять нужно, — измождено улыбнулся Михаил.

— Плохо... — Ксюха дожевала постное печенье. Они сидели за столом, Алёнка бегала по полу кухни, где за время частого гостевания неплохо освоилась.

— Хочешь, вместе будем читать? Я как раз сейчас собирался, вот дочаёвничаем...

— Давай уж вместе, в одиночку я такую скукотищу, да ещё стоя, не прочитаю, — сосласилась Ксюха.

Михаил слегка нахмурился, но промолчал.

— Михаил, — Ксюха постучала длинным ногтем по бокалу, — давай что ли что-нибудь интересное повпаривай, а то как-то непозитивно.

— Повпаривать? — переспросил Михаил, но Ксюха предупредила продолжение его вопроса:

— Только не надо умничать, ты всё отлично понял.

— Да я и не собирался, — пожал он плечами, — уже привык к твоему жаргону.

— А я к твоему умничанью ещё нет. Ты всегда таким был?

— Наверное. Лет в пять я сильно болел, и мама начала водить меня в храм. Папа сначала смеялся над нашими походами, но, когда я выздоровел, тоже стал воцерковлённым человеком. А ты всегда такой была?

— Какой — такой? — подозрительно сощурилась Ксюха.

— Ругающейся матом, курящей, пьяной...

— Хорош, не перечисляй, я и так поняла, — отмахнулась Ксюха, — значит, ты видел меня на Новый год? Давай сменим тему.

— Ну, давай. Поста всего три дня осталось, — весело поглядел на отрывной календарь Михаил. — Разговеемся...

— Ну да, особенно я, — ухмыльнулась Ксюха, — запостилась прям вся. Жрать я и без поста почти ничего не жру.

— Главное — пост духовный... Да и употребление спиртных напитков постящемуся явно не в пользу...

Ксюхе опять вспомнилась стоящая сквозь метель фигура Михаила. Значит, точно, не показалось.

— Михаил, вообще-то был Новый год, как не отметить, — Ксюха поймала ногами Алёнку и наклонилась под стол. — Не все же у нас такие правильные, как ты.

— Но ведь сейчас Рождественский пост. Я конечно с тебя ничего не требую, не мне грешному учить тебя жизни, — покраснел вдруг Михаил, — но всё же...

— Слушай, Михаил, — сочувственно погладила Алёнку Ксюха, — ты и так добрый, Бог на тебя бы сильно не обиделся, если бы ты пост не всегда держал. Ну зачем ты себя в доходягу превращаешь? У тебя глаза стали, как у ночной кошки! Ну, это конечно красиво, — видя его удивление начала оправдываться Ксюха, — но всё-таки...

— Не знал, что у меня глаза, как у кошки, — рассмеялся Михаил. — Нет, мои на кошачьи совсем не похожи, не сочиняй. Это ты мне себя сейчас описываешь, вечно голодная вредная кошка, и как только вы с Алёнкой уживаетесь, ума не приложу.

— А я ума не приложу, как ты со мной уживаешься, — скромно пожала плечами Ксюха, — но я же тебе ничего не предъявляю...

— Ещё бы ты мне предъявляла, ведь не ты меня терпишь, а я тебя, — ехидно заметил Михаил.

— А вот и врешь, ты меня не терпишь, ты с моей помощью, как это называется... Смиряешься, вот.

— О, какие слова выучила, — потрянул волосами Михаил. — Ну, что, почаёвничала? Пойдём канон читать?

— Айда, — и Ксюха весело поднялась из-за стола. Он прочёл молитву после еды, пошёл в комнату за молитвословом. Ксюха побежала в прихожую ловить смывшуюся во время молитвы Алёнку. Случайно бросив взгляд в зеркало, не узнала себя. Где та стервочка,

которая гляделась в зеркало в доме у Лёхи? Неужели, когда она общается с Михаилом, у неё даже взгляд меняется? И длинные распущенные волосы выглядят не так дико, как обычно. Странно, странно... Но думать об этом Ксюха продолжила уже во время чтения канона.

* * *

— Сегодня последний день перед Рождеством, Сочельник называется,— Ксюху разбудил звонок Михаила.— Не забудь днём выспаться. Вкушать пищу сегодня нельзя до первой звезды, которая символизирует звезду, приведшую волхвов к пещере, в которой укрывались Иосиф и Мария с младенцем Иисусом...

— Но-но, ты потише на поворотах,— зевнула Ксюха.— Какая звезда? Что делать, что не делать? Давай ещё разок и помедленнее... Доброе утро, кстати.

— Ой, извини, да, добрый день, я, наверное, поздно позвонил, ты уже позавтракала?

— Да нет, в принципе,— она бросила взгляд на ходики возле кровати.— Два часа дня. Рань несусветная.

— О, хорошо. Ну, ты, конечно, можешь и позавтракать, но я, например, сегодня не ем...

— А прикольно, я тоже так хочу,— Ксюха вспомнила, что родители Михаила сегодня дома к празднику готовятся, знакомиться с ними ей почему-то не хотелось, собственный холодильник пуст, деньги на пропитание Ленка только завтра обещала выделить.— Так, что всё-таки за звезда с волхвами, я что-то никак не вкурю?

— Давай я тебе по пути в храм расскажу,— пообещал Михаил.— Не забудь выспаться хорошенько, а то в храме заснёшь. И канон прочитать не забудь.

— Ладно, ну тогда давай, до вечера,— и Ксюха положила телефон под подушку.

Вылезла из кровати, накормила Алёнку и завалилась обратно. В последнее время Ксюха по тону научилась различать его неодобрение и, поуютней закутавшись в одеяло, принялась размышлять о том, что же она нынче такого ляпнула. На этой приятной мысли Ксюха и заснула, честно следуя совету своего наставника.

В девять, разморено потянувшись, Ксюха встала, засунула ноги в тапочки и покинула кровать.

— Вау, доброе утро,— Ленка высунулась из-за компа,— не рановато ли?

— В самый раз,— зевнула Ксюха.

«Странно, чем больше спишь, тем больше хочется»,— подумала она, выйдя из душа. С сожалением глядя на свою косметику, Ксюха всё-таки не удержалась и слегка подвела глаза. Так, самую малость, но на душе стало спокойней, как будто некий долг выполнила. Поужинав найденной в кухонном шкафу «бепешкой», Ксюха почувствовала необычайный прилив сил и настроения. Включив на телефоне зажигательный клубняк, она исполнила радостный танец, состоявший из диких прыжков по комнате. Но танец длился не долго. Вспомнив о своём обещании Михаилу, Ксюха грустно вздохнула и, надев юбку и приличную, почти школьную блузку, встала читать покаянный канон. Машинально промелькивая глазами малопонятные слова, Ксюха параллельно думала, что по идее-то, к Богу обращается. Мда, она и к Богу? Странно, странно. Ксюха с интересом поняла, что можно и читать, и одновременно думать о чём-то своём. Остаток канона перемешался с фантазиями на тему «Игорёк и всё, что с ним связано», так что промелькнул довольно быстро.

Надевая бандану, Ксюха проследила, чтобы чёлка торчала из-под неё как можно красивее, хвост, кудрявый от заплетённой вчера косы, висел донельзя как интересней, и, ещё немножко подкрасив глаза, осталась собою вполне довольна.

— И куда эт ты намылилась? — Ленка включила на компе свою любимую исполнительницу «максим». — «Любимый мо-ой чужой»... Смотри, к утру возвращайся.

— Не парься, я, вообще-то, в церковь,— утешила старшую сестру Ксюха, но та, кажется, опять ей не поверила.

В урочную минуту выйдя в леденяще-холодный двор, Ксюха сразу увидела темнеющую возле подъезда высокую фигуру.

— Михаил! Ты давно здесь?

— Да нет, что ты, только вышел, и ты тут как тут. Готова к Причастию?

— Ну, вроде, да. И как у тебя терпения хватает всегда так готовиться? А Игорёк с Никой тоже всё это читают? — бурно интересовалась Ксюха по дороге на остановку.

— Даже Игорёк с Никой всё это читают, — голос у Михаила был блаженно-отсутствующий. — Хорошо-то как! Праздник скоро... Христос рождается...

— А знаешь, оказывается можно одновременно канон твой читать, и думать о чём-нибудь более приятном, — поделилась открытием Ксюха.

— Ну да, эти мысли о чём-то приятном во время чтения молитв помыслами называются.

— Как-как?

— Помыслами. Бесу не нравится, что человек с Богом разговаривает, вот он нас всё время отвлекает, интересные темы для размышлений во время молитвы подкидывает. С этим нужно бороться.

— Блин, а я обрадовалась, что есть хоть что-то позитивное в чтении молитв... Эх, — Ксюха в притворном огорчении опустила голову.

— Ты глаза долу не опускай, погляди лучше звёзды-то какие!

— Тут автобус не едет, а ты о звёздах. Греют они тебя, что ли? Сомневаюсь.

— Грехи помнишь?

— Да, я их выучила, даже как правильно называются! Сквернословие — раз, пьянство — два, несоблюдение поста — три... — загибала пальцы Ксюха.

— Надень перчатки, холодно же, — мягко прервал он.

— А у меня дырка на перчатке, зашить всё никак не соберусь. Надевать дырявую без толку, всё равно палец наружу. Помыслы, как ты их называешь, — четыре...

— Ой, хватит, лучше священнику расскажи, — замахал руками Михаил, — а у меня своих воз и маленькая тележка.

— Не наговаривай на себя, ты же такой пра-авильный. А я это так репетирую, чтобы на исповеди не забыть чего-нибудь. А если забуду один или два греха, что тогда будет?

— В принципе не страшно, но лучше не забывать. Хуже, когда помнишь грех, а в нём не раскаиваешься. Это называется утаиванием грехов на исповеди.

— А ты когда-нибудь грехи утаивал?

— Утаивания не припомню, а вот забывать — забывал. Приходилось бежать по второму разу исповедоваться.

— Прикольно. Уф, наконец-то этот тупой автобус идёт, хоть согреемся, — обрадовалась Ксюха, и они полезли в пазик.

Благодаря подсветке, храм был сияюще-белым несмотря на темноту, а его купола мерцали серебристыми отблесками. Во дворе храма стоял высокий прозрачный крест из льда. В храме пахло хвоей.

— Пойдём к вертепу, — тихо казал Михаил, когда они повесили верхнюю одежду.

— К чему — к чему?

— На каждое Рождество делают домик из еловых веток, который символизирует пещеру, где родился Иисус.

— О, пойдём, поглядим.

Помимо еловых веток вертеп был убран белыми хризантемами и ненавязчиво подмигивающей подсветкой. Внутри лежала небольшая икона, как пояснил Михаил, изображающая рождение Христа. Беря пример со своего спутника Ксюха перекрестилась, приложила к иконе, ещё немного поглядела на вертеп и они отправились на исповедь.

Когда зашли в полумрак освящённого свечами правого придела, Ника с Игорьком, Иваном и Светой были уже там.

— А глаза всё-таки покрасила, — вместо приветствия тихонько ухмыльнулся Игорёк.

— Замолчи, не мешай людям, — шикнула Ника. Ксюха заметила, что из-под косынки у неё выглядывают сорок косичек, а футболка совсем не такая, какую носят с церковными юбками, а длинная, чёрная, как у Игорька, только крест заканчивается снизу мечом и надпись непонятная. Решив, что прочтает как-нибудь после, Ксюха принялась повторять свои прегрешения. На этот раз исповедовал маленький пухленький священник со светленькой жиденькой бородкой. «Отец Сергей», — вспомнила она. Перечислив хорошо

выученные грехи, Ксюха ожидала, что, как и в прошлый раз, священник накроет её фартуком и на этом всё дело закончится. Но не тут-то было.

— А вы, точно, раскаиваетесь? — внимательно поглядел на неё отец Сергей. Ксюха была на каблуках, поэтому выше него почти на пол головы, но казалось, что он смотрит сверху.

— Ну да, — удивилась она.

— Обещаете ли вы впредь не повторять грехи в которых раскаиваетесь?

Ксюха опешила. Это что получается, ей что ли бросить курить нужно? И ругаться матом? И выпивать с одноклассниками? И участвовать в их сомнительных делишках? И красться? Ну, это уж чересчур...

— Поймите, если вы не имеете твёрдого желания избавиться от этих грехов, я не имею права отпустить вам их. — Тихий голос маленького священника был твёрдым и непрелюбимым.

«Блин, а я же канон три дня читала...» — эта мысль убедила Ксюху сказать честным голосом:

— Ну ладно, обещаю.

— Не забывайте, что обещание, данное Господу Богу нашему, нарушать нельзя. Что с этого дня вы должны кардинально изменить свою жизнь. Сегодня Рождество, и вместе со Христом вы должны родиться к новой жизни. Как ваше имя? — всё таким же строгим голосом спросил священник.

— К-ксения...

Поцеловав крест, Евангелие и, следуя инструкции Михаила, взяв у отца Сергея благословение на Причастие, она присоединилась к Нике, Свете, Игорьку и Ивану, стоящим возле клироса. Что-то читал громкий голос из алтаря. Подошедший через некоторое время Михаил поздравил Ксюху с исповедью, но она ничего и никого не замечала, вдумчиво глядя на пламя свечей. Ксюха и раньше знала, что, вроде, как есть где-то Бог, что он кого-то наказывает, но это никогда не касалось её так непосредственно. И зачем она обещала исправиться? Вдруг, если она не сдержит обещание, ей Бог за это что-нибудь сделает? Пойдёт она, например, домой со школы, и на неё маньяк накинется? Или кирпич на голову упадёт? Или заснёт в ванне и захлебнётся?

«Блин, что за маразм, — одёрнула себя Ксюха, — хлеще бабульки становлюсь. А всё-таки... Вдруг мне, действительно, за это что-то будет?» Ксюха прекратила свои непозитивные мысли только когда народу в храме натолкалось, как в утреннем пазике, зажглась большая, висящая из-под купола, люстра и стало довольно жарко. Она вытащила из кармана юбки телефон и взглянула на время — половина двенадцатого. Ксюха хотела было спросить у Михаила, когда закончится служба, но передумала. Он с таким пристальным вниманием слушал священников в белых одеждах, что стало жалко его отвлекать.

— Игорёк, — Ксюха обернулась к Игорю, — а когда это всё кончится?

— Думаю часика через три, — ехидно прошипел ей на ухо Игорёк. — Неужели так устала, а?

— И не мечтай, — она переступила с ноги на ногу и принялась слушать хор. Когда надоело, начала вертеть головой, людей разглядывать, жалея, что стоит впереди. Рассмотрев все видимые по бокам в толпе головы, решила остановиться на одном Михаиле. На него интересно было посмотреть. То он в задумчивости опускал голову, то чему-то улыбался, то что-то шептал.

«Блин, что этот хор так громко поёт, может, удалось бы подслушать, чего это он у Бога просит», — сожалеюще вздохнула она. Игорёк, которому хорошо было видно, куда смотрит Ксюха, толкнул под бок Нику, но она только шикнула в ответ: «Тебе-то что?» и вместе со Светой продолжила подпевать хору: «Рождество твое Христе Боже наш, возсия мирови свет разума...»

Постепенно народ начал рассеиваться, стоять и дышать стало свободней. Подпирая колонну Ксюха подсчитала, что находится в церкви уже два часа.

— А куда они все смываются? — Ксюха обернулась к Игорьку, кивая на выходящих из церкви людей. Он поманил её и, отойдя подальше от активно подпевающих хору Ники и Светы, прислонился к косяку возле вешалки:

- Это захожане, они сюда не помолиться, а так, ради прикола зашли. Ну, вроде тебя!
- А-а, понятно. Значит, мне тоже смыться можно?
- Ты вроде как причащаться собиралась, — Игорёк по-скорому перекрестился.
- Ой, блин, забыла, — Ксюха помотала головой из стороны в сторону, хрустя шейными позвонками. — Как я уста-ала... — Не страдай, после Причастия полегчает... Что, как дела, как Новый год отметила?
- Да не очень весело, а ты?
- А я... — Игорёк опустил шкодливый взгляд, — здорово, вобщем.
- Бухал? — невинным голоском спросила Ксюха.
- Здорово — это не значит, что я бухал, можно и без выпивки коры мочить. А ты бухала, знаю. Кстати, литургия началась.
- Мне это ни о чём не говорит. Тебе что, Михаил доложил?
- Запомни, Мишка никому ничего никогда о тебе не докладывает, — с видом оскорблённого достоинства Игорёк поправил капюшон толстовки. — Он не сплетник.
- Тогда откуда знаешь?
- Нетрудно догадаться.
- И правда. Так как ты всё-таки коры мочил?
- В оживлённой беседе время пошло куда быстрее.
- Ты что? — поинтересовалась Ксюха, заметив, как Игорёк наострил уши.
- Блин, заболтались. Пошли вперёд, сейчас Причастие начнётся.
- «Тело Христово примите, источника бессмертного вкусите...» — запел хор, и как Игорёк, сложив руки крест-накрест правая поверх левой, Ксюха пошла к Причастию. Насчёт того, что причащаются из одной ложки, Ксюха не заморачивалась — пиво тоже из одной бутылки пьют и ничо, живы. Ожидая своей очереди, Ксюха проследила, как Михаил отошёл от чаши — такой радостный, солнечный. Даже больше чем обычно.
- Так и быть, пропущу тебя вперёд, — расщедрился Игорёк. Ксюха ничего не ответила, она сосредоточенно вспоминала, что нужно сделать сначала — поцеловать чашу, или сказать как зовут. У седого священника, держащего чашу, и двух парней, помогающих ему, были такие торжественные лица, что Ксюха труханула даже. Вдруг они скажут, что она что-то делает не так?
- Причащается раба Божья...
- Ксения.
- Вроде бы ничего особенного — ну, дали Ксюхе кусочек хлеба, размоченного в вине. Но почему-то она почувствовала себя такой счастливой, что аж завизжать, как кутёнку, от радости захотелось и запрыгать! Ксюха по-быстрому подошла к столику, выпила святой воды из игрушечной кружечки, взяла кусочек просфоры и, забыв про идущего сзади Игорька, побежала искать Михаила. Он стоял возле клироса с друзьями и, кажется, ждал именно Ксюху.
- Михаил! С праздником! — почти во весь голос выпалила Ксюха.
- Тебя тоже с праздником и первым Причастием... — Глаза Михаила светились для Ксюхи уже каким-то другим, более понятным, что ли, светом.
- Иван с подругой тоже поздравили её, Ника потрепала по плечу, шепнув: «Так держать», подошедший Игорёк попенял, что она, как ошалелая, так кинулась бежать после Причастия, что он едва поспевал за ней следом. Ксюха была в каком-то незнакомом для неё радостном и благостном состоянии. Оставшееся пребывание в храме промелькнуло для неё очень быстро, и опомнилась Ксюха только во время посадки на один из припаркованных возле церкви автобусов, развозивших прихожан по домам. Народу было не так много, все расселись, и автобус тронулся.
- Миш, как тебе футболка, которая на Нике одета? — сидящий сзади Игорек, привстал и наклонился над Ксюхой и Михаилом. — Я тебе такую же в честь праздника купил. На ней цитата из евангелия от Матфея «Не мир пришёл принести, но меч».
- Мне нравится, спаси Господи... — сонно улыбнулся Михаил.
- Миш, — сидящий справа Иван тронул Михаила за плечо, — помнишь ту книгу, которую ты всё не мог найти? Так вот, я не только нашёл её, но и купил тебе в подарок, так что...

— Дайте поспать человеку, — откинувшись на сиденье, Ксюха с огромным удовольствием вытянула ноги и сняла с головы бандану. — Да и мне заодно...

— О, какая у нас Ксюха добрая стала, нет бы о себе, а она о Мишке беспокоится, — подколол Игорёк, но довольно вяло и — задремал.

Ксюхе с Михаилом было ехать дальше всех и, когда вышли друзья, Ксюха с серьёзным лицом повернулась к своему соседу.

— Михаил, а я теперь знаю, почему ты всё время радуешься. У тебя от Причастия настроение поднимается!

* * *

Ксюха не жалела, что сходила на Рождественскую службу. После неё и Михаил начал смотреть на неё с меньшим сожалением, и общение с Игорьком пошло на лад. Все каникулы Ксюха провела в компании Михайловых друзей. Пили чай у него на кухне, раза два ходили в храм на вечернюю.

В первый школьный день на перемене к ней подошла отличница Оля. Смерила Ксюху скептическим взглядом насмешливых чёрных глаз, мило улыбнулась:

— А ты не такая отсталая, как я раньше предполагала.

— В смысле? — отвыкшая за каникулы от реалий школьной жизни Ксюха даже нагрубить толком не сумела.

— Ну как, я слышала, ты в храм ходишь. Похвально. Все здравомыслящие современные люди верят в Бога. — Отличница поправила очки.

— А ты-то откуда знаешь? — все девять лет класс не переставал поражаться Олькиному всезнайству, и Ксюха тоже не могла понять, откуда у ботанички время от времени появляются совершенно конфиденциальные сведения. Например, о том что биологичка рассталась со своим молодым человеком или, что у отца Васифа проблемы в бизнесе.

— У меня широкий круг общения, — пожала плечами отличница. — Знаешь такого — Игорька?

— Ну да, — Ксюха подтянула джинсы. — А ты-то его откуда знаешь?

— Да пересекались как-то в Воскресной школе, давно дело было, — отличница оправила одной только ей заметную складку на обтягивающей серой юбке. — Переписываемся иногда по мейлу.

— Понятно, — протянула Ксюха, а про себя подумала: «Ну, Ксения Владимировна, докатилась. Ещё с ботаничкой дружбу заведи, вообще клёво будет».

После школы, потравив байки с пацанами в подъезде соседнего дома, на который сменилась по причине зимнего сезона холодная беседка, по традиции отправилась к Михаилу. У него уже сидели Ника с Игорьком.

— А где Светка с Ванькой? — поинтересовалась Ксюха, по-хозяйски наливая себе чай в бокал.

— Светка с Ванькой у нас заправскими театральными заделались, — хмыкнул Игорёк. — Опять на фигню какую-то пошли.

— Если ты ничего не смыслишь в театральном искусстве, это ещё не значит, что оно фигня, — заметила Ника.

— Да не понтуйся ты, я, конечно, понимаю, что у тебя вчера был офигительный шопинг в «семи слонах», — он кивнул на чёрную Никину футболку с красными языками пламени, — но это ещё не повод учить братишку жизни.

— При чём тут мой шопинг, — Ника не без гордости натянула капюшон толстовки, — я просто не понимаю, почему тебе не понравился наш прошлый поход в драмтеатр.

— Понимаешь, — пояснил Ксюхе Игорёк, — Светка с Ванькой нас с сеструхой недавно в драмтеатр на «Ричарда третьего» затащили. Мишка умный, сказал, что не любит театр, и отмазлся, а я попёр как дурак. Целых два часа сидел, плевался.

— А про чо было-то? — Ксюха развернула конфету.

— Да, типа, по Шекспиру, — завёл глаза Игорёк, — но только не нормальный Шекспир, а в современной интерпретации.

— И чем она отличается от нормального Шекспира? — Ксюха жевала конфету и наблюдала, как Михаил поливает из игрушечной лейки цветы, стоящие на подоконнике.

— Понимаешь,— Игорёк закинул ногу на ногу и выгасил один наушник,— вроде бы как средневековье. Но только эти чуваки ходят с ноутбуками и в современной одежде. У них зачем-то на сцене стоит машина. Для чего-то вначале посередине сцены торчит скелет тиранозавра, потом его поднимают к потолку, а в конце снова опускают. Убейте меня, я не мог взять в толк, к чему такие изыски. Вообще, как в песне — «стой, опасная зона — работа мозга...» — в тему подпел он Цюю в наушниках.

— Вообще-то классика должна быть интересной, обработанной под современность,— Ника что-то искала в своём телефоне.— Кому интересно старьё? А вот если с ноутбуками, то уже что-то новенькое...

— Победа, я не такой рьяный консерватор, каким ты меня пытаешься выставить, я не отрицаю, что нужно вносить что-то новое. Но когда эти ноутбуки абсолютно ни к селу, ни к городу, тиранозавр не оправдан, а современные костюмы непонятны, я могу только пальцем у виска покрутить.

— Ну и крути на здоровье,— она засунула телефон в карман толстовки.— Всё же тебе ведь что-то понравилось?

— Ну да, спецэффекты, красный дым, символизирующий битву. Ещё — не при Мишке будет сказано — секс на машине меня впечатлил... — Игорёк ехидно оглянулся на старшего брата.— Кажется, у Шекспира такого не было, но зато это так интересно, так современно...

— Всё, закрыли тему,— Ника сбросила капюшон и трянула высоким хвостом.— Ты везде найдёшь какую-нибудь гадость.

— Ну-ну, кто б говорил, тебе ведь эта гадость понравилась, если ты так рьяно её защищаешь,— Игорёк снова засунул наушник.— «Все говорят что мы вместе, все говорят, но не знают в каком...»

— У отца Сергия день рожденья скоро,— сменил тему Михаил, ставя игрушечную лейку на холодильник.

— Оу, и сколько ему? — поинтересовалась Ника.

— Двадцать девять,— улыбнулся Михаил.— Вот, думаю, что подарить, он же мой духовный отец...

— В смысле — духовный отец? — Ксюха налила себе ещё чаю и передала чайник Нике.

— Каждый верующий предпочитает исповедоваться у какого-то одного священника. Не всегда так получается, иногда попадаешь на исповедь и к другому, но когда у тебя какой-то важный вопрос, ты пойдёшь с ним только к своему духовнику. Потому что он тебе более близок, ты ему доверяешь, полагаешься на его духовный опыт.

— И чем же тебе отец Сергей близок? — Ксюха пошла к раковине мыть стакан.

— Оставь, потом помою,— махнул рукой Михаил.

— А больше тебе заняться нечем,— Ксюха включила горячую воду.— Сама справлюсь как-нибудь.

— Отец Сергей хоть и молодой, но он такой серьёзный, ответственный. Строгий, если нужно,— задумчиво поглядел в окно Михаил.

— О да,— Ксюха вспомнила, как тот потребовал, чтобы она бросила курить. Она его, в принципе, даже почти послушалась — всего два раза за неделю курила.

— А я к отцу Александру всегда хожу, он корошник такой,— почесал за ухом Игорёк.— Мы после исповеди всегда с Никой обсуждаем, что он нам такого интересного сказал... К тому же он нам по возрасту подходит, сам недавно из семинарии. И матушка у него здравая девка — на джипе гоняет, папочкин свадебный подарок.

— Вообще это Иван со Светкой первыми начали к отцу Александру ходить,— сообщила Ника.— Только не по той причине, что мы, они же такие серьёзные.

— Почему тогда к нему ходить стали? — Ксюха поставила стакан сушиться.

— Когда отца Александра только рукоположили, у него мало кто исповедовался. Ну какая бабушка к пацану пойдёт? Да она считает, что больше него во сто раз знает.

И стоял он такой одинокий, только дети маленькие к нему ходили. Вот Ваньке его жалко стало, и начали они со Светкой у него исповедоваться. Только после каждой исповеди Ванька жаловался, что отец Александр ему фигню какую-то советует, и нам с Игорьком интересно стало, чего такого можно посоветовать, чтобы Ваньке не понравилось. А оказалось просто, что отец Александр позитивный! Такие неординарные советы подаёт...

— Из почти безвыходных ситуаций,— потупил нахальные глазки Игорёк.— Как бы я без его советов в школе до одиннадцатого класса продержался,— ума не приложу...

— Представляю, какие он тебе советы подаёт,— Ксюха присела на табуретку возле Игорька.

— Поверь, даже ты представить себе не сможешь. А я не расскажу, тайна исповеди. Кстати, чего это ты всё время в джинсах, как Гаврош какой-то? — он бросил вниз мимолётный взгляд.— В юбке тебе куда лучше. Я в Рождественскую ночь обратил внимание, ножки у тебя ничего так...

— На свои погляди, скотина,— миролюбиво огрызнулась Ксюха.

— Игорь, мне за тебя стыдно,— Михаил и взаправду слегка покраснел,— разве можно так?

— А чего такого? Я советую даме, что ей надеть, чтобы выглядеть ещё выигрышней. Никакого криминала.

— Дама и сама знает что одеть. Не парься,— Ксюха положила ногу на ногу. Теперь они с Игорьком сидели в одинаковых позах.

— Почему эт не парься? — удивился он.— Я люблю попариться. У меня друг есть, он всё время всех в Кировские бани тащит. Ходил с ним пару раз. И знаешь, кого мы в бане встретили? Одного детского писателя. Весёлый такой, морда красная, с венником. В Никольский храм ходит, кстати...

— Я скоро свихнусь,— Ксюха схватилась за голову,— вы что, люди, все, что ли, в церковь ходите? Подходит ко мне сегодня ботаничка из моего класса, оказывается, знакома с тобой по Воскресной школе.

— А, Олька что ли? С шармом девка. Ну да, все реальные чуваки в церковь ходят. Ведь если у тебя мозги есть, ты поймёшь, что нас Бог создал. Как-то не по приколу ходить в потомках мартышки.

* * *

Заходя к себе домой Ксюха с радостью предвкушала как сядет за комп, включит какой-нибудь клубняк, забив на все церковные темы. Ещё включая свет в прихожей она услышала доносящиеся из Ленкиной комнаты всхлипы и завывания.

— Эй, Ленка, что ты там? — быстро скинув куртку и сапоги, Ксюха зашла к сестре.

В полумраке вечерней комнаты Ленка редела на кровати, уткнувшись растрепанной головой в подушку. Услышав Ксюхины шаги, подняла лицо, и Ксюха увидела огромный малиново-сизый синяк, расплывшийся на весь правый глаз.

— Эт какая мразь тебя так? — Ксюха присела на кровать, обняла сестру.— Не реви, давай путём рассказывай.

— Ильнур,— всхлинула Ленка.— Ксюх, я залетела. Он, когда узнал, как с цепи сорвался. Орёт: «На фига мне от такой шлюхи дети, иди аборт делай!» И бить начал... Кричал: «Чтобы никаких беременностей больше!», как будто я с этим кобелём паршивым останусь... У-у-у-у....— Она снова уткнулась лицом в подушку.— Как я на работу с таким синяком пойду-у-у...

— Вот он...— Ксюха разразилась отборным крепким матом.— Да я бы этого кобеля грёбаного...

— А что я могу сделать? — Ленка села на кровати.— Вот теперь ещё с абортом проблемы...

— Слушай, ты что, сдурела? На хрена тебе аборт? У тебя их и так три штуки, знаю. Сделаешь ещё один, у тебя же детей потом нафиг не будет! — Ксюха вскочила и прошлась взад-вперёд по комнате.

— Ну оставлю я этого ребёнка, и что мы с ним делать будем? Ты подумай мозгами, на какие шиши жить будем с ним? — Ленка убрала с лица спутанные волосы, синяк засиял во всей красе.

— Тебе легко говорить... Да и ребёнок от этой мрази...

— Эту мразь ты сама выбрала! Какая разница, от какой мрази, ребенок не виноват, что его папашка ублюдок. Да и самой разве не жалко?

— Жалко, но что ж я тут поделаю,— Ленка размазала по лицу слёзы и тушь.

— Вот китайцы каждую секунду по китайчонку плодят, и им всё не хватает. А нас, русских, и так мало,— Ксюха сама не заметила, как начала убеждать Ленку фразами из Игорькова лексикона.— Даже Путин говорит, что рождаемость повышать надо.

— Не буду же я одна рожать. Кто меня потом возьмёт с ребёнком?

— Если нормальный чел попадётся, он тебя и с ребёнком возьмёт, а если какой-нибудь недоделок не захочет взять, значит, он и не нужен тебе нафиг...— Ксюха от злости так частила словами, что сама с трудом понимала, что говорит.—

И вообще тебе все козлы попадались, и в прошлые разы тоже детей никто не хотел, и замуж тоже брать не хотели... Им лишь бы попользоваться... Ты сама во всем виновата!

— Ну что ж у меня всё не та-а-ак... — Ленка опять начала реветь. Всю ночь сёстры просидели на Ленкиной кровати. То плакали, то матерились. К утру было решено, что Ленка будет рожать...

* * *

— ...Ты правильно сделала, что уговорила сестру,— Михаил сосредоточенно листал какую-то брошюру,— ведь это хотя и маленький, но уже человек, у него душа есть...

— А куда душа девается, если аборт делают? — Ксюха тоже взяла с заваленного бумагами стола какую-то толстую книгу.— В ад идёт, что ли?

— Нет, что ты. Душа до семи лет безгрешная. Если ребёнок умирает, он в ангелы идёт. А тут человек даже дня пожить не успел... Он ни в рай ни в ад не идёт. Где-то в тихом месте находится.

— Так получается, для ребёнка даже хорошо, что мамашка аборт сделала? — Ксюха раскрыла книгу где-то посередине.— Так бы он мог в ад попасть, а он не родился и сидит себе где-то тихо-спокойно.

Реакция Михаила Ксюху поразила. Он ничего не ответил, просто отложил брошюру и с такой болью поглядел ей в глаза, что Ксюха сразу уткнулась в книжку, лишь бы только этого зывающего к совести взгляда не видеть. Машинально поползла глазами по тексту: «Мы встретимся там, где нет темноты».

— Оруэлл? — грустно спросил Михаил. Ксюха поглядела на обложку.

— Да.

— Хорошая книга. Советую почитать. Наше возможное будущее...

— Ты же знаешь, я книжек не читаю,— она положила Оруэлла обратно на стол.— У тебя хлеб дома закончился. Сходим в магазин?

На улице уже вовсю пахло весной. На ледяной корке, покрывающей асфальт, небольшие лужицы, на газонах сугробы рыхлые, мокрые. Михаил, спрятавший в шкаф свою зимнюю куртку, опять красовался в чёрном плаще, который был на нём во время осеннего знакомства с Ксюхой.

— Каждому человеку даётся шанс попасть в рай,— Михаил вдумчиво глядел себе под ноги,— а тут этот шанс отнимается. Все мы для счастья созданы. И у каждого должна быть его возможность.

— Ты всё про аборт? — поморщилась Ксюха, поправляя свой капюшон.— Нет бы забить и забыть.

— Это жизнь человеческая. На неё ты забить предлагаешь? — Михаил так серьёзно взглянул на Ксюху, что ей опять не по себе стало.

— Блин, ну ладно, я маньячка и циник, только не воспитывай меня, а? — Ксюха ускорила шаг.— Не люблю, когда ты умничать начинаешь.

— Как хочешь,— и Михаил начал перебирать чётки.

«Кажется, он не на шутку обиделся», — подумала Ксюха. Она понимала, что была неправа, но сегодня было такое паршивое настроение, что просто нельзя было Михаила не огорчить.

*Ты куда спешишь, печальный призрак,
Вот он я, готический твой принц...
Ты выглядишь как труп твоей собачки,
Которую насиловал фашист...*

— из-за поворота донёлся прокуренный хохот и слова песни.

Ксюха с интересом поглядела в сторону звуков и увидела вывернувшую из-за угла многоэтажки компанию. Три парня и две девки, все в чёрном. Парень с бородкой, ростом где-то с Михаила, в плаще таком же чёрном, по ветру развевающимся. Правда, в отличие от Ксюхиного спутника, покрепче, помассивней и потемней — что волосами, что взглядом. Второй похож на питбуля. Маленький, сивенький, взгляд остервенелый, на шее шипастый ошейник. С обеих сторон под руки его держали девки — обе крашенные брюнетки с ярко обведёнными чёрным карандашом глазами и торчащими из тёмных губ сигаретами. Третий — бесцветный патлатый парень с массивным серебряным черепом на шее и подсоединёнными к телефону колонками в карманах. Из них-то и доносились слова песни.

«Кажись, у парней глаза тоже чёрным обведены», — удивлённо заметила Ксюха. Вспомнилась Анька. Она ведь тоже готкой была... До компании было метров восемь, когда Ксюха поняла, что те имеют до них с Михаилом какой-то интерес. Парень с колонками и «питбуль» переглянулись, сказали что-то типу в плаще, — из-за громкой музыки не было слышно, что именно, и ускорили шаги.

*«Такая типа садо-мазо,
Вся ты садо-мазо...»*

— фальцетом подпела одна из девок, проводя рукой по телу, обтянутому кожаным костюмом.

Михаил, смотревший в землю, поднял глаза.

— Хай, чувачок, — помахал ему тип в плаще. — Как делишки?

— Слава Богу, — Михаил взглянул на компанию.

— Почему не с нами? — «питбуль» ласково ощерился. — Айда как-нибудь вместе на кладбище сходим, среди могилки потусуемся...

— Кладбище не место для весёлого времяпрепровождения. Да и разные мы люди.

— А что эт ты тогда наш прикид перенял, а? Да ещё Боженьку в нём поминаешь, — тип в плаще тонкими пальцами погладил бородку. — Нехорошо.

— Ваш прикид? — удивлённо поднял брови Михаил. — Чёрный — цвет монахов. Скорее, вы его переняли.

— Мальчишка нас в плагиате обвиняет, слышь, Шаман, — «бесцветный» уткнулся в плечо типа в плаще. — Я ща расплачусь.

— Не плачь, Бесёнок, — Шаман погладил бесцветного по голове, — мальчишка просто не знает, что сильнее. Он думает, Боженька всё может. Смотрите, вон как свои чёточки перебирает. Молишься Боженьке, а?

— Молюсь. — Михаил стоял такой светлый, со своим радостным солнечно-карим взглядом, с развевающимися по ветру светлыми волосами, как будто не замечая, что компания тёмных готов кольцом окружила его и Ксюху.

— Молись, дитя. — Шаман цинично улыбнулся. — А мы вот что-то не любим Боженьку.

— «И звёзды светят нам красиво, и симпатичен ад», — хохотнул «питбуль» отрывок из какой-то песни.

— Агата Кристи? — поинтересовалась порядком труханувшая Ксюха, вспомнив Анькины музыкальные предпочтения.

— Да, детка, это Агата Кристи. Пожалуй, слишком сентиментальная группа, слишком нежная. Но довольно, милая, — с придыханием ответил Шаман. — Детка, не хочет пойти с нами?

— Нет, не хочет, — ответил за Ксюху Михаил.

— А почему ты за неё решаешь? — девка в кожаном костюме бросила Михаилу под ноги окурок. — Может ей надоели уже твои свечки и святая вода, может она реальной жизни хочет? Хочешь? — девка проникновенно глянула на Ксюху бездонными глазами. — У нас тебе понравится. Мы клёвую музыку слушаем, ночью на кладбище ходим, у нас красивые обряды. Бросай своего недоделка.

— Бесё-о-онок, включи чо-нть другое, — вторая девка затянулась остатком сигареты и провела чёрными ногтями по щеке хозяина колонок. — А то беспонтово как-то.

— Щас, Кэт, — «бесцветный» полез в телефон. — Вот миленькая песенка.

Из колонок послышался лязг и рык, сквозь который невозможно было различить слова.

— Stigmata... — Шаман ласково улыбнулся Ксюхе. — Приходи к нам, если надумаешь. Церковные мальчики давно устарели.

— Это мой друг, и какое вам дело, кто он, — Ксюха шагнула к Шаману. — Что вы к нему прицепились?

— Смотрите, как тёлочка своего попа защищает, — пропищал Бесёнок. — Ой, не могу. А когда у вас шпили-вили, ты тоже сверху?

Ксюха давно не была в таком бешенстве. Она бы кинулась на Бесёнка, но Михаил удержал её за руку.

— Не реагируй на них. Они сами не ведают, что творят.

— Это мы-то не ведаем? — «питбуль» исподлобья зыркнул на Михаила. — Мы знаем всё.

— Значит, напрямую служите сатане, — пальцы Михаила быстрее задвигались по чёткам. — И после смерти пойдёте во ад.

— Пошлите, что ли? — девка, докуривающая сигарету, вопросительно приподняла брови. — Что с этими хрюсами возиться.

— Идёмте, друзья, — улыбнулся Шаман. И обернулся на прощанье:

— Мы с тобой ещё встретимся, попёнок.

— Маразматики, — отвела душу Ксюха уже на крыльце продуктового магазина. — Прикопались же.

— Искушение Бог послал, — пожал плечами Михаил.

— Михаил, а тебе никогда не хотелось стать готом, а? Ходил бы на кладбища с ними, кошечек резал...

— Грех даже шутить так, — Михаил в который раз за день строго взглянул на Ксюху. — Они сатане служат и ему жертвы приносят. Кто знает, может и человеческие.

Ксюха вспомнила парня на Вечном огне, про которого Анька рассказывала. Мда... Стоя в накуренном грязном лифте, потеряла Михаила за рукав:

— Я сегодня очень плохая?

— Что ты. Люди не бывают плохими. Просто иногда бывает особенно много искушений...

* * *

Ксюха часто, от нечего делать, знакомилась по мейлу с разными пацанами. Но до встреч у неё никогда не доходило — попереписываться ржачно, а встречаться после всей фигни, которую они понапишут, уже не в прикол. Да и нафига они, нездешние пацаны? На своём районе этого добра хватает.

Последний добавившийся ко Ксюхе мальчик заинтересовал её больше всего своими фотками. Такой симпатичный блондин с шаловливым взглядом серых глаз. Сразу видно, что бабник. Но Ксюха для интереса решила с ним встретиться. Может, потому что март... Да и скучно что-то. Как бы выразился Игорек — «экстрима не хватает».

После учёбы сбросила дома вещи, по-скорому перекусила, заглянув в холодильник, и поехала на встречу. В пазике всю дорогу думала, каким же окажется этот Сергей, так много писавший о своём желании с ней, Ксюхой, увидиться.

Из раздумья Ксюху вывел блеющий голос какого-то гея:

— Возьми-ите на сле-едушей...

Ксюха, как и гей, вылезла на Советской.

«И как его ещё по дороге не поймали?» — подумала Ксюха, брезгливо глядя

на выщипанные бровки и накрашенные глазки представителя секс-меньшинств.

— Слушай, извращенец, а самому тебе не стрёмно? — спросила Ксюха, направившись следом за геем, торопившимся к башне с часами. Тот осмотрительно промолчал, но Ксюха от него не отстала. Увидев невдалеке компанию пьяных пацанов, она ещё сильнее завелась, привлекая их внимание:

— Голубой! Извращенец! И на кого ты меня променял! Я тебя так любила!

— Смотрите, девушка за педиком гонится, — кивнул мрачный бритоголовый парень с цепями на шее и руках. — Поможем?

— Поможем, — ухмыльнулись остальные.

— Эй, девушка, он тебя что, на парня променял? — поинтересовался бритоголовый заводила, вставая на пути женоподобного юноши. — Ай-я-яй, как нехорошо...

— «Оля любит Колю, Коля любит Ваню», — фальцетом пропел юноша с подбитым глазом в самое ухо педикю.

— Дайте пройти, — затравленно пискнул гей.

Пацаны заржали, и встали вокруг него. А Ксюха, сделав своё дело, незаметно улизнула. Пошла к совместному памятнику двум великим людям. Там она договорилась встретиться с Сергеем. Он писал, что будет в бежевой куртке и серых джинсах. Оглядевшись вокруг, Ксюха никого, похожего на это описание, не заметила. Поглядела на башню с часами. До назначенного времени оставалось десять минут. Ксюха уселась на лавочку, на которой сидела с Игорьком в день знакомства с националистом, и так же, как тогда, закинула ноги на спинку скамьи. Просидев так несколько минут, услышала быстрые шаги.

— Ксения? — к лавочке подходил высокий блондин в серых джинсах и синей куртке. — Я сразу заметил вас по фиолетовой куртке.

— А где же твоя бежевая? — Ксюха опустила ноги на землю. — Ты себя что, наобум описывал?

— Я не думал, что сегодня будет так жарко, — Сергей свернул руку калачиком. — Прогуляемся? А вы красивая, — рассыпался комплиментами Сергей, бродя с Ксюхой под руку по Советской. — У вас такие романтичные глаза...

— На свои посмотри, — она окинула Сергея презрительным взглядом.

— Действительно, что это я всё на вы да на вы, — Сергей белозубо улыбнулся. — В переписке мы давно уже на ты.

— Ну-ну, — согласилась Ксюха. — Ты часто с девушками по мейлу знакомишься?

— Какое это имеет значение... Главное, что я встретил тебя, Ксения, — улыбочка Сергея стала пошленькой. — Ну, как я тебе?

— Ничо так, — пожал плечами Ксюха и остановилась на переходе. Мигали последние секунды красного цвета.

— А ты мне нравишься, — он умильно сжал Ксюхину руку. — Ты такая секси.

— Хорош меня мять, — она выдернула руку и засунула в карман. — Обойдёмся как-нибудь без телячьих нежностей.

— Но-но, — занервничал Сергей. — Здесь можно только под руку ходить, — и снова вцепился в Ксюху своей влажной пятернёй.

«Вот идиот, — подумала она, шествуя через дорогу.

Свернули с Советской на какую-то тихую улочку.

— А какой парень способен тебя увлечь? — Сергей перешёл с нормальной речи на какое-то прищётывание. Наверное, считал это эротичным.

— По-любас, такой как ты, — Сергей конкретно начинал Ксюху нервировать. Но ей было интересно, что будет дальше.

— Правда? — Ксюха не успела глазом моргнуть, как очутилась в объятиях Сергея. Он выразительно смотрел на неё сверху вниз, явно чего-то ожидая.

— Слушай, отцепись, а? — Ксюха равнодушно взглянула на него. — Ну?

— Ты точно уверена, что хочешь этого?

— На все сто, — завбрировал телефон, Ксюха полезла в карман джинс. — Не беси меня.

— А я надеялся, что ты меня поцелуешь... — Сергей убрал руки, и они продолжили куда-то идти.

— Ты дурак,— констатировала Ксюха, просматривая sms «Ваш баланс приближается к порогу отключения».

— Возможно, через твои поцелуи мне бы передалась твоя убежденность в этом.

— Ну-ну. Ты чокнутый или притворяешься? — Ксюха засунула телефон обратно в карман.

— А давай обойдёмся без взаимных оскорблений,— Сергей надулся как обиженный ребёнок.— Ты просто закомплексованная. Может, у тебя ещё секса до сих пор не было?

— А тебе-то что? — Ксюха остановилась возле какого-то старинного дома.— Не понимаю, почему это тебя так волнует?

— Сейчас меня волнуешь только ты...— Сергей снова обнял её и потащил в сторону остановки.

— Слушай, а куда мы идём? — поинтересовалась Ксюха, неторопливо переставляя ноги.

— Неважно, главное что ты тоже хочешь этого,— Сергей многозначительно взглянул на Ксюху своими распутными глазами.— Ты ни о чём не пожалеешь.

— Знаешь, мальчик,— Ксюха остановилась и выдернула свою руку из влажной ладони Сергея.— Я тоже сидела на сайтах по пикапу и соблазнению девушек и все твои приёмчики читала именно там. Что-то вроде: «Берите её за руку и ведите к себе на квартиру. Она не должна чувствовать никакой ответственности в произошедшем, чтобы потом себя не винить.» Или: «Всё время держите её руку. Если она не захочет, отшутитесь, что здесь так положено».

— Ну, и что ты хочешь этим сказать? — лицо Сергея приняло озверелое выражение.— Давай, выкладывай.

— Что хотела сказать, я уже сказала,— Ксюха откинула упавшие на глаза волосы.— Ни души, ни интеллекта в тебе нет, сплошная физиология. Чао, пикапер.

— Целка несчастная! — заорал в спину Ксюхе взбешенный Сергей, но оборачиваться она не стала.

«Представляешь, Михаил,— мысленно обращалась Ксюха к своему другу, уже сидя в автобусе.— Большинство парней такие дебилы... Гей, пикапер... даже не знаешь что хуже. Получается, нормальные — только в церкви, что ли? Маразм какой-то...»

Вечером Ленка варила борщ.

— Что эт с тобой? — фыркнула Ксюха.— Ты ж раньше дома никогда не готовила?

— Ну, я ж мамочкой скоро стану,— кокетливо поправила фартук Ленка.— Придётся кашку варить, вот привыкаю. А борщ этот весь тебе одной съесть придётся...

— С чего бы? — приподняла брови Ксюха.

— Меня тошнит, и аппетита нет никакого. Завтра опять бежать анализы сдавать.

— Составить тебе компанию? А то мне чот в школу неохота...

— Пошли, всё равно скучно в очереди. Знаешь, я хочу назвать его Стасиком... Как думаешь?

И сёстры принялись обсуждать имя будущего Ленкиного ребёнка.

* * *

День был ясный, солнечный, настоящая весна! Ксюха даже забыла о всех проблемах, связанных с женской консультацией, будущим Ленкиным ребёнком, чепчиками и пелёнками. Сегодня ей было конкретно не до этого. Ещё по дороге со школы она решила, что обязательно должна увидеть Михаила. Просто он такой же ясный и солнечный, как этот день, и его не хватает. Бросив сумку, Ксюха схватилась за телефон, но тут же засунула его в карман, хлопнула дверью и, не пользуясь лифтом, погнала вниз по лестнице. Нужно быстрее увидеть Михаила! Она так давно его не видела! Все эти две недели Ксюха утешала Ленку, у которой постоянно случались истерики, сопровождала её на всякие анализы, сидела в очередях среди беременных и тихонько сходила с ума, слушая бесчисленные истории о неудачных родах. Нужна была какая-то разрядка. Вылетев из подъезда, Ксюха сразу увидела удаляющуюся со двора худую высокую фигуру.

— Михаил! Подожди! — Ксюха так быстро помчалась, разбрызгивая во все стороны лужи, что Михаил едва успел поймать её во время полёта в одну из них.

— Ты что, осторожней, а то упадёшь...

— Ну, ты же не дашь мне упасть. Да и лужа тут неглубокая...

Ксюха стояла и просто глядела на Михаила. Оказалось, что за две недели она почти была, как он выглядит. Хотя, может, это он так сильно изменился — стал ещё более худым, бледным, а глаза ещё более счастливые и как будто одновременно грустные. Наверное, со стороны Ксюха глупо выглядела, разглядывая Михаила, потому что он ласково улыбнулся:

— Я так постарел, что ты на меня так удивлённо смотришь?

— Нет, просто я тебя давно не видела. Ты так изменился! Ты не заболел?

— Нет, слава Богу. А у тебя всё хорошо? Ничего не случилось?

— А должно было что-то случиться?

— Нет, конечно, просто ты так из подъезда выскочила...

— Просто ты куда-то уходишь, а я тебя давно не видела.

— А откуда узнала, что я ухожу?

— Даже не знаю... И они вместе рассмеялись. Ксюха быстро одёрнула задравшуюся во время пробежки любимую красную тунику:

— А чем ты в последнее время занимаешься?

— Учусь, как всегда учусь. А вчера стихотворение написал. Прочитать?

— Я никогда не слышала, как ты читаешь свои стихи, давай.

Михаил улыбнулся:

*Красиво на Твоей земле!
Польнь качается,
И после ливня небо
С радугой встречается...*

Так невовремя зазвонил телефон. Ксюха раздражённо нажала на красную кнопку и держала её до тех пор, пока он не погас. Испуганно взглянула на Михаила, но он, не обращая внимания на звонок, продолжал:

*...Пионы в клумбе под окном
Благоуханные
Шумят о том, что все мы здесь
Непостоянные.*

*Пионы как в последний раз –
Такие пышные...
Моя последняя весна
Плывёт над вишнями.*

Ксюха первой прервала молчание.

— Почему последняя? Разве ты собираешься умереть?

— Никто не знает свой час. А жизнь и смерть — вечные темы... Гляди вон на то дерево, — Михаил указал рукой на чахленький клён возле подъезда, — видишь, улетел воробушек? Но мы же не грустим об этом, потому что знаем, что он просто перелетел на другое дерево... Так и мы. Просто уйдём в другой мир, туда, где лучше.

— Ты так говоришь, как будто собираешься умереть и меня успокаиваешь!

— Я тебя не успокаиваю.

— А куда ты идёшь?

— В книжный магазин, — печально улыбнулся Михаил.

— А, ну давай, пока, не буду тебя отвлекать, — рассмеялась Ксюха. И напомнима, после непродолжительного молчания:

— Ты же в магазин собирался?

— Да, прощай...

И пока он не свернул за угол, Ксюха провожала взглядом его чёрный плащ. Перед тем как свернуть Михаил оглянулся. Она махнула ему рукой и медленно пошла домой. Возле подъезда Михаила заметила двух темных парней. Кажется, готы. Расслышала обрывок фразы: «У, ублюдок ...» «Интересно, про кого это они», — рассеянно подумала Ксюха.

Хорошее настроение ушло вместе с Михаилом...

* * *

Спустя два дня Ксюха сидела за компьютером и проверяла почту. Сообщение от Игорька! Она нервно поправила волосы, как будто он сидел рядом, а не где-то через много-много улиц, и быстро пробежала глазами по строчкам, поначалу даже не осознавая написанного. «Пытался дозвониться, но твой телефон отключен. В дверь не достучался, где-то шлялась. Мишка уже два дня не приходит домой. Звонки сначала сбрасывал, потом отключился совсем. Когда ты видела его в последний раз? Он ничего не говорил насчёт того, что хочет куда-нибудь уехать?» Ксюхина рука опустилась, и мышка безвольно скользнула со стола и повисла на своём хвостике-проводе. Когда я видела его в последний раз? Ну да, два дня назад. «Пионы как в последний раз, такие пышные...» Потом он поехал в книжный магазин. И не вернулся? Или вернулся, а потом куда-то делся? Не мог он просто взять и куда-то деться, не мог! Это похоже на неё, Ксюху, на бесшабашного Игорька, но не на Михаила! Он побоялся бы огорчить родителей. Значит, с ним что-то такое... Ксюха лазила по джинсам, ища телефон, и никак не могла найти. Блин, вот же он на столе, под самым локтём. Выключенный с тех пор, как какой-то балбес позвонил во время стихотворения. Гудки были долгими, даже более долгими, чем те, которые Ксюха слушала, донимая осенью Михаила.

— Алё, Игорёк! Я последний раз Михаила видела два дня назад, он ехал в книжный магазин. Ведь он в тот день домой не вернулся! Наверное, его убили! Вы звонили в милицию? Его надо искать!

— Да успокойся ты, — голос Игорька и правда был немного поспокойней, чем у Ксюхи, — никто его не убивал, найдётся он. В милицию отец его звонил, там сказали, что тревогу бить рано, просто загулял парень...

— Что за чушь! Козлы! Он не мог загулять!

— Но они-то этого не знают. И не психуй ты так, и без твоих истерик тошно. Мишка ничего такого не говорил, что хочет уехать куда-нибудь?

— Нет! Никуда он не собирался!

— А в монастырь?

— В какой ещё монастырь?

— Разве не знаешь, что Мишка в монастырь мечтал уйти? А родители не разрешили. Не так уж сильно он тебе доверял, если не рассказывал...

— Он бы никогда не уехал без разрешения родителей! Может Михаил доверял тебе больше чем мне, но ты его совсем не знаешь!

— Действительно. Ты не злись, я ведь тоже за него боюсь.

— Его уже убили! Если бы он был жив, он бы вернулся!

— Прекрати пургу гнать! Заткнись вообще, если не можешь предположить что-нибудь путное! Скажи лучше, что он связался с плохой компанией и ушёл в запой! И вообще, мы с Никой собираемся ехать искать его. Вчера весь день обзванивал всех его знакомых, однокурсников, педагогов, надеялся, что хоть кто-то что-то знает. Хорошо, что ты позволила, сейчас поедем в книжный, может, там что-нибудь узнаем. Собирайся, некогда лясы точить, встретимся возле магазина. Светка с Ванькой проводят расследование у него в институте... Давай.

— Ага... — Ксюха машинально сунула в карман телефон и выключила комп. Вылезая из-за стола чуть не наступила на Алёнку, крутящуюся под ногами, но даже не заметила этого.

— Господи, пожалуйста, сделай так, чтобы с Михаилом ничего не случилось, сделай так, чтобы он остался живой, пожалуйста, Михаил же тебя любит, не делай ему ничего плохого, Господи... — Ксюха встала на колени, глядя на иконку Богородицы с Иисусом на руках, стоящую на столе, подарок Михаила. — Господи, я никогда у тебя ничего не

просила, и сейчас не за себя прошу, я знаю, что я скотина, сволочь, я так и не бросила курить, я такая тварь, но, Господи, пожалуйста, сделай так, чтобы Михаил нашёлся, чтобы с ним ничего не случилось, чтобы он был живой, Богородица, попроси, пожалуйста, своего сына, чтобы Михаил был живой, ты же добрая... — Ксюха поклонилась, коснувшись головой пола. Потом ещё раз. Впервые в жизни Ксюха молилась.

* * *

В книжном ничего нового не узнали. Ксюха, Игорёк и Ника принялись тупо лазить по центру и его окрестностям, как будто Михаил мог быть где-то здесь.

— Через неделю иудейская пасха, — мрачно усмехнулась Ника, теребя себя за одну из сорока косичек, — будут жарить лепёшки на крови христианских младенцев.

— Да ну твоих младенцев, ты лучше придумай, где нам Михаила искать, — огрызнулась Ксюха.

— Как это «да ну»? А ты знаешь, сколько детей пропадает перед иудейской пасхой? А ты знаешь, что с ними делают? Им режут вены и выцеживают кровь!

— Девочки, не ссорьтесь, помада у меня, — зло усмехнулся Игорёк. — Поступила гениальная идея. Я собираю всех друзей-товарищей, и мы прочёсываем все нехорошие места — подворотни, подвалы, глухие переулки...

— Так ты сам думаешь, что он умер! — Ксюха перешла на истеричный визг, — а мне врешь, что всё хорошо!

— Да не думаю я так! С чего ты взяла, что я надеюсь найти его труп? Вдруг Мишку избили, и он где-нибудь лежит!

— Два дня?

— Значит два дня, в больницы ведь он не поступал...

— Вас послушать, две истерички. Давай, собирай своих товарищей, я обзваниваю своих, — Ника вытащила из кармана реперских джинс телефон. — Хотя это и глупая идея... Алё, Сева, тут такая проблема... Ты свободен?

Народу пришло человек пятнадцать. Народ разношёрстный — от приличных ботанов до откровенных хулиганов навроде Игорька. Да ещё Светка с Ванькой из Михайлова института ни с чем вернулись. Игорёк предложил разбиться на группы, и вплоть до наступления темноты пацаны и девчонки шарились по городу. Ксюха попрощалась с друзьями Михаила, — обследовать свой район она собиралась в привычной компании. Санёк принял активное участие в этом деле. Позвал Дылду-Коляна, Пашка, Женька, Черепа, ещё некоторых пацанов, и поиски начались. Здесь же был Шома, сосед Михаила по лестничной площадке.

— Ксюх, знаешь, чем он в последнее время занимался? — Шома грустно показал частично выбитые в драках зубы. — Он с готами связался.

— Что? — Ксюха чуть не закричала. — Он? С готами? Откуда знаешь?

— Я его не раз с ними видел. Стояли, что-то обсуждали. Слышал, он говорил им: «Я пойду с вами, если вы пообещаете пойти со мной». Я даже не думал, что он с этими психами может сойтись.

— Какой он дурак... Он их жизни учил, — Ксюха безвольно опустила руки. Поиски продолжались.

— Кто-нибудь из вас, кроме Шомы, знал Михаила? — поинтересовалась Ксюха у своих пацанов, когда обшаривали заброшенный дом в одном нехорошем курмыше.

— Так, видели как-то тебя с ним, — Пашок пнул о саманную стену пивную бутылку. — А ты чо, его девушкой была?

— Нет...

— А я думал, девушка, больно психуешь по этому поводу. Да найдётся он! Ну, загулял парень, с кем не бывает.

— Не парься, Ксюх, — Женёк похлопал ее по плечу, — я с Васифом поговорил, он обещал свои связи подключить. Даже сам удивляюсь, как он за это дело взялся. Кажется, знал его откуда-то.

Михаила не нашли. Назавтра Ксюха в школу не пошла — болели горло и голова. Весенними вечерами отнюдь не тепло, вдобавок свои лимонные сапоги Ксюха промочила

в какой-то глубокой луже. Да и вообще было не до учёбы. Ксюха сидела на кровати и курила сигарету за сигаретой. Позвонил Санёк, поинтересовался, как дела, нет ли чего нового. Ксюха попросила передать в школе, что она болеет, выздоровеет не скоро и, по-быстрому распрощавшись, засунула Алёнку за ворот куртки, поехала к Игорьку. Ему сегодня тоже было не до учёбы. Он распечатывал объявления с фотографией Михаила. «Пропал Михаил такой-то, такого-то года рождения...»

— Ну, крысу-то, зачем притащила? Хорошая, Алёнушка, хорошая,— погладил Игорёк Ксюхину воспитанницу.— Сегодня опять будем по городу мотаться, расклеивать,— Игорёк кивнул на объявления. Ксюха разглядывала комнату, сосредоточенно слушая жужжание принтера. Плакаты с одним Цоем, плакаты с группой «Кино», над кроватью большой плакат, красным по-чёрному «ЦОЙ ЖИВ».

Михаил жив... И почему Ксюха вбила себе в голову, что он умер? Не мог он умереть, не мог! Никто не мог его убить, Михаил же святой, такой, как в храме на иконах.

*И мы знаем, что так было всегда,
Но судьбою больше любим,
Кто живёт по законам другим,
И кому умирать молодым...*

— Заткнись! Михаил жив!

— Что ты психуешь, я же не говорю, что он умер, просто песня такая. Мы с тобой в последнее время только и делаем, что собачимся,— Игорёк выключил принтер и засунул в пакет объявления и тубик с клеем.

— Айда?

— Айда...

— И не нервничай ты так, найдётся Мишка,— успокаивал Ксюху Игорёк, приклеивая на остановке объявление.— Найдётся. Хотя у тебя для нервов причина побольше моей,— Игорёк мрачно усмехнулся.

— Какая?

— Ты нравилась Мишке.

— Что?!!!

— Не злись, просто со стороны виднее,— Игорёк засунул клей обратно в пакет. Глаза Михаила грустно смотрели на Ксюху со столба. По дороге равнодушно сигналы машины.

— Нравилась Михаилу?

Вспомнился тот последний раз, когда Ксюха видела Михаила — весеннее ясное солнце, его печальный взгляд и стихотворение...

Алёнка зашебурилась за воротом Ксюхиной куртки.

— Игорь! Он же в стихотворении писал, что это его последняя весна! Он что-то знал про то, что должно случиться, наверное, ему угрожали ...

— А поконкретней? Он писал, что его преследуют, угрожают по телефону, или ещё что-нибудь? Пойдём пока к магазину, там где-нибудь приклеим.

— Не говори глупостей, это было просто стихотворение, там были строчки:

*Пионы как в последний раз,
Такие пышные,
Моя последняя весна
Плывёт над вишнями...*

Ксюха потопала вслед за Игорьком.

— Он знал, что с ним что-нибудь случится, наверное, его уже нет в живых!

— Как будто я сам так не думаю, Ксюх...— Игорёк грустно улыбнулся,— только зачем это повторять? Так хотя бы какая-то надежда есть.

— Да...— Ксюха готова была заплакать.— И ещё, Игорёк. Он в последнее время готов жизни учил.

— Кого? Готов? С ними-то он как связался? — Игорёк схватился за вихрастую голову и чуть не споткнулся о бордюр.

Ксюха рассказала о встрече Михаила с готами по дороге в магазин. Фразу, услышанную Шомой.

— Ну, Мишка... — Игорёк опустил голову. — Не удивлюсь, если эти сатанисты его куда-нибудь завели.

Закончили расклейку объявлений неподалёку от Ксюхиного района, так что домой она шла пешком.

Глядя на серое небо, скучные вершины многоэтажки, редких суетливых прохожих, Ксюха уже понимала, что Михаил никак не может найтись живым. Что его нет.

— Господи! За что, Господи? Почему ты забрал его, а не меня, например? Господи, если бы он мог вернуться... Я бы не пила, не курила, целыми днями бы в храме торчала, хоть это и скучно, только верни его! Я выкину все сигареты хоть сейчас, только верни...

Ксюха порылась в кармане джинс, вытащила пачку сигарет и безвольно уронила под ноги, прямо в лужу.

«А ведь я стою в этой луже, — удивлённо отметила Ксюха, переминаясь с ноги на ногу. — Совсем крыша едет».

Следующие два дня она жила просто по привычке. По привычке ела, ходила, кормила Алёнку, разговаривал с Ленкой, спрашивала у Игорька, нет ли чего-нибудь нового про Михаила. Даже про курево не вспоминала, как это ни странно. Обычно, когда нервничаешь, хочется курить сигарету за сигаретой. Хотя, действительно, Ксюха не нервничала. Она просто знала, что его уже нет. Он — Там...

* * *

Тело Михаила нашли на кладбищенской свалке. Среди старых венков, хвороста, полу-сгнивших крестов. Нашли какие-то дети. Побежали испуганные к родителям, те вызвали милицию. Как позже узнала Ксюха, у Михаила были перерезаны вены, умер он от потери крови. — Его готы убили, это точняк, — констатировал факт Шома. — Ксюх, ты Васифа знаешь?

— Да, а что? — Ксюха с Шомой стояли посередь двора. Моросил противный мелкий дождь.

— Понимаешь, Васиф мой кореш давнишний. Были у нас с ним дела общие. А Мишку он как-то просил контрольные за деньги писать. Ну, Мишка контрольные ему писал, а денег не брал. Добрый лопух... — Шома закусил губу. — Отдавал контрольную, смотрел на Васифа так грустно и говорил: «Вот, в следующий раз сам напишешь...»

— И что?

— Так вот, Васиф сказал, что чмо будет, если не найдёт тех, кто это сделал.

— Какая уже теперь разница. Ведь Михаила-то нет.

— Завтра отпевание в церкви будет. Васиф придёт тоже, как раз поговорите с ним... Эх, Мишка... Хороший он лопух был, добрый...

— Зато он в рай попадёт, — утешила себя и Шому Ксюха.

На отпевании было красиво. Много цветов, пение хора... Храм был полон народу. Отпевал Михаила отец Сергей, его духовный отец. Все, кто любили Михаила и помогали его искать, были здесь. Плакали Света и Ника, крепился Иван,

Игорёк сжимал зубы, стараясь не заплакать. Васиф стоял в самом конце храма в окружении своих пацанов. Было много парней и девчонок, незнакомых Ксюхе, много людей в возрасте — родственники, прихожане, преподаватели из Михайлова вуза. Стояли среди народа и милиционеры, имевшие отношение к расследованию убийства. Ксюха впервые увидела родителей Михаила. Такие же высокие и светловолосые как их сын, они стояли, держась за руки, время от времени укладывая переданные ко гробу цветы. Когда запели «Со святыми упокой» Ксюхе показалось, что она взлетает, и ей стало легче. Но заплакать она так и не смогла.

Лицо Михаила было возвышенно-красивым. Ксюха даже не думала, что покойник может быть таким. Тем более, что со дня смерти прошло столько дней. Она глядела в его бледное

лицо и думала, что ведь это уже не Михаил, это только его тело, если верить тому, что он говорил при жизни. А сам Михаил где-то далеко. Факт, что в раю.

На кладбище было грязно, моросил дождь. Бросив на крышку обитого чёрной материей гроба пригоршню грязи, Ксюха незаметно отошла и направилась к остановке. Не взглянув на номер, села в раздрызганный скрежещущий пазик и поехала, не зная куда. Вылезла в центре.

Скинула капюшон ветровки, подставляя непокрытую голову дождю и пошла по Советской, бесцельно разглядывая витрины, дома, спешащих куда-то редких прохожих под зонтиками. Нашупала в кармане сторублёвую бумажку, завернула в магазин.

— Восемнадцать есть? — машинально спросила измождённая продавщица и, получив утвердительный ответ, подала Ксюхе бутылку водки. Ксюха сунула её под куртку, взяла сдачу и вышла, громко хлопнув дверью. Свернула на параллельную улицу, в глаза бросилась одинокая мокрая лавочка возле мусорных баков. На ней Ксюха и пристроилась. Неторопливо открыла бутылку.

— Не думала, что буду пить из-за тебя, — усмехнулась Ксюха, задрав голову в затянутое тучами небо, — тебе легко, ты в раю... А мне-то как быть?

Сморщившись, глотнула водки. Пить без закуски было непривычно, но она хотела поскорее одуреть, забыть свою боль, и, сморщившись, судорожно глотала из трясущейся в руке бутылки. Временами Ксюхе казалось, что сейчас стошнит, тогда она начинала быстро-быстро дышать, уткнувшись в мех куртки. Постепенно становилось теплее.

Ксюха потеряла счёт времени, ей казалось, что она сидит на лавочке уже несколько дней. Содержимое бутылки уменьшилось наполовину, дождь не кончался. Ксюха прокручивала в памяти часы, проведённые рядом с Михаилом. Вспоминала каждый его взгляд, каждую его улыбку.

— Господи, почему Ты забрал его? Господи...



Елена
ЕГОРОВА



КАМНИ В ГОР-ЛЕ

Мама плачет

«Родишь ребенка, а он поэт. Ты его кормишь грудью, на руках носишь в туалет, когда у него жар, тратишь на него все деньги и всё свободное время. Мечтаешь, что будет у него школа с золотой медалью, работа интересная, красивый автомобиль, весёлая свадьба, трое детишек и собака. А он вырастает поэтом, и всё у него плохо. И он пьёт горькую и пишет грустные стихи, а тебе уже шестьдесят, и ты уже отдал ему всё, что у тебя было, и больше у тебя ничего нет.

А он пишет и пишет, а ты читаешь и плачешь».

Анна Ривелотт

Родилась в 1993 году в Копейске. Своё детство она называет обычным. Но оно было чрезвычайно наполненным учёбой: общеобразовательная школа, музыкальная школа, танцы, школа искусств, английский, рифмование, пение, игра на фортепиано... И, конечно, книги. Стихи для неё — инструмент познания. Одно из новых стихотворений:

ПЕРЕФРАЗИРОВАННАЯ ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА. ВЕСНА

Крылья не оборвать,
лишь связать на время.
Человек не умеет летать,—
говорят.— Я умею.
Я летал,— говорю.— Я клянусь,
ты поверь мне.
Я замёрз к январю. Ну и пусть.
Отогреюсь.

Мир, как бабочка махаон —
так прекрасен.
Задыхаюсь как прежде в нём,
но от счастья
и от воздуха — нету слов —
голос внутрь
порывается от оков,
крушит утварь

внутреннюю души.
Дышит новым.
Что-то жизненное спешит
в пульсе вольном.
Отпусти,— говорю.—
Полечу вновь.
Отпусти,— я молю.—
По плечу новь.

...
— Я давно вас двоих простил,—
с неба голос добрейший льёт.

— Господи... как я её любил...
как я любил её...

Дочь растёт, становясь упрямей, смелее, старше,
злее тоже. Увы, на советы рукою машет.
И не может быть по-другому. Никак иначе.
Мама плачет.

Дочь пытается, правда, радовать и учиться,
помогать, как может. Жизни с нею не приключится.
Ей, что смерть, что страсть, ну а жизнь — тем паче.
Мама плачет.

Мама моложе не станет, и годы — гады
тянут мамину молодость, дочка рядом
в чёрном плывёт тумане, ломает мачту.
А мама плачет.

Сердце у дочери рвётся на части за сердце мамино,
Сердце у мамы давно на части за дочь упрямую.
Время транжира идёт и чёрных поэтов плодит на сдачу,
А матери плачут.

Матери плачут.
А дети за боль, причинённую мамам,
расплачиваются всю жизнь.

«Бездарные дети, бездарные».
— Да! Бездарные.
Залезьте хоть в одного из нас, говорящий.
В нас так всё заходит удареньями, а вы безударные.
Вы — гниющие. Мы — на огнях горящие.
Есть принципиальная разница, попробуй, ну, разударь меня.
Сударь, мы — поющие. Вы — говорящие.
Вы — кричащие.

Мы — разорванные аорты.
Мы — живые и мёртвые —
И всё равно горящие.

Взгляд вниз с холма

Начало июня 2012

Свободнее птицы вольной,
Свободнее рек и гор,
Лечу я от холма до холма,
Не знаю — куда — до сих пор.

Свободнее грома, молний,
Раската и плеска волн,
Иду я над бездной чёрной
По краю, как дикий волк.

Трава подо мной да камни,
На шее моей ярмо.
Бесследно уйти и кануть
В сей бездне мне суждено,

Наверно. Не утверждаю.
Но небо вокруг, во мне.
И, значит, я выживаю,
Хоть жить мне всего больней.

Или:

Грустно так и нелепо, в день Судный... греховны все... в мыле, как кони, мы.
Лучше быть лишь пустым сосудом, чем горящим в любвище огненной.

Лучше? Или всё блажь и ложь, кроме неё одной, верной до гроба нам.
Вот... по кусочкам её соберёшь, и она зазвенит, словно колокол.
Не то страхом палима скребёт нутро, не то счастьем, которого больше не...
И врезается в кожу/в тебя кнотом... оставляя под взорами каменеть...

То взлетаешь, крыльями... быстро так, словно ранне-бескрылый кудрявый Персей,
На твой век хватает земных Итак... но какое им дело до НАС, Одиссей?!

То пустырь внутри, гниль да гам орлов, и гиены на запах бредут поживиться.

Мы совсем одни в этом мире снов,
Господи!..
кто же будет за нас молиться?...

Итог

11–12.08.12

Кто б подумать мог,
что всю жизнь учась, можно остаться неучем,
что осенние дни со спины подступают, по-лисьему,
что настал тот день, когда говорить стало не о чем,
и не хочется, ибо кажется всё бессмысленным.

Кто б подумать мог,
 что в итоге с тобой никого не останется —
 совершенно не холодно их отпускать теперь.
 Что внутри ничего не колышется и не ранится,
 не горит больше свет, ибо кажется — догорел.

Кто б подумать мог,
 что такой итог,
 кто бы мог в это всё поверить,

Что любить — удел сильных — помни, друг — УДЕЛ!
 Ибо слабые — не умеют.

Не то

С какой-то превеликой быстротой
 Я становлюсь не той собой, не той,
 Которую я раньше признавала.
 И есть любовь, такая же - не та,
 Она наполнена словами, но пуста
 В сравнении, её я не узнала.

И есть друзья, мои, такие, те,
 Но все поддавшиеся той же быстроте,
 Замужние и очень занятые.
 Всё та же жизнь, но всё-таки не та,
 И снова не сказать вам ни черта,
 Как будто разгораясь, все остыли.

И есть мои родные, есть родные, вы,
 Я ненавижу времени обрыв,
 Который нас когда-нибудь разлучит.
 И осознав всё это, не могу я той
 Остаться девочкой усталой и немой,
 И я кричу: «Оставь их мне, постой,
 Я верю, что «сегодня» будет лучше!»

Но ты смеёшься вечный и святой,
 И часики вперёд быстрее крутишь.

С-ума-шедшее

*А с ума можно просто уйти.
 Погулять и вернуться. Когда-нибудь.*

Пароходы кряхтят подошвою,
 Дым вываливая «во вне».
 Ненавижу тебя, хороший мой,
 Ненасытная боль во мне.

Самолёты летают стаями —
 Истребители, что сказать.
 Вот ещё одно небо растаяло,
 Чтобы времечко обуздать.

И пираты пронзают саблями,
Их раскачивают моря,
Я б сказала куда... да надо ли,
Не имеешь ты корабля.

Санитары кричат замасленно,
Чтоб заткнулась, ведь ни гроша.
А мне всё равно, безобразный мой,
Я давно уж с ума ушла.

Const

Когда не осталось внутри ничего?
Когда упустила я сей момент?
Я в этой схеме — пустой элемент,
созданный из Него.

И воздух давит с силой на грудь,
И нет желания — воздышать,
А только куда-то бежать, бежать,
не падая чуть.

Я *моно*^{*}, видно. И *моно const*^{**}.
Спротивляться — двойной удар.
Но я стараюсь, и мой радар
ломает кость.

Теперь бежать — это всё, что есть.
Теперь владею я только этим.
Ведь если не радуют даже дети,
зачем я здесь?

Кому нужна я — «социопат»^{***}?
Фантомную боль берегу в душе,
И если это моё клише —
теперь Он рад?

И если это — моё ярмо,
И если другого выхода нет,
Я рада, что в этот нелепый век
люблю Его.

Не пора ли

Камни, обвалы, озеро, лес сосновый.
В городе мало меня — вся по книжным стопкам.
Я хочу к тому, из чего ты новый
Приезжаешь в вечность, и руки к кнопкам

Тянутся написать живое.
Я хочу гирляндой снег насыпать в ладоши.

* Один (одна).

** Переменная постоянства.

*** Индивид с неспособностью или нежеланием к адаптации в социуме.

Я хочу, чтоб ты навсегда со мною
Там, где озеро, камни, обвалы и лес сосновый,
И такие счастливые мы, и пушистый снег. Хороший,

Не сбывайся со мной ни одной зимою.
Я не там, я в городе книжных стопок
И важных сессий. Не видать нам закат лиловый
Над озерцом. Нам машинных пробок

Насыпает день по карманам будней.
Тянут важно речи профессора.
Рассказать об этом сосновом чуде.
Да кто поверит.

Едва

Ли. Ливень в Москве. Мне вчера сказали.
А у нас нет снега — сплошной тротуар.
Приезжать не нужно. На этом вокзале
Чья-то надежда, в прошлом уже, умерла.

Птицы и камни, озеро с кромкой льда и
Что-то скотчем скрепляет лес этот и меня.
— Мне б туда — ну «в конце концов, не пора ли»?

— Вырасти, выучись, сдай экзамены,
А то всё — он, озеро, лес, снег, два крыла...
«Не пора, моя девочка. Вот поэтому тебе всё ещё не пора»*.

Без сна

Всё что тебе во вред,
Врагу твоему — снедь.
По ночам просыпается бред,
И в привычках уже не реветь.

За окном белоснежный мрак.
Он такой же, как ты - боль.
Я укутаюсь в чёрный фрак,
Чтобы просто молчать тобой.

Грудной клеткой всю боль сжать,
И допить эту ночь до дна.
Мне тобою всю жизнь дышать,
Тебе верить, что я больна.

На рассвете всех дней стог
Нарисует на небе свет.
Я живу тобой лет так сто —
Меня вечно выносит в кювет.

Я всё думаю, как мне жить,
Без тебя; но всегда жива.

* Чёрный блюз (Вера Полозкова).

Можно платье из ночи шить
За всю жизнь, что уснуть не могла.

Боль я кожей зажму в кулак,
Буду нежить её, беречь.
Она главный мой друг и враг,
Она «гений моих не-встреч».

Это ночь для тебя во вред.
Для меня — это мой состав.
Как всегда: говори во мне
И усни, досчитав до ста.

Неудачное признание в любви

Посвящается М. and M. and M. минеральной воде

Не могу я сидеть на стуле, не могу я лежать в кровати:
Мои нервы сегодня в разгуле, им так хочется написать
Величайшее из творений, то ли прозой, а то ли водкой;
Как измазанный пан в вареньях, я измазана в их потоках.

Как измазанный кот в сметане, я словами покрылась с нимбом.
Стул расшатанный я оставлю, и кровать я покину, видно.
Убегу во дворы, в ларьки ли, наберу одуванчиков в руки —
Не видать вам таких валькирий, с львиной гривой, поющих звуки.

Вроде СЛОВО, но не стихи же, так... потоки озёр нездешних.
Ой, возьму-ка я пассатижи, прищемлю себе то, чем ешь ты,
Чтоб не следовать им — словищам, не писать их и не печатать,
Ну а толку: моим любвищам и не спрятаться, и не спрятать

Ни меня, ни тебя. Я чайкой полечу-ка за глином-ТВЕЙНОм,
Может МАРКОм... Но минералку я с лимоном беру, печенью
Набираю (с какого фига?! Не напиток, и не поплакать...
Не затонем мы Атлантидой... Буду мишкой, сосущим лапу.

Ненавижу я вас, мужчины, ненавижу, но обожаю.
Я готова издохнуть чинно, когда вами не выдыхаю.
Я готова издохнуть «птичкой», как сказать-то -ПИАФ-ЭДИТ-НО.
Лишь бы петь вам и спичкой чиркать, когда курите вы элитно.

Лишь бы ваши большие руки согревали любимых ваших,
Лишь бы вам бы не ведать скуки, и не жить бы во днях вчерашних.
Лишь бы были богами нам всем, а любимые вам — богини.
Мы должны быть друг другу — праздник. Друг без друга сгниём и сгинем.

Что-то как-то всё странно вышло, началось же заупокойно?!
А закончилась так — ВСЕВЫШНЕ, и возможно, что по-любовно.

Уже вечер... Ужели? ВЕЧЕР? Уже ночь! И Луна! Не спится...
Я люблю тебя, но не лечит ни один повод-ок напиток.

По тебе я сегодня тоскую, и другие мне незнакомы...
Дай же выпить мне!

...Пью и пью я... минеральную воду с лимоном!



**Ольга
ГРИГОРЬЕВА**



РЕКА И РЕЧЬ

Дождь по лицу наловчился хлестать
Плётками мокрыми.
Здесь они жили, отец мой и мать,
За этими окнами.
Как бы сейчас забежала я к ним —
С воплями, каплями,
Самым непонятым, самым родным,
Самым оплаканным.
В пышную, стройную, строгую ель
Выросло деревце.
Люди чужие живут здесь теперь,
Только не верится.
Глянуть ли в прошлое? Стёкла чисты.
Вот они, рядышком.
Мать молодая стоит у плиты,
Жарит оладушки.
Молча носивший терновый венец
Времени жуткого,
Сидя у печки, читает отец
Маршала Жукова.

Родилась в 1957 году в Новосибирске. Окончила факультет журналистики Казахского государственного университета имени С. М. Кирова. Живёт в Павлодаре, но и омичане считают её своей — Ольга Николаевна часто бывает в Омске; здесь также выходят её книги. А на её счету уже четырнадцать поэтических книг, десять книг для детей. Стихи и очерки Ольги Григорьевой публиковались в журналах «Знамя», «Наш современник» и других.

Ольга лауреат литературной премии имени Марины Цветаевой (2008). Работает в Павлодарской областной газете «Звезда Прииртышья».

Открыто. Стучите

«Открыто. Стучите» — вот надпись на книжном киоске.
Но мимо спешат современники в блеске и лоске.
Важнее всего — что насыпано в личном корыте.
К чему им Платонов и Чехов? Открыто. Стучите.
«Открыто. Стучите» — на совести, вере и Храме.
Но — пьяны и сыты, и музыка глушится в храпе.
Какие убожества ныне сияют в зените!
Они и читать не умеют... «От-кры-то. Сту-чи-те».
Открыто. Стучите. Лишь руку поднять, постучаться.
Жующим животным не стать. Человеком остаться,
Пока не повесил Господь на картине распада
Табличку: «Закрыто навеки. Стучаться не надо».

Летоход

Весноход, летоход, зимоход...
Кто сказал, что таких не бывает?
Каждый месяц, как льдина, плывёт,
В дымке памяти тонет и тает.

Точно так, как весной ледоход —
Неизбежен, стремителен, краток,
Наших лет человеческих ход
Превращается в лёгкий осадок.

Жизни вечный девиз: «Всё пройдёт».
Обижаться на это нелепо.
В тихой глади разлившихся вод
Отразится бездонное небо.

Ветер с запада, солнце с востока,
Ослепительность майского дня.
Жарко. Зябко. В толпе одиноко,
И никто не поддержит меня.

В нашей жизни намешано столько..
Но душа благодарно дрожит.
Ветер — с запада. Солнце — с востока.
Посредине Россия лежит.

Овечкино

Что ты всё про высшее да вечное,
В паузах о трудностях бубня..
Жил бы ты на станции Овечкино,
Я бы посмотрела на тебя!

Утром печь топить, почти остывшую,
А потом — на речку, за водой.
А сугробы, друг мой, вровень с крышами —
Ты сперва калиточку отрой!

Лес шумит вокруг — сосновый, лиственный,
И закаты — чудо хороши!
А вопрос стоит один, единственный:
Как по-человечески прожить.

Если есть на свете что-то вечное,
Было и останется вовек —
Это снег на станции Овечкино,
Тихий, мерно падающий снег.

Сон пополудни

О, как жестоко усыпляют будни!
Уснув однажды летом пополудни
Смешливой женщиной,
 в расцвете сил и лет
Проснувшись, увидала: день всё тот же.
Но где моя причёска, свежесть кожи?
Халатик новый, бабочка, букет?
Их нет.
Но то же, то же, то же,
 то же лето!
Лишь почему-то повзрослели дети,
Зачем-то поразъехались — Бог весть.
Сон, обморок, провал...

Годам не верю.
 Приснились и любви, и потери.
 Приснилось счастье, что, наверно, есть.
 Не здесь.

Девочка, женщина...

Я себя чувствую рядом с тобой маленькой девочкой.
 Можно уткнуться и плакать в большие ладони твои.
 Я себя чувствую рядом с тобой тоненькой веточкой,
 Цветом, хвоинкой на дереве вечном любви.
 Я себя чувствую рядом с тобой маленькой женщиной,
 Слушать готовой вечно твои слова.
 Сбудется всё, что судьбою для нас обещано.
 Сбудется всё, и я окажусь права!
 Я себя чувствую без тебя бабушкой маленькой,
 Брошенной всеми, забытой, совсем седой.
 Слабенькой и беспомощной, старенькой-старенькой,
 И не желающей ничего, был бы покой...
 Но ты возвращаешься вновь — и куда ты денешься!
 И исчезают возраст, слабость и груз обид.
 Болтая ногами, виснет на шее твоей

девочка.

И на подушке твоей так сладко

женщина спит...

Переводчик

С головой накрывает невидимая волна,
 И не важен убогий быт или свет тусклый,
 Ведь поэзия — перевод с Божественного на
 Русский.
 Кто впервые сказал об этом — Бог весть.
 Может, это умная мысль, может — ересь.
 Но пока хоть один переводчик на свете есть —
 Человечество не погибнет,
 Надеюсь.
 Слушай Голос, и не придумывай ничего.
 Подбирай слова, учись, доходи до сути.
 И не мни себя автором. Все мы только Его
 Слуги.
 Но когда однажды, рассекая веслом волну,
 Увозя меня в никуда, седой перевозчик
 Будет требовать плату, я ему протяну
 Пару строчек.

Старые игрушки

Наверное, тех лет не будет лучше —
 Мальчишки с нами, молода сама...
 Перебираю старые игрушки:
 Машинки, куклы, лодочки, дома...
 Их оживляли детские ладошки,
 Им придавая ценность, вес и смысл.

И ничего, что нет хвоста у кошки,
А старый клоун одноглаз и лыс.
Не знаю, право, что мне с ними делать.
Мне жалко их, но захламляют дом...
Всё выбросить? Или отдать соседям?
Или оставить внукам — на потом?
...Теряются наивность, свежесть, резкость,
Пустеет жизни детский уголок.
Когда из мира исчезает детскость,
Становится он скучен и жесток.
Как будто Тот, кто в нас вселяет души,
Дарует разум, сводит ли с ума —
Перебирает старые игрушки:
Людей, машины, лодочки, дома...

В автобусе ночном

О, русская земля...
(«Слово о полку Игореве»)

«О, русская земля, уже ты за холмом...»
В автобусе ночном не дремлет, не спится.
Здесь, за границей — кров. Здесь, за границей — дом.
Здесь жизнь мою навек пересекла граница.
О, русская земля, ты мне родная мать,
Но горечь и печаль намешаны с любовью...
Как ты легко смогла детей своих отдать
И быстро позабыть оставленных тобою.
Князь Игорь не придёт... О, русская земля!
Удельные князьки вершат дела поныне.
Не знаю я теперь, где Родина моя.
Мне всё равно, где жить. Я всюду на чужбине.
И там, где сердцу быть, стоит горячий ком.
Но паспорт погранцу я отдаю послушно.
О, русская земля, уже ты за холмом...
Всё так же велика. И так же равнодушна.

Молога

*В апреле 1941 года воды Рыбинского водохранилища
затопили старинный русский город Мологу.
По преданию, 294 жителя ушли под воду,
не желая покидать родные дома...*

...И о чём они молили Бога,
Уходя под воду в жуткой тьме?
Атлантида русская — Молога
Иногда ночами снится мне.
Снится мне — я с теми погружаюсь,
Кто себя к воротам приковал,
И волной захлёстывает жалость
К этим людям, избам, куполам.
Говорят, что это миф и сказка —
Мол, послушен был простой народ.

Но по Волге плавать здесь опасно,
 Вас Молога в гости позовёт.
 Там сидят за самоваром люди,
 И в графине водка, как слеза,
 И осётр на деревянном блюде
 От восторга выпучил глаза.
 И любили, и ходили в гости,
 Звал на службу колокольный звон...
 Но размыты кости на погосте,
 Потому что дно морское он.
 ...Так и ты, в своём оставшись веке,
 Строишь снизу, как по глади вод
 В роскоши, невежестве и неге
 Новое столетие плывёт.

Облако

О, разница меж сутью и наружностью —
 Шутливая загадка бытия...
 Вот облако с его летучей сущностью.
 Вот облако. А может, это я?
 Вот женщина — поникшая, усталая,
 Несущая, как горб, заботы дня.
 Ах, Боже мой, когда такую стала я?
 Вот женщина. Но разве это я?
 Я облако! Я дерево! Я девочка!
 Я мысль и чувство. Музыка. Строка.
 И времени сказать на это нечего:
 Оно не властно надо мной пока.

Светилось...

Ты всё позабыл. Но, наверное, вспомнишь однажды,
 Что тело светилось, как на полотне Караваджо.
 И были в свечении Божии чудо и милость.
 Ведь не было света, а тело мерцало, светилось.
 Ты всё позабыл. Ну а я позабыла давно.
 Никто не ценил безумную щедрость подарка.
 Какие нам бездны, какие высоты открылись!
 И наши тела, словно свечи, струились, светились...
 Зачем это было, зачем нам дарилось, не знаю.
 Я помню, я помню! Уже двадцать лет забываю...
 Стокнулось. Замкнулось. Сомкнулось. Спаялось. Разбилось.
 Но всё же — сбилось. Состоялось. Светило. Светилось...

...Незатейлива
 Этой беседы нить.
 — Кем работаете? –
 Спрашивают всерьёз.
 Я работаю
 Кнопкой компьютера «сохранить».
 Я в стихах сохраняю всё.
 Даже ваш вопрос.

Мне всё труднее говорить на человечесьём.
 Легче — на облачьём, птичьём, речном и вечном.
 Лучше молчать и молча общаться с Богом,
 Чем вот на этом — мещанском, скупом, убогом...
 Болит душа за сыновей...
 Болит душа за сыновей,
 Хотя благополучен вид.
 Чем старше, тем болит сильнее.
 Чем дальше, тем сильнее болит.
 Зигзагом, молнией, стрелой
 Летела жизнь — то мрак, то свет.
 Но сыновья мои — со мной,
 Роднее их сердечек нет.
 Век всё безумней и странней,
 Как перед гибелью, затих...
 Болит душа за сыновей -
 И за своих, и за чужих.

Ночь на Иртыше

Нужно жить. Нужно плыть.
 И грести — хоть изредка.
 Посмотри-ка вокруг:
 тишь да благодать.
 Самых крупных цыплят
 из ночного выводака
 Эта квочка-луна вывела гулять.
 Ты весло не бросай —
 сносит по течению.
 Подпоясалась ночь кушаком зари.
 И стоит над водой синее свечение:
 То ли свет от небес, то ли — изнутри.
 Спят во тьме берега,
 спит страна великая.
 То ли ночь, то ли век—
 всё плывём, плывём.
 Отпустила нас жизнь,
 да опять окликнула.
 Догребём до утра,
 ежели вдвоём.

* * *

На разрыве, на пределе,
 В суматохе, в суете,
 Пробежали, пролетели...
 А сегодня мы не те.
 Не стальные наши жилы.
 Нужен кто? — Найдётся сам!
 На излёте, на доживе —
 Как Платонов написал.
 Но ещё трепещет, бьётся

Слева птенчик небольшой,
Тот, что музыкой зовётся
И надеждой, и душой...

*За этот ад,
За этот бред,
Пошли мне сад
На старость лет.*

М. Цветаева

...И Он послал — не сад, сосновый бор,
Где сосны неумолчные шумели
О вечной, тёмной, тёплой колыбели,
И был не страшен этот разговор.
Лишь потому, что всё перенеся,
Прочувствовав и время, и пространство,
Я поняла, что всё-таки нельзя
На эту землю дважды возвращаться.
И, лёжа между сосен в гамаке,
В раю июльском, чуть не настоящем,
Отправиться готова налегке
Вослед за лёгким облаком летящим...
Цветаевскому голосу вослед
Горячий ветер памяти уносит.
Забывать, как сон, земные ад и бред.
И помнить только запах этих сосен.

ОТКЛИК

...Но пройдёт ли голос тонкий,
Вздоха лёгкая струя
Через эти переборки,
Перепонки бытия?
Иль останется навеки,
Как смешной домашний гном,
В этом доме, в этом веке,
В этом городе родном?
Может, всё-таки услышат,
Может, всё-таки прочтут...
И полюбят, и напишут,
И на помощь позовут.
Ведь важней всего — как воздух,
Печка лютою зимой,
В чьих-то душах просто отзвук,
Просто отклик, Боже мой...

Я была другой, не такой, как все —
Букой, недотрогой...
Помолиться Богу на ночном шоссе.
Помолиться Богу.

Пролетела жизнь в глупой суете,
Позабылись лица.
Помолиться Богу в этой темноте,
Просто помолиться.
Отвыкай от всех, но — не торопись —
Нежно, понемногу.
Бесконечен путь,
Да конечна жизнь.
Помолитесь Богу.

Летом не бывает чисел...

Дождь сверкает, будто бисер,
Миллионы вялых пуль.
Летом не бывает чисел —
Помнишь август иль июль.
Облако античной лепки,
И — кольчугой — рябь реки.
Это памяти зацепки,
Это времени толчки.
Летом числа тают, гнутся,
Как с мороженым брикет.
Не успеешь оглянуться —
Вот и август. Лета нет.
Числа явятся зимою,
Гордо встанут в полный рост
Вереницею немой,
Лёгкой лестницей до звёзд.
Посчитает числа эти
Грозный холод-государь...
Но — нахлынет снова лето,
И расплавит календарь!

Какая рябина...

Какая рябина стоит, посмотри,
Подарок осеннего ясного дня.
Наверное, пламя бушует внутри —
На ветках горят поцелуи огня!

Какая рябина! Сосуд расписной,
Живительной влаги изящный кувшин.
Для птиц улетающих — терем резной,
Для вольных художников — символ души.

Какая рябина... Раздолье дроздам!
Разгул! Пированье! С осенним дымком...
Я эту рябину зиме не отдам.
Тебе подарю — вместе с этим стихом.

Река и речь

Что нужно мне ещё, жива пока,
Чтоб душу живу в суете сберечь?

Чтоб за окном моим текла река.
Чтобы во мне текла родная речь.

Какое счастье — жить на берегу
И отражаться в утренней реке.
Какое счастье — говорить могу
И думаю — на русском языке.

Словарь у наших предков был — «речник».
Реченье, речь, речной — так корень схож!
У Иртыша или у полки книг —
Там, где Река, всегда меня найдёшь.

Из золотого кувшина

Из золотого кувшина,
Из круглого его горлышка
Льётся, плавится золото,
На Иртыше — полоса.
И кажется, что возможно
По ней добежать до солнышка,
Но — горячо, и боязно,
И слишком спит глаза.
От золотого кувшина
Оранжевый свет над нами.
Иртыш золотыми нитками
В проймы моста продет.
И у детей играющих
Нимбы над головами.
А у бегущих взрослых
Их почему-то нет...
Позавчера тебя не было.
Вчера ты был глупый, маленький.
А нынче — уставший, сгорбленный,
Под грузом седин, морщин...
Остановись, прислушайся!
Время смакуй по капельке!
Пока ещё длится вечер.
Пока ещё цел кувшин.

Сад на закате

Чудо и радость — осенние радуги.
Капли дождя, как жемчужины слов.
Щедро по даче рассыпаны яблоки
Символом наших ненужных трудов.

Мы раздаём их мешками, авоськами,
Так же, как книжки — родным и друзьям.
Сочные, спелые, только неброские...
Вы приходите, задаром отдам!

Разве сравнится с торговцами резвыми
(Вот уж где яблоки — глянец и блеск!)

Тихое слово, душа и поэзия,
Сад на закате, светящийся весь.

Спасибо Тебе

Падал снежок, были леса раздеты,
Но на пригорках апрель рисовал траву...
Господи, спасибо Тебе за это —
Что родилась я и до сих пор живу.
Дом деревянный. Детство в солнечном свете.
Первые сказки. Первых стихов тетрадь...
Господи, спасибо Тебе за это —
Что у меня такие отец и мать.
И приходила любовь, и рождались дети.
Счастье: была любима, была — одна...
Господи, спасибо Тебе за это —
Ты в моей жизни всего отпустил сполна.
Знаю, когда-нибудь, в середине лета
Вдруг остановится вечное колесо.
Господи, спасибо Тебе за это.
Господи, спасибо Тебе за всё.

Ура, Урал!

«Ура, Урал!» — воскликнул Арагон.
И я кричу «ура» ему вдогон,
Кричу, ору, пою, не уставая.
Он излечил от хвори и хандры,
И свежи чувства, и глаза остры.
Ура, Урал! Ты видишь — я живая!

Ты выпрямил, ты хвоей надышал,
Ты показал историю, Урал,
Как будто мной период этот прожит.
Ты подарил кусочек горных сил,
Сваял, слепил, в дороге закалил —
И прочным оказался этот обжиг!
Теперь любое горе — не беда!
Я загадала, что вернусь сюда —
И в речку угольком звезда упала.
Душа России ты, а не «хребет»!
Горит монастырей нетленный свет
В немеркнущем созвездии Урала...



**Александр
ПОПОВСКИЙ**

ГЛАВНОЕ ОСТАНЕТСЯ ЗА СКОБКАМИ

Половодье

«Для меня поэзия — высшая форма литературного творчества, отдушина, спасательный круг, личный психолог. Я чувствую себя вечным учеником, идущим по пути познания и самосовершенствования. И, как бы кому-то это не показалось странным,— ничуть не стесняюсь такой ситуации. Я научился использовать паузы, которые преподносит жизнь, для того, чтобы с трепетом почитать стихотворения талантливого автора или что-то самому сказать, когда под рукою оказывается белый лист».

Когда остатки поделили
поровну —
Достали стратегический запас.
Паленой водкой
падший ангел ворону
Выклёвывает печень —
третий глаз.
Со стороны —
солидная компания —
Не то, что в подворотнях
алкаши.
И сторож выпроваживать
из здания
Тандем на свежий воздух
не спешит.
На дружеской волне,
собравшись с силами,
Они о чём-то важном говорят.
При этом так размахивают
крыльями,
Что, кажется, немного —
и взлетят.
Сметут преграды,
скроются за тучею,
Где обитает тишь да благодать.
Им нужен компас —
третий в данном случае —
Дорогу до калитки показать.

Бурлит село, всюю ревьёт в овраге
Взбесившаяся талая вода.
И брага подпевает ей во фляге,
Поскольку скоро празднеств череда.

Бетонный мост снесён наполовину —
Нет связи с внешним миром. Вот дурдом —
С утра не подступиться к магазину,
Хотя на полках — покати шаром.

И мама в сотый раз крахмалит скатерть,
Пока соседка говорит о том,
Что крашенные яйца председатель
Колхоза дома кушает тайком.

Что так себя вести не слишком честно,
Что разразит его священный гром.
Я слушаю — мне страшно интересно —
Я жертвую галантно сладким сном.

* * *

Виталию Ляшенко

Поочерёдно становлюсь на пятки —
Так меньше раскалённый жжёт песок.
Сжимаю зубы — будет всё в порядке,
Осталось только потерпеть чуток.

И в продолженье безрассудных шуточек,
Как будто насаждают мне «на хвост»,
Иду по полю, где число колючек
Гораздо больше, чем на небе звёзд.

Прокладываю босиком фарватер,
Попутно, в абсолютной тишине,
Пацанский демонстрирую характер,
Лишь пот холодный льётся по спине.

Десяток глаз — придирчивых и строгих
Усердно контролирует мой путь —
Дорос ли до команды «босоногих»?
Туда за ломоть хлеба не берут.

* * *

На подоконнике лампа —
Лучшая в мире приманка.
С крыльями сунешься — амба,
Или планида подранка
Ждёт — до скончания века
Приступы жуткой печали,
И препиранья в аптеках:
«Вы здесь, милоч, не стояли!»

* * *

Тут и впрямь что-то делать пора,
Чтоб исчезло жужжание в ухе —
Перешел путь-дорогу с утра
Ненароком назойливой мухе.

И к тому ж — отмахнулся рукой
Без почтения — думал — цветочки.
А теперь сожалею — на кой
Сам себе преподнёс заморочки.

Спать, пить, есть и т. д. — не могу.
В холодильнике киснут напитки.
Пожелать жизнь такую врагу
Не выходит и с третьей попытки.

Вот зараза — бездействует бес —
Чтоб ему было пресно и пусто.
На всю громкость включил полонез —
Да поможет мне сила искусства!

* * *

По волнам белоснежных ступеней
На меня снизошло вдохновенье.
Я не слушал ни чьих наставлений
И творил на своё усмотренье.

На стекле завитушки царапал.
Чудеса проявляя терпенья,
Не швырял неудачные на пол —
Пусть живут и не знают паденья.

Рядом — боги горшки обжигали —
Через раз получались шедевры.
Оказалось — у них не из стали
Благородной сработаны нервы.

Как всегда — приберут черепушки,
И с издёвкой меня непременно
Оттеснят от дубовой кадушки:
«Марш домой, желторотая смена!»

* * *

По свету помыкался. И в закутке
Сыскалось укромное место.
Нахально козявка ползёт по руке —
Без риска ей — неинтересно.

Куда же моя несусветная прыть
Бесследно навеки исчезла?
И Муза не в силах меня вдохновить —
Покинуть холёное кресло.

Не может воздействовать даже родня —
Слова их, что в лоб мне, что по лбу.
Я жду со смирением судного дня —
Как быстро закончился отпуск.

Не радуют — шелест журнальных страниц,
Брикеты язвительных строчек.
Отныне я буду не сказочный принц,
А падкий до лени рабочий.

* * *

Пылится зонтик в гараже —
Перед грозой я безоружен.
Все хорохорюсь, но уже
Реально никому не нужен
Мой неуместный эпатаж.
Пора, без белого каленья,
На свалку выбросить багаж
Такой, а вместе с ним — сомненья.

Пуститься тут же наутёк,
Ругаясь бранными словами,
Пока стремительный поток
Не вымыл почву под ногами.

* * *

Летят в силки моих усов
Снежинки. От восторга — вою.
И битый час с нуля часов
Ношусь я с этой красотой.

В глазах невероятный блеск —
Мне мнится жизнь иного толка.
И нет отбоя от невест
По обе стороны посёлка.

* * *

Скрываюсь от вывертов ветра.
Иду на любые ловушки.

Печально — на сто километров
Вокруг ни одной остановки.

Пророчит мне чувство шестое —
Он вряд ли утихнет под утро.
И днём не оставит в покое.
Не степь, а какая-то тундра.

Становятся волосы дыбом,
И сердце трепещет, как птица.
Ну, ангел-хранитель, спасибо
Тебе за возможность взбодриться.

* * *

Проблему не отдал на откуп —
Не пью по утрам Божоле.
Моею рукою чечётку
Похмелье не бьет на столе.

Не числюсь безрогой скотиной.
Читаю, уткнувшись в тетрадь,
Стихи свои — явки с повинной —
Попытки сыр-бор оправдать.

Десяток-другой закорючек,
Но сколько ж положено сил!
Кольцом, из непишущих ручек,
Культурно себя обложил.

Наполнил посудину с гаком —
Сок сладкий, аж тает во рту.
И осы готовы к атакам —
Ждут сверху команды: «Ату!»

* * *

Я связан по рукам и по ногам
Системой пут и кандалами долга.
Читаю то вздохом, то по слогам —
Ломаю весь уклад на книжных полках.

Все важное оставил на потом —
Жизнь коротка и мало что успею.
Ношусь с пушинкой, за нее радею,
И ею прикрываюсь, как щитом.

* * *

Моя судьба меня подстерегла
И вытасила при честном народе
За шиворот из тёмного угла
На Божий свет, к неведомой свободе.

Мне был не нужен даже за гроши
Сей поворот — на вид довольно жалкий.
Я упирался фибрами души —
Ведь ничего не делал из-под палки.

Грозился пальцем, вслух протестовал —
Сопrotивлялся, в общем, произволу.
И против ветра что есть сил плевал.
Не обвинял, пожалуй, только школу.

И ликовали все мои враги —
Кромсали смехом душу по живому...

А встал бы как всегда не с той ноги,
И жизнь пошла, быть может, по-другому.

* * *

От пункта Б дошли до крайней точки,
Где изменить маршрут уже нельзя.
Выказываем радость по цепочке,
Что нам досталась общая стезя.

Боготворим одни и те же стены.
Подумать только — двадцать первый год
Мы учимся с успехом переменным
Вдвоём предохраняться от невзгод.

Строчим наполеоновские планы
На день, на два, на три. Из добрых чувств
Никто не предлагал небесной манны
Хотя бы раз попробовать на вкус.

Пытались то и дело огорошить
Проблемами. И лиц меняя вид,
Краснели щеки от тяжёлой ноши,
Нас погружая в коллективный стыд.

* * *

Сдаю свои позиции —
Сплю на полу холодном.
И мне перед столицею
Немного неудобно:

Посередине комнаты
Тряпьё вместо матраца.
И стул с обшивкой порванной,
Как все работы Гамбса.

Я выгляжу раздавленно.
Нет никаких условий.
И Киса Воробьянинов
Моей желает крови.

* * *

Шерсть дыбом на спине.
Лицо от злости потное.
Не улыбайтесь мне,
Я — хищное животное,

Причина всех икот.
Вас, будь оно неладное,
До ручки доведёт
Когда-то чувство стадное.

И если не судьба —
Во мне бытует мнение —
То даже худоба
Не повод для спасения.

МОНОЛОГ

Ты не умеешь с наскока —
Не всемогущий кудесник.
Хочешь мгновенного прока
То — постарайся и тресни.

Или — разбейся в лепёшку
До назначения пенсии.
Но не бросайся на кошку
Чёрную, с кучей претензий.

Всё замечаю подспудно.
Вижу ещё о-го-го!
На горизонте безлюдно,
Можно сказать, никого.

Пусто на западном склоне.
В принципе, ясно без слов —
Нечего тут посторонним
Наших кормить комаров.

Только следы от ботинок
Всюду на влажной стерне.
Может, в союз невидимок
Нужно податься и мне?

Сразу исчезнут интриги
И одолеет тоска.

Буду дочитывать книги,
Строить дворцы из песка.

* * *

Рябит в глазах от пуха тополиного.
Не крайняя нужда, а жизнь заставила —
На шаг опережать себя любимого,
Чтоб исключенья выдавать за правило.

Все домыслы досужие развеяны.
Со временем и мне приходит в голову,
Что выгляжу слегка самонадеянным,
Перебегая на другую сторону.

* * *

Весь народ у книжной лавки
Взмок от страсти и дождя.
Я распят в безумной давке
Без единого гвоздя.

Будоражат всех сомненья.
А за каменной стеной
Вновь кончаются творенья,
Как всегда передо мной.

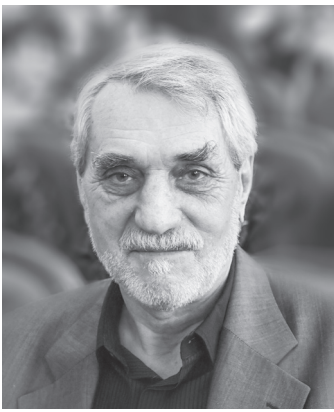
Я понуро с белым флагом
На поклон иду к судьбе.
И теряю — шаг за шагом —
Уважение к себе.

* * *

Силенки уже на исходе.
Весь мокрый от быстрой ходьбы.
Еще — по ненастной погоде,
Бежать от никчемной судьбы.

Петлять впереди таратайки,
Горланя:
«Спартак — чемпион!»
И прятать в отцовской фуфайке
На водку заветный купон.

Весны отошедшие воды
Мутить тополиным прутом.
И тяжкое бремя свободы
Встречать с перекошенным ртом.



**Александр
МИШУТИН**



ЯСНЫМ ДНЁМ, ЗАРЁЙ ВЕЧЕРНЕЙ...

• Повесть*

С ЯСНОГО НЕБА

«Поэзия — это мысль, густо замешанная на эмоциях. Точнее: концентрированная, эмоционально насыщенная... Разумеется, при наличии первичных признаков поэзии: размер, ритм, рифма.

Кипящая мысль, помещённая в ту или иную поэтическую форму, может и не вписаться в неё, и тогда она выплёскивается, ломает форму. Мне нравятся эти неправильные выплески. Оттого — сонеты, раёк, акrostих, изостихи и разные их сочетания. А в повести „На золотом краю России“ стихи вмонтированы как поэтическая, эмоциональная иллюстрация к прозе.

Склоняю голову перед профессионалами поэтического труда, которые кроют строку по собственной воле, умеют, как актёры, „завести“ себя психофизически и довести мысль до „кипения“.

Мысль пришедшая может быть неожиданной или наоборот: давно меня иссушающей. И тогда подступает просто физическая необходимость освободиться, отвязаться от этой мысли. И начинается: „изводишь единого слова ради...“ Но зато потом может быть наслаждение от результата. А может и не быть.

Я по своей натуре ленив, и проза для меня — каторжная работа, всегда трудно даётся. Со стихами меньше мороки, вернее — короче эта морока: написал — и гуляй, Мишутин! А проза — как бурлаки на Волге, да ещё вверх по течению: долго, изнурительно и лямку не бросишь — ведь сколько уже сделано. Зато и радость в конце пути пропорциональна затратам. Хотя и не надолго...

Радуга выкатилась праздничным подарком, закольцевав землю с небом, а Крутоярово со всем остальным миром. Всё ненастье, с градом и ветром, ушло через радужные ворота в другие края и веси. Радуйся солнцу, пахарь и майскому дождю. Три весенних дождя, как три награды для хлебороба.

Только хлебороб не рад, а печален, и тащится по раскисшей земле, по выбитой градом озими к зеленеющей полоске поля. «Господи! Помилуй мя! Неужто?...» За проливной завесой града и дождя не всё увиделось сразу. А оно — вон как: полосой прошёл град. Отгрыз себе ломоть от озимой пшеницы Погореловых, как ордынец свой ясак, и ушёл в Дикое поле, нахлебник и разоритель.

И снова заплакал Гаврила. Упал на шёлковые зелены, обнял землю и заплакал: «Спасибо тебе, Господи! Спасибо тебе, вседержитель и спаситель!» Ещё бы! Где найдёшь сейчас семена на пересев? Да и потом: озимая пшеница — не чета яровой. Она — ранняя, дорогая, доходная. Ведь сколько в неё уже вложено: тройная вспашка, унавоженная земля, вымоченное в специальном растворе зерно... И вдруг... Благодарствую, милостивый: увидел и отвёл беду.

Гаврила встаёт грязный, счастливый и идёт к началу поля. Как у других? Кого зацепил град? Когда печаль на всех — одному легче. На миру и умереть не страшно, а уж перебедрать вместе... Посветлело на душе, и о других стал человек думать.

— А где Емельян? — спрашивает он у Даши.

Даша уже поняла, что о причине её слёз отец не догадался, принял за сочувствие себе; уже успела привести свою душу в порядок и равновесие.

— На картошке, ждёт.

— А почему? Что...

— Ладно, ладно. Я торопилась. Я поехала.

Даша садится на мешок, брошенный в телегу:

— Поехали, Бублик!

— Я — тоже, говорит Данька и забирается в телегу к Даше.

* Вниманию читателей предлагаются шесть фрагментов произведения.

— Ты останься! Что вам там втроём делать? Сохи завтра забираем.

Вот за это, спасибо, папаша, думает Даша. Что же я, бесноватая, наделала? Куда он сейчас? Как он там? Уж извиняйте девку-дуру! У кого жена прямая, у меня — горбатая...

Она увидела Емельяна идущего по дороге к селу. Догнала, остановила Бублика.

— Садитесь, Емельян Баткович!

У Емели под мышкой мешки из-под картошки, он хмур, несколько секунд размышляет и садится в телегу.

— Еремеевич.

— Что?

— Емельян. По батюшке — Еремеевич.

— Емельян Емере..., Емельян Еме..., — Даша сбивается и неожиданно заливисто смеётся. — Садись, Емеля, моя потеря! Так лучше?

Теперь и Емеля улыбается.

— Ты — как жаворонок, — говорит он, — звонкая.

— Так бери меня, для тебя петь буду! — и, заметив, что Емеля нахмурился, добавила, — всё, всё. Не буду.

Емеля забирает вожжи у Даши:

— Не гоже так: баба правит.

— Так — правь! — со значением говорит Даша. — Бери вожжи — и правь!

— Куда? — спрашивает Емеля. — Домой?

— Нет, Емельян Еремеевич. Папашу с Данькой заберём.

А дома, во дворе, когда распряглись, напоили коней и задали им овёс, Емельян и бухнул, как обухом:

— Отпустите меня, Гаврила Пантелеевич.

— Да может пообедаете с нами, — не понял Гаврила.

— Да, нет, благодарствую.

— Щи зелёные: с молодой крапивой и щавелем, — услышала разговор Аграфена.

— Нет... я... — не знал Емеля, как выйти из затора. — Я не об... том... Работать... не буду.

До Гаврилы, наконец, дошёл смысл отказа Емели.

— Тебя, что — градом прибило?

— Гаврила Пантелеевич, ну что вы... Сев закончился...

— А мы как договаривались?

— Ну, договаривались...

— В этом году мы отсеялись, как никогда рано. Мы забыли о том, что град в наших краях — через год. В прошлом году его не было.

— Гаврила Пантелеевич!...

— Нет, ты слушай, Емеля, моя неделя! Град ещё придёт и не раз. И если сейчас озимь не побил, то потом будет ещё жальче. Надо сейчас под пар гнать землю, готовить. А не осенью. Неизвестно, сколько пересевать придётся. Где брать семена? Где брать деньги?

— Не невольте, Гаврила Пантелеевич. Вспахку вы и сами проведёте своей чудо-сохой, вон сколько дней впереди. А то, что летом градом побьёт, то не поправить. Не дай бог, конечно.

Емеля перекрестился.

Прав Емеля. Сколько ты, Гаврила, не горячись — прав он. Успокойся. Баню готовь.

— Что делать будешь? — спрашивает Гаврила.

— Земство школу затевает построить здесь. Вот, каменщиком пойду.

— Я не могу с тобой расплатиться сейчас, ты понимаешь?

— Понимаю, — говорит Емеля. — Я не тороплю. Не поминайте лихом.

И — пошёл.

— А может, баньку, а?

Емеля не обернулся.

Баня сегодня долго не набирала жару.

А в избе, в девичьей комнатке, Даша долго душила подушкой свои рыдания.

Господи, помоги людям...

ВИСОКОСНЫЙ МАЙ

Человек, как гармошка: и звонок, и светел при хорошей погоде. А попади влага на лады, отсырей инструмент — всё: звук хрипит простужено, басы западают, и никакого звона и лада — сипит и плачет инструмент. И погода давно установилась, и подсушили-отогрели меха — ан, нет: ещё долго болеет и приходит в себя гармошка.

И человек — так же. Застанет его беда врасплох — расклеется, начнёт напрягаться, сдерживать себя, тратить неистово. Уйдёт напасть, а ему ещё сколько времени приводить себя в порядок. И не дай бог, чтобы снова какая-нибудь... неожиданность — всё: пропадёт человек и надолго. Он теперь полжизни будет оглядываться на беду, искать её, чтобы не попасться врасплох — и будет находить, и тратить себя попусту...

Гроза так и настроила крутояровцев. Не только у Погореловых град посёк зелень — у многих и поболее. Неправильно так говорить, но одно, слава богу, хорошо: ни у Кулыгиных, ни у Клюкиных большого урона нет. Точнее — никакого урона. А они, ведь, не чужие Погореловым. Поэтому и «слава богу».

Покинул Погореловых батрак Емельян и Гавриле осталось сделать то, что осталось: лён, греча.

Лён нельзя сеять после дождя или в сушь. Вот и выбирай-жди для него, капризного, погоду. И нашлось пару деньков вскоре после грозы. По утрам, да ввечеру — не по горячему дню — и разбросали семя.

Это только говорится: осталось под пар землю вспахать. А на самом деле — вот и лён остался недосеянным, и гречку ещё (на картофельной полосе оставили место) заронить надо, учитывая норы того и другого семени. Ведь работа будет зряшной, или гречиха поднимется большой, если посеять её не в тихую погоду, или не при южном ветре. Вот ведь как! Вот и посеяли её перед самым Вознесением, по теплу и тихости. И само Вознесение, 14 мая, выдалось тёплым и солнечным, что сулило хороший урожай.

А вспашку под пар оставили на семицкую неделю, с опаской поглядывая на небо: чего ждать оттуда? И ещё одна радость: битые зелены оклемались, стали в силу входить — зеленеют, услышал господь.

В понедельник семИцкой недели, 18 мая, зазвонили колокола как на пасху: широко, светло, празднично! Бом! Бом!

— Что за праздник? — спрашивает народ.

А люди из церковного причта отвечают:

— Царь корону принял!

— Она как. Дай бог добра ему. Его всегда на земле не хватает.

Коронация царя и зелёные святки — бом! бом!

Под этот торжественный перезвон стали Гаврила с Данькой парЫ поднимать. Вот уж когда Данька почувствовал себя настоящим пахарем. Напрягаясь от пятки до бровей, идёт по полю Микула Селянинович, то бишь — Даниил Гаврилович, соху-сошку с левой длани на правую перебрасывает, пласты чернозёма переворачивает и солнце улыбается ему, и зори его приветствуют! Ах, какой богатырь! Богатырь валится с ног, с дрожащими коленями, на одном упрямстве тянет борозду, а у Гаврилы сердце обливается кровью: жалея сына и не щадя его, он делает из Даньки пахаря и защищает от будущей беды. Крепись, сынок, крепись! Нельзя нам быть слабыми, сгинем.

И успели-таки к Семику, к четвергу.

А в Семик, 21 мая, снова зазвонили колокола, но совсем с другим настроем. Если о коронации, дне коронации, знали наверно все приходские священники, а потому и звоны плыли сразу и отовсюду, то о трагедии узнавали постепенно: чем дальше от Москвы, тем дольше шла весть. И не было указания звоном поминать раздавленных. Это крутояровский священник решил, что — надо и велел звонарю почтить память: бом... бом...

К утру четверга у многих изб стояли троицкие зелёные берёзки, девушки собирались в лес завивать венки, «кумиться», а колокола — бом... бом...

И только в субботу, перед Троицей, в поминальный родительский день, на погосте люди узнали по кому печаль и колокола.

— В Москве тыщи людей подавило. Просто — тыщи.

- Как на бранном поле, только поле называется Ходыньским...
- Откуда вести?
- Из уезда. Наши торговые привезли. Там же — «железка». Люди на железных колёсах отовсюду едут. Из первопрестольной — тоже. Вот и сказывали.
- Пива, да вина, говорят, — бочки! Сороковедёрные — тыщи!
- Нет, — мёда! Бочки мёда!
- Калачи и орехи раздавали мерами!
- И подарки!
- Какие?
- Знамо дело: золотые! От царя же!
- У царского коня — даже подковы золотые, а не токомо...
- А раздатчики стали раздавать добро своим: кум, сват, брат...
- Вот народ-то и шатнулся. А его там — тьма!
- Тыщи!
- И затрещало всё.
- А пошто подавились-то, если всего так много?
- Дык — жадность.
- Она-то и ломает человека.
- Чужое берут крысы, да воры.
- Не зарься на дармовое и беды не будет.
- Дык царь сам милость явил: раздавал ведь.
- Соблазн...
- Нам царская милость без надобности. Нам и божьей хватает: были бы руки, да голова.

Чужая далёкая беда, что мне до неё здесь, на берегу степной речки Алайки? Только небо общее, да земля кормящая — и всё! А поди же ты: повисла чёрной тучей и бередит душу.

В другой год «порусалили» бы мужики после Духова дня, а ныне — нет: какой кощун сделает это?

Вошли в петровский пост согласно, но со смутой на душе.

Трудно в России.

КАРА БОЖИЯ

Что, никогда такого не было, чтобы град зеленыя выбил? Было. Раз в два года град приходит не вовремя в Крутояррово, а то и три раза в пять лет. Было-бывало.

Алайка никогда не бушевала по весне? Да что ты, октись! Много раз. Ну и что?

Коронация — тоже не ахти какая беда, даже с Ходынькой.

Так в чём же дело?

Отчего душа замирает и оглядывается? Чего боится?

Ещё от холеры девяносто первого года как следует не оправились, а тут вот... Что?

Вот это неопределённое «что-то» томило и угнетало. Нет, люди пахали, сеяли, рожали — всё как и прежде, но прежде не было этого тревожного фона, этой сосущей тоски и растерянности. Никогда ещё не было так много напастей сразу, так, чтобы беды и бедки одного года толкали друг друга в спину, вламывались в человеческую жизнь, терзая и разрушая её, и скапливались новой грозой на горизонте.

Чертовщина какая-то. Бесы...

Это с ними — война вечная, нескончаемая. И победных результатов не видно, но рад мужик, что выстоял, что надежда не сгинула, а даст бог силы, так ещё поживём. И затурканный в этой борьбе он теряет нюх и чутьё, нарушает душевную гармонию, становится подозрительным и злым. «А не от него ли мои беды? — косится он на соседа. — Что-то цыплят меньше стало, да и укроп в огороде завял. Не бес ли в соседа вселился?»

Надо же как-то объяснять причину тревоги, чтобы успокоиться и ощутить дно под ногами, берег. И таким соседом для села были «карачаровцы». Уже не первый раз селяне, ища

опору, край, спотыкались о «карачаровский» конец села. Оттуда чаще всего исходила беда и зараза. И на этот раз, после ходыньских событий, мнение «общества» было единым: во всём виноваты «карачаровцы» — такие вот на «ходынке» царское добро своим раздавали, такие и Рассею сожгут и бомбу в царя бросят. Понаехали — сброд разный: хохлы, татары, армяне и даже... греки. Что им тут делать?! Прогневили бога, не соблюдают обычаев, грешат — от того и беды над селом, как осенние тучи.

Ах, как правильно истратил себя Гаврила Погорелов! В ясные дни начала июня взялся он за косу — и Даньку впряг и Аграфену. Надо. Никольские морозы прошлого года были суровы, а значит, и начало июня будет погожим. Бурная и ранняя весна подняла травостой и наслала ранний сенокос. Похоже, что два укоса будет в этом году. Хватило бы сил.

К Фёдору Стратилату, к восьмому июня, уложили Погореловы в валки большую часть своего лугового клина и решили «отдохнуть» — навоз на парь вывезти. Договорились о толоке с Федотом Клюкиным, с Кулыгиными и хотели в три дня закончить это весёлое, хоть и грязное дело. Да не тут-то было.

Заклубилась в полуночной стороне седая северная туча, уркнула сердитым предупредительным громом и зависла над притихшим Крутояровом. Чего ждать с неба: града или дождя?

Мужики «толокчане» уже разбросали удобрения по клюкиным парам, хотели, было, сразу же, не расслабляясь, приняться и за кулыгинский клин, но туча остановила. Опасно в грозу работать. А гроза будет: видно. И только развернули лошадей по домам, как молния огненным клювом долбанула село по темечку, с севера, да с таким грохотом, будто всё Крутоярово обрушилось с кручи в Серебряный омут. Лошади захрапели, Бублик встал на дыбы и попятился.

— Быстро домой! Успеем! — заторопились мужики.

И тут вторая молния вонзилась в северную окраину села, в «карачаровский» конец. Будто дверь амбара захлопнули — темно так стало. А лошади неслись во весь опор. Воздух стал сухим и потрескивал. И в этих неожиданно наступивших сумерках появилось зарево. Даже не зарево, а так — костерок несмело разгорается. Никто из «толокчан» не обратил на это внимания — ни Гаврила, ни Федот, ни Кузьма: не до этого было. А когда выпрягли лошадей, хлынул дождь. Стеной. Стояли в сараях, не решаясь выйти под проливной дождь, чтобы добежать до дверей избы. А ливень закончился так же неожиданно, как начался: будто рукой отвели. Стало светлеть и тогда все увидели: горит село. Горит «карачаровский» конец, полыхает. И ливень пожару — не помеха.

Народ бежал на «карачаровку» по грязи, через мутные ливневые потоки, стремясь к месту беды помочь и полюбопытствовать. Ветер-то с севера гнал тучи и огонь: всё село могло превратиться в головешку. Тащились с бадьями, с суковатым дрекольём вместо багров и с какой-то неотчётливой злостью.

...Горели две избы (только две!) и баня зажиточного гончара. И это было странно и непонятно. А значит — тревожно. Трещали догорающие плетни, рушились балки и перекрытия, пугая искрами и неодолимой разрушительной силой. А соседи — не горели! Не потому, что стояли на страже, а потому, что огонь САМ не перекинулся на их плетни и хаты. И народ нашёл этому объяснение: кара небесная. И понятно почему пала она на дворы братьев Соляровых и мужика, встретившего с ружьём в своём дворе женщин в ночь опахивания: несправедные они. А Соляровы — те самые, младший брат которых, Шурка, утонул у Горячего ключа на Касьяна немилостивого. Все помнили как это было.

Была в пожаре ещё одна странность: никто из погорельцев не погиб и даже не опалился. Почти никто. Потому что странная смерть старшего брата Шурки — Тольки — и смертью трудно назвать: чудо чёрное какое-то, чары чужие.

— Он убегает, а он — за ним! — громко рассказывает пожилая баба. — Он — от него, кричит, как скаженный, а змей не отстаёт!

— Какой змей?

— Говорю же: огненный! Вот с такой огненной головой и огненным хвостом! Он бежит, а он — за ним. Догнал и тюкнул Тольку в голову — тот и скопытился. И вонь такая от него: серой запахло!

— Ты же в хате была!

— Ну и шо? Аж туда достала! Вонь.

— Господи, помилуй!

Только Соляров лежал почерневший в грязной луже и ближе, чем на три сажени к нему никто не подходил: боялись.

— Бог шельму метит...

— Гнать их надо! — раздался истеричный женский крик. — Колом — из села!

Будто пробку из полной бочки выбили — такая струя ненависти хлестнула.

— Насильники!

— Нехристи!

— Воры!

Безумие опалило больной разум, сорвало узы христианской морали, сожгло пределы.

— Бей их!!

В ход пошло всё, прихваченное людьми для спасения погорельцев: колья, батоги, вилы. Только хряск стоял, стоны и мат.

— Стойте! Стойте, дурни!

Это — кузнец Григорий Кендюх. Расшвырял дерущихся, оказался в центре; дал в лоб одному, свернул челюсть другому, не разбирая, кто чей.

— Вы шо?! З глузду зыхали?!

Толпа оторопела. А Григорий продолжал давать пинков дерущимся.

— Вы кто, хуторяне? Люди или звери? Башка вам для чего?!

— Пусть уезжают!

— Куда? Они — в Расеи! Куда от Расеи ехать? Куда?!

— В Крым свой! На Кавказ!

— Туда, откуда приехали! Пусть там горшки обжигают!

— Вот ты школу зробишь без Ашота-армяна? Ты знаешь камень? У тоби, Петро, конь гарный, хлеб вкусный. А у Ашота — руки камень любят. Ульянов! У тоби, шо: ни одного горшка в хате нема? Карачаровского? А? А мне, хохлу, шо? В свою погорелую Винницу ехать?

С Григорием трудно спорить: он всё и обо всех знает. А главное — он кузнец. А кузнецы, как известно, знают с нечистой силой. Поэтому: свят, свят, свят...

— Шо вы делите? То, чогу у вас нет — щастье! А оно в сердце должно быть, а не тильки в амбаре.

— Кошку в грозу из хаты выбрасывают. В ней бесы прячутся. И с карачаровцами надо так же...

— Дурь из твоей башки надо выбросить!

И тут поплыл с крутояровской колокольни вечеровой звон. От Ивана. Так звали в народе этот колокол. Бом! Бом! При пожаре народ сзывает. Бом! Последний раз после «ходынки» звучал. Бом!

— Идите по хатам! — говорит Григорий. — Живите!

Народ стал расходиться.

Солнце счастливо улыбалось в синем предвечерьи, умытый мир был чист и свеж, а воздух пронизан яркими запахами жизни.

Остро пахло человеческой кровью.

ТАКОЙ ДОЛГИЙ ДЕНЬ

Вчерашнее событие хоть и обсуждалось всеми бурно, но мужики ходили хмурые, как в первый день великого поста. Битые, с синяками и ранами. Многие стыдились вчерашних боевых действий, но были и такие, кто тайно, по-змеиному шипели: «Ужо мы им...».

Героем дня был кузнец Григорий Кендюх.

...Данька чумазый, потный, счастливый помогает Кендюху в кузнице.

— А шо, дядько Григорий, — спрашивает Данька на малороссийский манер, — не страшно было?

— Тю-ю! Ты шо, Данило? Я же — правый. А с правдой — не страшно, — улыбается кузнец. — А шо ты, хуторянин, на украинской мове заговорив? Ты же нэ хохол, у тоби своя порода. Зачем менять её?

— Мне нравится,— смутился Данька.

— А-а,— говорит Кендюх.— Шо ж, тады — куй, куй.

После вчерашнего ливня день выдался для хлебороба бестолковый: работы — ни в поле, ни на лугу. Где дороги протряхли, там пробуют возить навоз на парь, а так... Праздный день для размышлений. Вот и отпросился Данька у отца в кузню к дядьке Григорию. Гаврила не возражал и даже обрадовался: вспомнил видение Пантелея на погосте весною. Вот как он, Пантелей, видит ОТТУДА, что надо внуку? Так что — не перечь, папаша...

— Дядько Григорий,— говорит Данька, будто продолжает спор,— но ведь они — пьяницы!

Григорий понимает, о ком говорит Данька, соображает, как ответить ему, чтобы было понятно.

— Ох-хо-хо! И другие, хлопчик, сосут горилку — нэ тильки вони.

И поправляет зазевавшегося Даньку:

— Клещи дюжее держи, хлопчик! Вот так. Жизнь у «карачаров» — погана: им хуже, чем вам.

— Почему?

— Потому што — пришлые, чужие. Ни земли, ни родни. Вот они и богУют, буянят — защищаются.

Даньке не всё понятно в ответе, но он верит кузнецу. А потом выставляет ещё один упрёк «карачарам»:

— Они девушек обижают,— и краснеет.

Но лицо его от огня и так красное и потому дядька Григорий не догадывается о ходе его мыслей.

— Ну, за дивчину сразу надо — дрыном вдоль хребта: нэззя забижать дивчат. Но и у вас, хуторянин, забидчики е. И у них е добри парубки.

Возле такого «доброе парубка» и находилась сейчас Даша. Мать отпустила её к подружкам, а она — к школе. После вчерашнего мордобоя испугалась за своего Емелю: ведь он — с «карачаровского» конца. Прибежала вот защищать. И поразилась — тихо. Нет, птички поют, солнце светит, слышится далёкое, во дворах, «ко-ко-ко!» кур, кряканье уток — слышно. Но в эти естественные звуки не вплетаются ни стук молотков, ни звуки пилы, ни голоса людей. Потому — тишина.

Будто место возле школы — зачатое или прокажённое: колокольчики будто звенят и отпугивают здоровых. Как так?! Сельский майдан, площадь: слева — церковь, лавки, справа — лавки, вокруг — хаты, а — никого! И признаков этого «никого» не видно: ни платка, ни лица. Попрятались что ли за плетнями?

Перед Дашей — школа и за нею лес вдаль. Тишина. Только кукушка подала голос и поперхнулась.

— Я те дам! — говорит Даша.— А ну — кукуй!

И кукушка закуковала.

Даша идёт к белому основанию школы, к её началу, выведенным углам, где тоже нет жизни, а если есть, то она спряталась как перепёлка в жнивье.

— Эй! Кто там! — зовёт Даша.

Только кукушка в ответ: «Ку-ку!»

— Емельян! Емельян Еремеевич!

— Ку-ку!

Даша выходит на строительную площадку и сразу за кладкой сталкивается с Ашотом-каменщиком.

— Тс-с-с,— говорит тот, приложив палец к губам.

— Где Емеля? — спрашивает Даша.

Ашот показывает пальцем за стенку-перегородку.

— Выходи, Емеля, моя потеря! — зовёт Даша и идёт за перегородку.

— Ку-ку! Ку-ку! — надывается кукушка.

— Замолчи! Мне столько не прожить! Хватит, нашла я его.

Кукушка замолкает.

Емеля сидит на груди камня бледный, непохожий на себя.

— Бог в помощь! — говорит Даша. — Ты на святки спасал мою честь, теперь я пришла тебя спасать. Не сиди на камне: нам ещё детей рожать. Пошли!

Она берёт Емелю за руку и выводит на площадь перед школой. И — будто сменилось что-то в мире. Будто рябь по воде прошла: та же вода, да не та. Над плетнями, над заборами головы показались. Из лавок вышли люди.

А они, двое, стоят, облитые белым светом и синим небом, среди звонкого птичьего гомона и людской осуды. И тогда из дома Кузьмы Кулыгина, стоящего справа на площади, вышла, нет — выбежала Катя, сноха Кулыгиных и старшая сестра Даша.

Подбежала.

— Ты что, Даша?! Даша!

А Даша молчала. И будто не видела Катю: смотрела выше неё, куда-то вдаль, словно там было что-то важное, главное. Она держала Емелю за руку и все токи её отваги, решительности перетекали в него.

— Даша! Ты...

— Да! — отвечает Даша и опускает взгляд на Катю. — Я люблю Емельяна.

И тогда Катя становится рядом с Дашей, а на площади появляется сам Кузьма Кулыгин с ружьём и сыном Егором. Они подходят и становятся рядом с Емельяном.

Люди стали выходить из дворов на площадь. Из соседних улиц и переулков потянулся народ к школе.

...А во дворе сельского старосты Серафима Козла. Только что закончился «совет» по вчерашним событиям. Двое сотских и десятские «карачаровского» конца порешили, что виноваты во всём «силы небесные и народ дурной». А посему «силам небесным помолиться, а народец попужать. В волость — не сопчать». И только отправил староста десятских по дворам для сбора народа на сельском майдане, как в ворота замолотили десятские центральных переулков села:

— Народ собрался на майдане! Шумит!

— Орёт!

— Люгует!

... И Погореловым мальчишки принесли весть:

— На майдане Дашу сейчас будут бить!

А когда Гаврила с Аграфеной добрались до площади — к центру уже было не пробиться.

На фундамент школы поднимались люди и говорили. Вернее — орали. От возбуждения и от желания быть услышанными. Вытянув шею, Гаврила высматривал Дашу. И увидел. Даша, Емельян и Кулыгины стояли вместе. Кузьма был с ружьём и Гаврила успокоился.

— Пусть едут в Сибирь, там всем места хватит! Там все одинаково пришлые! — надрылся худой и носатый Ефрем Потуло.

— На кладбище — тоже!

— Вот ты и ехай, раз тебе здесь тесно!

— А мне и здесь хорошо!

— А они, что — от хорошей жизни здесь поселились?!

Почти все призывали к перемирию, но каждый на свой лад.

— Бедность наша во всём виновата, а не род наш! Каждый хочет жить сыто! — говорил носатый бледный «карачаровец».

— Смотри: Кендюх, — торкнул Гаврила Аграфену.

— Где?

— Да вон он! И Данька с ним!

А кузнец шёл на «лобное» место и за ним оставались вихри голосов и людей. Он не стал подниматься на фундамент: его и так видно и слышно. Толпа притихла. Гаврила внимательно слушал Григория и душа его развернулась на последние слова кузнеца:

— И для мира, и для брани сила нужна! Но от лада — свет на душе, а от ссоры — хмара. Думайте!

Хорошо кузнец сказал, хорошо. Золотые слова.

И тут к народу вышел Серафим Козёл. Сельский староста — человек в уважении, а потому в толпе зашикали друг на друга: «Тише! Тише!» Староста, как и кузнец, не стал подниматься, огладил бороду, оглядел всех и сказал:

— Про всё знаю и про всех знаю. Наказал бог нехристей. А вы что? Поперед батьки — в пекло! Бросились помогать? Кому — богу?! Он — сам. Он всё видит.

— Ты, Серафим, смотри: народ поставил тебя над собой, народ и отставить может! — выкрикнули из толпы.

— Через три года! А пока я так скажу: не хочешь с «карачарами» якшаться — не надо. Но ты и на своей улице не каждому хлеба отломишь. Так что не советую брать в руки колья да косы. Будете буянить — к волостному старшине отвезём смутьянов. Идите по домам. Время — жаркое.

Народ стал расходиться. Гаврила велел Аграфене забирать с собой Дашу и идти домой, а сам отправился к свату Кузьме Кулыгину.

Все разговоры с Дашей он оставил на потом: пусть всё уляжется, надо всё обдумать.

Закончился самый длинный день года, день летнего солнцеворота.

Долгий, как сама жизнь.

АГРАФЕНА

Уплыли грозы небесные, улеглась людская непогода, обозначились берега и стрежни. Выпустил народ волю-дуру, попыхтел попусту, попугал себя и мир и успокоился. Жизнь вошла в берега.

В Крутоярово пришла сенокосная пора и люди семьями, таборами отправились на свои покосы, памятуя о том, что январь был лютым, морозным после Крещения, и, стало быть, до Анны-гречишницы, а то и до Тихона, будет сухо и жарко. После вывоза навоза на пары в сенокосную страду только что вошли и Кулыгины и Федот Клюкин, а Гаврила Погорелов уже закончил свою луговину.

Сейчас на покосе вся семья: Аграфена с Дашей собирают лечебные травы, Ванятка носится по лугу за бабочками, а Гаврила с Данькой отдыхают. Лежат в тени куста, смотрят в небо. Пронзительно пахнет свежескошенной травой. Тихо. Матушка-земля впитывает слабость и усталость косарей, опустошает их, освобождая от помехи, приводя в вечное равновесие и гармонию: человек — земля. В небе медленно кружит коршун; даже не кружит, а будто бы висит над покосом. Жарко.

Из ничего возник порыв ветра, обмахнул потные тела, прошелестел листьями в кустах и замер. Пахнуло чабрецом, полынью, горячей землёю — степью.

— Хорошо, — уморено говорит Данька.

— Степь, — Гаврила потягивается. — Воля.

И не надо им объяснять друг другу, что такое вечное поле — Дикое поле, гривы каких коней трепали эти степные ветры и чьей кровью политы здешние чернозёмы. С молоком матери впитана эта естественная суть. Степь — это жизнь.

— Ма-а-ма-а! — вопит Ванятка и всё приходит в движение.

Гаврилу будто кнутом хлестнули — подскочил. К нему бежит орущий Ванятка, а к ним — Аграфена с Дашей: издалека, падая и спотыкаясь; коршун камнем из пращи падает на луг и взмывает со змеёю в котях.

Ванятка подбегает к отцу в слезах и страхе.

— Гадюка! — кричит он и показывает место укуса на ноге.

Весенним разливом Алайки куда только ни занесло этих тварей.

— Данька! Орлик!

Данька бежит к пасущемуся Орлику, запрягает его. Гаврила хватает охалку скошенной травы, бросает в бричку, а на траву кладёт Ванятку. Надо быстрее к Евдокии Клюкиной: у неё от всего есть снадобья. А пока — туго перехватывает рукавом своей рубахи ногу Ванятки.

Подбегают Даша с Аграфеной. Мать сразу почувствовала цвет крика ребёнка: это — цвет смертельного страха — смерти.

— Что?! Где?! — кричит она. — Что, Ваня?!

— Змея укусила! В ногу! — отвечает Гаврила.

Аграфена припадает к ноге Ванятки и начинает отсасывать яд змеи из ранки. Затем

выдёргивает из пучка собранных трав лист конского щавеля (ах, как кстати!), разминает его и прикладывает к ранке.

Гаврилу словно водой холодной из колодца окатили, крик застрял в горле, он онемел, вспомнив святочный прутик Ванятки. «Зря! Зря! Зря!» — стучит в висках. «Судьба! Судьба! Судьба!»

Раздавленный неотвратимостью рока Гаврила молча трясся в бричке, сгорбленный и вмиг постаревший.

Евдокия осмотрела посиневшую ногу Ванятки и пришла к выводу, что никакого укуса не было: порез от травы или царапина от сухого прутика. И всё. Но на всякий случай примотала к месту укуса корешок чертогрыза:

— Завтра будет бегать.

А Гаврилу упрекнула за то, что сильно перетянул ногу.

— Видишь какая нога: как мёртвая. Сейчас отходить начнёт, в зашпоры зайдёт — поревёт Ванятка.

И точно: заревел малой, а нога была как неживая.

И Гаврила с Аграфеной были как неживые: столько жизни пережгла в них мелькнувшая беда. Да-а... Человека старят не летки, а детки.

Слегла Аграфена после этого и находилась в непонятной истоме и безразличии к жизни почти неделю.

— Радость у неё оборвалась. Пока оклемается, да зацепится за жизнь — время нужно. Вы её радуйте и не оставляйте одну, — наставляла Евдокия Гаврилу.

А тот сам, сбитый с горки, оберегал душевные ушибы и равновесие.

Ни до замужества, ни после Аграфена на судьбу не роптала. Три младших брата-погодка, завистливых и крикливых, изводили сестру всякими гнусностями до самой своей смерти, хотя Аграфена для каждого из них была нянькой. Всех троих, похожих на мать, женщину взбалмошную и пустую, прибрала холера в девяносто первом году. А сразу вслед за ними ушла и мать. Аграфена не озлобилась, живя в семье, а вырастила в себе христианское смирение и главную черту русских женщин: жалеть и понимать. И этим своим спокойствием и смирением выводила из себя мать — непохожестью на неё. «В тихом болоте черти водятся», «такие вот и приносят в подоле», «одни убытки с тобой: ещё приданное готовить». А отец в ней души не чаял, защищал: поколачивал мать, давал затрещин братьям и тем самым ещё пуще настраивал их против Аграфены. И когда она, наконец, вышла замуж и поселилась у Погореловых, то была безмерно счастлива. И счастлива до сих пор. Через год она родила Катерину и в этом же 1877 году началась русско-турецкая война, на которой и сгинул где-то под Баязетом её защитник и благодетель — отец.

Первую свою дочь Аграфена рожала в стужу трудно и мучительно, зато сейчас Катя счастлива. А вот Даша выскочила в водополе легко, радостно, даже как-то празднично. Какой будет её жизнь? Вон ведь как с Емельяном закрутилось. Даше тоже шестнадцать, как и Аграфене в год замужества.

Ближе ко дню своего ангела стала улыбаться Аграфена, заботами отогревать стылую душу. Свозил её Данька на Алайку с кадушками-квашенками, в которых семья готовила тесто для ржаного хлеба. Помыла их Аграфена. Сходила с Дашей в поле и снова собирала заветные и нужные травы: чёрную полынь от болезней живота и тошноты, ивана-дамарию от воров (а какие воры на селе! — но надо), одолень-траву (кувшинку) — по старцам, от разных бед и напастей; подорожник, спорыш, крапиву... Развеелась немного, оттаяла и ожила. Только с Ванятки глаз не спускала и всей семье велела делать то же.

23 июня рано утром Гаврила затопил баню, наносил воды, попросил Аграфену следить за огнём, а сам с Данькой отправился в лес на заготовку берёзовых веников. Вернулись быстро и с вениками и с цветами. Ромашки, колокольчики и маленький букетик фиалок:

— С днём ангела!

Вся семья в два пара насладились баней и к обеду Аграфена уже принимала у себя гостей: сватов Кулыгиных с зятем и Катериной, кумовьёв Клюкиных, кумовьёв Парушиных.

Родилась Аграфена в петровский пост. И хотя «петровка-голодовка», но ведь — лето. И зелень всякая и редисочка, ягоды лесные. До Иванова дня женщинам нельзя есть ягоды, поверье такое. Иначе будут умирать дети у той, которая не остережётся. (Как тут не подумать о Ванятке!) Ничего: съедим на Ивана Купалу, завтра. Словом: июнь — не апрель

весёлый да голодный, жить можно. А когда ещё и сват охотник — и пропадать незачем: живи да живи.

Принесли с собою Кулыгины жареных перепелов и ещё какую-то лесную птицу:

— Ешь, пока рот свеж! — сказал Кузьма, обнимая Аграфену.— С днём ангела, Аграфенушка!

И добавил, показывая на приготовленную птицу:

— Здесь ещё птичка, которую едят только графья и Аграфены: вальдшнеп называется.

— Что ты, Кузьма,— слабо сопротивляется Аграфена.— Пост.

— Рыба и птица посту не помеха, ими не оскоромишься.

И рушник вышитый принесли гости, и мыло подарили, и медок парушинский оказался кстати, а уж медовуха его!..

— Медовуха — не вино,— говорит Егор Парушин.— Она от мёда и от пчёлки, божьей труженицы.

Вот ведь как: и нельзя, а — можно.

— Понемножку всё можно,— улыбается Настасья Парушина.

Вот они все: родня и не родня — как родня, тёплые и светлые люди. Аграфена улыбается. Ей тоже хорошо и слёзы подкатывают к глазам:

— Спасибо...

А уже при вечернем солнышке, выйдя во двор, спросил Кузьма у Гаврилы:

— И что ты порешил с Емелькой делать?

— Раньше Покрова свадьбы не будет.

— Не ровня они вам, голодранцы.

— Кузьма, помилуй, а мы — кто?

— Ты — крепкий, работающий мужик. У вас — ладная семья. А — там? Латка на латке и требует задатки.

— Нет, сват. Строг ты очень.

— Где жить будут?

— Где, где... У Емельяна, где же.

— Намается Даша. Бери его в примачи — и всё. И работник и зять сразу. И Дашу обережешь.

Мысль Кузьмы была неожиданна и... как бы сказать — колюча. Непривлекательная.

— Посмотрим,— говорит Гаврила.— Пошли в хату.

День Аграфены-купальницы уходил в заревой вечер, а с Алайки доносились громкие голоса купающихся.

Лето.

ВЕДЬМА

Как повесил господь бог солнышко над Крутояровом за неделю до Ивана Купалы, так и не убирал его; Крутоярово само, изнемогая от жары и истомы, откатывалось от светила на восток, в короткую ночь, в кратковременную прохладу и в безответную надежду на дождь. Сенокос этим летом был ранним, стремительным и удачным. Почти у всех уже стояло сено в копнах и начали его **Скирдовать**. Это очень хорошо: развязаться с сенокосом и сосредоточиться на хлебе. Да вот незадача: самый налив озимых, а дождей нет. Вспоминали какая была погода на святки и после. Всё шло хорошо: морозы были. Значит сейчас — жара. Но кто же знал, что сенокос подойдёт раньше, а хлеб потребует дождя. А теперь жди милости господней.

И в канун петровок затянуло небо синей тяжестью, громыхнуло основательно и забегали молнии-стригунки. Ну, вот: наконец-то, вздохнули облегчённо мужики. Но сухая, Яловая гроза так и не разрешилась дождем: ушла в Осиповку к бездетной Лизке Синебродовой.

А это уже серьёзно.

Почти две недели нет дождей.

Появились знамения, поползли слухи...



В Осиповке уже видели несметные полчища мышей — к голодному году или к войне; в Тишанке волки вышли на поля (и это летом, когда волк сыт!) — к падежу скота; в Берёзовке видели, как огонь по озими пробегал — точно к засухе. Да что там! Если уж в Крутоярове из-за леса стали вылетать стаи ворон — к повальному мору! А прислони ухо к земле и услышишь как земля стонет. К чему? К пожару! Вот так.

Вспомнили кстати, что перед петровками Кузьма Кулыгин из Серебряного омота сома выловил с себя ростом. Как ловил, на какой вонючий махан — неважно: тайна и всё. А вот то, что в желудке сома оказался целёхонький заяц — диво. Даже, говорят, выпрыгнул из сома. Как он туда попал? Не подарок ли это водяному от лешего? И не самого ли водяного поймал Кузьма? Значит: жди беды? Надо делать что-то. Выгорят хлеба, падёт скот — помрём.

А на Кузьминки, среди баб, Евдокия Клюкина возьми, да и ляпни:

— Может и Маланья.

И когда на делянках озимой ржи и пшеницы появились заломы и прожины, стало ясно, что нечисть начала таскать зёрна в закрома ведьмы. А так как в Крутоярове была известна одна ведьма, то и гадать не стали.

Вечером, после того, как подоили коров, нагрянули женщины во двор Маланьи Коровиной. А та — не в уме: что, бабоньки, случилось? Тридцать четыре года бабе, а она как... блаженная.

Бабы закрестились: ишь ты как — не ведает она!

— Анбар открывай, ведьма!

А тут и Тишка, муж ейный вышел:

— Что за напасть?

— Молчи, ведьмак! Анбар открывай!

И снова крестятся.

Не стал спорить Тихон, открыл, а в амбаре пусто.

— Прячет ведьма! У ней свои сусеки!

Орали во весь голос. Толпа стала собираться на улке.

— На Алайку её! Править будем!

Известно, что ведьму надо бить наотмашь по лицу и изо всей силы. Тогда она теряет свои колдовские способности. Или калечить. Или — топить.

— По сопатке ей надоть! Кулаком!

Бойтся народ. И отвага его — от страха. Это до тех пор, пока между не перейдёт, не ХЛЫНЕТ. Не дай бог! Вон, уже и колья осиновые появились.

И тогда Тихон, мужик спокойный и покладистый, взял вилы:

— Не трогать Малашку! Пришью!

— Да ты и сам такой, примАк карачаровский! Не бойсь, и тебе достанется!

И действительно: Маланья — с Лугового конца, а Тихон — с «карачаровского». Значит уже — «нечистый» и чужой. Говорили: навела чары на него Маланья. И явился Тихон в зятя-примаки ещё и потому, что отец был против этой женитьбы. А в холеру 1891 года сошла вся семья Маланьи на погост. Народ говорил: извела ведьма.

Да с чего же она ведьма?

— Дуры — бабы! — орёт Тихон. — Сами вы как ведьмы!

— Если не ведьма, то почему на «опахивание» никогда не ходит?

— Да боюсь я, бабоньки! Страшно мне!

Эк, куда повела: боится она! «Коровьей смерти» что ли? Та же нечисть, «родня»! Боится она. Нет уж, кума: не те блинчики. Отвечать надо.

— А в храме божьем пошто с кубаном на голове стоишь?

— Какой кубан? Какой кувшин? Окстись, Пелагея!

— Сама видела на пасхальной заутрене!

— А корову мою кто выдаивает? Сушец пошёл! — выкрикивает соседка.

— Креста на вас нет, бабоньки! Опомнитесь! Грех берёте на себя!

— Это на тебе креста нет!

— Покажи крест!

Маланья замешкалась.

— Покажи!

Дрожащими руками Маланья выпрастывает на кофту гайтан:

— Вот!

Тесёмка была пуста.

— Нету! — ревьёт толпа. — Нету креста! Ведьма!

— Есть... — голос Маланьи тонет в рёве толпы.

Толпа — ХЛЫНУЛА.

Вмиг разоружила Тихона, оттеснила его от жены. Чей-то мужской кулак врезался в лицо Маланьи и та, обмякнув, опустилась на землю. Её тут же подхватили, связали спереди руки и потащили к реке.

...Десятские донесли старосте Серафиму Козлу о расправе над Маланьей Коровиной, но тот махнул рукой: «Пущай. Ведьма же. Не сдохнет».

И кузнецу Кендюху принесли новость тайные сердоболы. Осторожно сообщили: не сожалея и не радуясь. Опасно быть не в толпе...

А на круче над Серебряным омутом вился ор, чёрный и злобный.

— Пихай её ведьму!

— Потопнет — чистая, православная баба. А нет — ведьма!

— Наоборот! Ведьма потопнет, а баба — нет!

— Крест на мне!! — изо всех сил прибавила голосу битая Маланья.

Толпа притихла.

— На спину уволокся! Не губите!

Связанными руками она старалась достать гайтан.

— Руки ей развяжите!

Сбросили с рук узы.

— Вот он! — Маланья явила крест народу.

Толпа молчала.

— Глаза отводит! — заорала соседка. — Я знаю!

— Пошто крест на спине таскаешь? Это — крест, а не горб! — кричала Пелагея.

И снова ХЛЫНУЛА толпа.

— Вали её!

Маланью схватили за руки, за ноги, раскачали и метнули с двадцатисаженной кручи в Серебряный омут. Толпа охнула, подалась к обрыву и столкнула ещё двух человек.

— На-зад!! Сда-ай!! — заорали у края.

Жуткий крик упавших в омут людей судорогой свёл стоящих на круче.

— Назад! Назад! — это уже Григорий Кендох пробивался сквозь толпу к обрыву.

Он лёг на край кручи и глянул вниз. И в это время омут шумно вздыбился горбом-волной и исторг из себя тонувших людей. Вытолкнул почти до самого Щучьего пупа. И это было диво. Никогда ещё и никого не отдавал Серебряный омут.

— К броду! К Луговому броду! — крикнул Григорий в толпу и сам бросился к спуску к реке.

Толпа дрогнула, будто вышла из морока, стала рассыпаться, потянулась вниз к мосткам и перекагу.

Лют мужик, когда беда догоняет, нет у него разума, лихо правит им. Потом, когда придёт в себя, будет стыдиться и раскаиваться, будет слёзы лить и горькую пить. А пока...

...Маланья Коровина, пошатываясь и кашляя, выбирается на правый берег Лугового переката, ложится на траву и смотрит в небо. Кровавая зарница полыхает над Крутояровом. За что ей так? И бог детей не дал и люди отнимают радость.

Сумерки опускаются в долину реки. Слышатся голоса и топот многих ног. Первым подбегает Тихон. Маланья смотрит на него безучастно: ни жива, ни мертва. И не слышит мужа. Он берёт её на руки и несёт домой.

— Вот, положи в бричку, — предлагают ему.

Но он только качает головой: нет.

...Солнце скрывается за лесом. Заря вечерняя бледнеет и растворяется в сумерках. Село тоже тает в этом сером свете. Потом вспыхивает несколько огоньков в избах, отделяя жилое от вечного.

Сумерки опустились.

Что будет завтра?



Юлия ЛИННИКОВА



Допустим, звёзды — это цветы
 На огромной поляне — россыпью,
 И тогда звездная пыль
 И не пыль получается вовсе.
 Не мертвая пыль — пыльца,
 Ладонями вверх подброшена.
 У крыльца
 Перед домом Творца,
 Как положено,
 Ждут очереди
 Планеты, кометы
 И прочие.
 Кричат, что им тоже надо.
 Всем хочется
 Пыльцы из Его Сада.

Щербатые окна распахнуты настежь в небо,
 Створки разбиты ветром,
 Снег смешался со светом,
 С солнца как будто смытым.
 Март так наивен, шумен и невоспитан!
 Ему бы учить конспекты, а он небритым
 Студентом несётся с пары,
 Сбивая прохожих с толку,
 Сбивая с прохожих шапки,
 Целуя даром.
 Он невозможен, и вряд ли пройдёт экзамен,
 И, стало быть, вновь закончится всё слезами.
 Воды будет столько, что хватит на целый город.
 Март повзрослеет и станет апрелем скоро.

В занавешенном небе, закрытом на перерыв,
 Небесный бармен наливает себе джин
 И глядит сквозь окошко вниз,
 И усмехается.
 А там, внизу — мы:
 Рождаемся, плачем, смеёмся, куда-то бежим, бежим,
 А потом чья-то жизнь
 Буднично прерывается.
 Он смотрит, льдинками дребезжит,
 Вертит стакан неспешно,
 Берёт со стола ключи.
 Он знает: ещё один грешник
 Сейчас к нему постучит.

Выпускница Уральского государственного университета физической культуры. Преподаватель иностранных языков. Занимается поэтическими переводами с английского. Принимала участие в Пушкинском молодёжном фестивале «С веком наравне». Лауреат VII Межевззовского литературного форума имени Н. С. Гумилёва «Осиянное слово» и фестиваля «Сочи-МОСТ-2011».

Недавно водитель маршрутки
Спрашивает, куда ехать,
Потому что первый день на работе,
Никогда не бывал тут сроду,
Только вчера из Москвы и вот тебе...
Я диктую названия остановок,
И мы петляем по вечернему городу.
Он довозит до самого дома,
Радуясь, что нет пробок,

И мир становится добрым,
И люди друг другу — не волки.
А в другой раз — жду автобуса, ливень,
Стою опять на остановке,
А незнакомый старик сгорбленный
Встаёт рядом и раскрывает свой зонтик
Потрёпанный, с грязью въевшейся,
И ты сам становишься добрым,
И весь день потом ходишь — светишься...

Он мне говорил:
Я здесь никому не нужен.
Нью-Йорк — это город,
Который съедает душу,
Но я здесь живу,
Я здесь дышу,
Я не спешу наружу
Из душащей клетки.
Видимо, просто трушу.
Слушаю
Доводы про мечту и свободу,
Вижу её статую по дороге с работы,
Погружаюсь в метро,
Как карго на пароход и
По переходам
Спешу в свой «бандитский» квартал,
В маленькую каморку с видом на провода.
Ничего у меня не меняется.

Что ты, что ты!
Получаю письмо от брата:
«Как ты?»
Отвечаю: «Отлично.
Купил бы машину,
Вот только пробки
Проклятые,
Но это пустяк»
И где-то в душе понимаю,
Что всё не так,
Что я — мимо,
Что жизнь — не штамп
В каких-то бумагах,
Утверждающих,
Что я якобы не чужак,
Потому что чужак,
И это неисправимо.

В сказке про Питера Пена
Я — всего лишь фея.
Безответна, второстепенна,
Но беззаветно верна.
Все считают меня несерьёзной
Или хуже того — понарошку,
Ведь я так мала:
Умещаюсь в твою ладошку.
Каждый вечер летаешь к Венди,
Вы играете с ней в напёрстки,
Но ты, главное, верь в меня, верь мне,
Потому что потом будет поздно.

Не будешь верить — растаю,
Исчезну, меня не станет,
Ветер подует, и с крыльев
Осыплется вся пыльца.
Ты веришь другим,
Но другие тебя оставят,
Отвернутся, их время состарит,
Поменяет сердца и лица.
Я одна буду длиться,
Длиться с тобой до конца,
До самой последней страницы.

Торопливо. Поезд. Пока-пока.
Лекарство сработало наверняка.
Любишь? Не любишь?
Одни вопросы.

Север. Зима. Окна промёрзли.
Остались рельсы — определённости:
Либо в ту сторону, либо в эту.
В купе тепло, ну а где-то, где-то...

За мостами, городами, странами
 Был мой дом — земля обетованная,
 А теперь же я неприкаянна:
 Тоже поезд, только с одним вагоном.
 Не выпускаю из рук телефона,
 Хотя связь потерялась давно

И не скоро ещё появится.
 За окном — полосы, полосы.
 Любишь — не любишь...
 Какая разница.
 Я — поезд.

В прокалённом кувшине лета —
 Молоко травяных запахов.
 Нараспашку зевают окна.
 Я себе наливаю чашку,
 Выпиваю залпом, не дрогнув:
 Опыняет, дурманит, жарко.
 Одуванчики греют ночью,
 И вино из них будет сладким,
 С лёгкой горечью.

Три портрета Осени

1

У Осени платье из оранжевой органзы —
 Лёгкое, шуршащее, полупрозрачное —
 Сползает с плечей её худеньких, держи — не держи,
 Вот подол уже в лужах запачкала.

И зябко дрожит, смущённая и простая,
 Встаёт на пуанты, грезя себя балериной,
 А лужи становятся зеркалом, обрстая
 Тоненькой патиной инея.

2

Осень — неизбежная, как прилив,
 Надвигалась решительно. Выше. Ближе.
 И вот уже плавники жёлто-красных рыб
 Сплывались и
 Кружили у телевышек.
 Она захватила город, попала в СМИ,
 По радио объявила смену режима.
 Дождь-соучастник ворвался, и вместе с ним
 Время цветенья зонтов все дороги вскружило.
 А я убежала домой, будто дом спасёт,
 Будто он батискаф, и уже готов к погруженью.
 Там, наверху, с лёгким звоном сомкнулся лёд,
 Как невысказанно долго придётся ждать пробужденья!

3

Осень рисует с природы. Небо, деревья, ветки
 На холст широко ложатся
 Мазками-масками.
 Осень вовсе не зла,
 Но критична, как рецензентка:
 Смотрит, кривится,
 А потом затирает все краски.

Остаётся одна белизна
В чёрных грифельных линиях,
И тогда
Неумолимо
Наступает зима...

Стаи грачей возьмут эту зиму в кавычки,
Будто цитату, вырванную из текста,
И она медленно, медленно зачитывается,
Вечностью, со случайного места.

Седеющий снег, опадающий с многоточий,
Никогда не закончится? Никогда не растает?
Этот февраль, списанный с меня в точности,
С оставшимся миром отчаянно не совпадает.

И всё вокруг кружится в безвесенье,
Не считаясь с простыми земными законами.
Стрелки часов отстают по всем направлениям,
Тычут куда-то пальцами изломанными.

Вместо деревьев я вижу прочерки, прочерки
На смятом, изодранном покрывале.
Февраль — черновик, исписанный мелким почерком:
Не разобрать и, тем более, не исправить.

Иногда вспоминаю, как хорошо было в детстве,
А теперь — кто его разберет.
С годами всё чаще расходятся швы на сердце,
Память услужливо в колокол рёбер бьёт.

Выстоишь раз, второй, третий — подкосит.
Всё повторяется. Раз за разом. Опять.
Таблетки не помогают, когда по осени
Все старые раны чешутся и саднят.

Теперь всё внутри изношено и затёрто,
И с каждым шагом всё меньше и меньше сил,
И мне кажется, что — не подлежу ремонту,
Что я — сломанные часы.

Вместе с листьями желтеют фотографии:
Становятся хрупкими, тонкими, прошлогодними.
Приходится крепко держать их в руках,
Чтобы по ошибке
Ветром не унесло.
И вот уже фотоальбом
Становится похожим на гербарий.



Анатолий
АФОНИН



СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

Фантастическая повесть

«...Одно дело — редактировать чей-то текст, т. е. работать с неким уже готовым материалом, другое — сидеть перед белым листом бумаги, на котором нет ни одной буквы. Откуда берутся слова, и создается логика произведения? А что заставляет человека взять книгу?.. Что касается истоков творчества, то их основные составляющие у всех писателей, наверное, одни и те же: книги, фильмы, театр, рассказы знакомых и незнакомых людей, собственный жизненный опыт, одним словом, вся та информация, которую мы получаем в течение всей нашей жизни. Здесь уже речь может идти о пропорциях: кто-то больше ориентируется на то, что создано другими, а кто-то пытается прожить ситуацию, ощутить всё на собственной шкуре. И если разделить писателей на выдумывателей и записывателей, то писатели-фантасты, к которым я себя и причисляю, конечно, больше выдумыватели. Но не всё так просто. По-настоящему увлечь можно только тем, что сам пережил. И тогда в фантастическом произведении появляются герои с реальными прототипами. И они даже попадают в реальные ситуации. А всё фантастическое призвано удовлетворить авторское любопытство. Воображение позволяет прогуляться по Луне или увидеть утренний марсианский туман. А ещё хочется рассказать о людях, для которых главное — это познание мира, а не простое проживание в непрекращающемся процессе бездумного потребления. И к счастью, такие люди ещё есть не только в фантастических романах».

Три посадочные лапы небольшого космобиота коснулись лунной поверхности, и бортовой компьютер тут же выключил ракетный двигатель. Космобиот качнулся и замер. Пыль, которая поднялась от реактивного выхлопа, быстро оседала; здесь, в безвоздушном мире, любая, даже самая лёгкая пылинка падала на мёртвый грунт так же быстро, как и увесистый камень.

В кресле тесной кабины космобиота сидел человек в скафандре. Когда выключились двигатели и наступила тишина, он убрал руки с пульта управления, поднял прозрачное забрало гермошлема и смачно выругался.

— Борт два нуля семь! — тут же прозвучал в наушниках встревоженный голос дежурного диспетчера. — Георгий! Что у тебя там случилось?!

— Ничего! — процедил сквозь зубы Георгий. — Посадку произвёл. Всё нормально.

— А что ж тогда ругаешься, как извозчик?!

— Рука дрогнула при спуске, — ответил Георгий. — Ошибся на семь километров и горючки пережёл килограммов сто.

— Не паникуй! — остановил его диспетчер. — Перерасход в пределах нормы; на обратную дорогу хватит и ещё останется. Или на тебя приметы действуют? — вопрос прозвучал несколько насмешливо.

— Ничего на меня не действует, — пробурчал Георгий и выглянул в иллюминатор. На коленчатом суставе посадочной лапы ослепительно сверкало солнце.

— Тогда у тебя есть три часа, — голос диспетчера в наушниках сильно исказился от помех. — Да, и не забудь! Через две минуты спутник связи уйдёт из зоны видимости.

— Я это помню, — проговорил Георгий.

— Тогда желаю удачи, Жора! — голос в наушниках с трудом пробивался сквозь нарастающий шум.

Георгий пробормотал слова благодарности, не будучи уверенным в том, что его услышали: спутник уходил за линию горизонта, и связь медленно угасала.

Он остался один.

Диспетчер не зря подначивал насчёт суеверий. Георгий был суеверным, как и многие, чья профессия связана с риском, но никогда бы в этом не сознался. Или почти никогда. Можно не верить ни в Бога, ни в чёрта и ничего не бояться, но когда человека отделяет от смерти только ткань скафандра да тонкая оболочка космического корабля, он поневоле станет обращать внимание на разные приметы и стараться избежать рокового стечения обстоятельств.

Но, к сожалению, человек может только предполагать, а располагает некто другой. И этот некто решил, что именно сегодня — 13 числа, в пятницу, научно-исследовательская станция института селенологии должна совершить посадку в кратере Аристотель. И когда до назначенного времени оставалось несколько часов, вышел из строя один из трёх посадочных маяков; их установили в кратере ещё год назад.

И вот тут злой рок вцепился в Георгия Шлыкова всеми когтями. Оказалось, что кроме него лететь к неисправному маяку было некому. Один пилот за сутки до этого отправился на космоботе в Центральный Залив с грузом селенологических образцов, второй, Александр Колесников, — уже неделю лежал в госпитале после удаления аппендикса, третий — мало чего понимал в радиомаяках. Пришлось Георгию в своей каюте задвинуть под стол отпускной чемоданчик и, проклиная судьбу, отправиться на космодром. Второй раз он проклинал всё на свете, когда при проверке скафандра вышел из строя воздушный клапан. Все были на взводе, и начальник базы в сердцах наорал на главного инженера. Тот налился краской и, еле сдерживаясь, выдавил:

— Сейчас заменим.

Скафандр срочно заменили, его клапаны и системы работали нормально, но Георгий всё же был недоволен. Скафандр — это как вторая кожа. Его делают индивидуально для каждого, и все его системы настраиваются под конкретного человека. Надеть чужой скафандр — хуже приметы не было.

— Не волнуйся, — успокоил главный инженер. — В этом костюме ещё никто не ходил. И вообще, это новая модификация; ты первый на Луне, кто выйдет в нём на поверхность.

У Георгия похолодело в груди. Он пристально посмотрел в глаза инженеру и процедил:

— Ты даже не представляешь, как меня успокоил!

Главный инженер смущённо кашлянул и потрепал Георгия по плечу:

— Всё будет нормально. Голову даю на отсечение — костюм в порядке.

Потом неловко потоптался на месте и отошёл в сторону.

— Ну ладно, Жора, — прогудел начальник Базы, обнимая Георгия за плечи. — Давай, чтоб всё было тип-топ! Извини, что испортили тебе отпускное настроение. Когда вернёшься, я Луну обратной стороной к Земле разверну, а первым транспортом тебя домой отправлю.

И вот теперь Шлыков сидел в космоботе один, без связи и старался прогнать неприятные мысли.

«Выпью-ка я кофе для начала», — решил он и отстегнул замки шлема.

Поставив шлем на край пульта, Георгий достал из аптечного шкафчика небольшой оранжевый термос.

В пластиковую кружку горячий кофе переливался лениво, тягуче, и сейчас только это говорило о том, что здесь сила тяжести гораздо меньше, чем на Земле. По тесной кабине распространился горьковатый аромат.

Шлыков пил медленно, смакуя каждый глоток. Он вдруг поймал себя на мысли, что ему совершенно не хочется выбираться наружу. Сидел бы вот так спокойно и пил бы кофе. Но кофе кончился, и нужно было идти семь километров по вечной лунной пыли и смотреть, что там случилось с этим проклятым радиомаяком.

Георгий убрал термос и пустую кружку в шкафчик и некоторое время неподвижно сидел в пилотском кресле, потом провёл ладонью по ёжику коротко остриженных светлых волос, вздохнул и надел шлем.

«Все-таки сегодня — «пятница, тринадцатое», — подумал он, застёгивая замки у шеи и проверяя герметичность. — Надо быть особенно осторожным».

В центре пилотской кабины, в полу, находился люк, ведущий в кессон. Кессонная камера имела очень низкий потолок и, хотя могла вместить в себя трёх человек, всё равно была тесной и неудобной даже для одного.

Шлыков не торопясь влез в камеру, задраил крышку люка и включил вакуумные насосы. Взгляд приковала красная стрелочка манометра внутри шлема, которая медленно ползла к нулю. Этот манометр показывал внешнее давление. Рядом был установлен другой манометр — для определения давления внутри скафандра. Его зеленая стрелка недвижно

стояла на значке «одна атмосфера». На стене кессона тоже был прибор, и его стрелка также неспешно двигалась по циферблату. Георгий вдруг подумал, что манометр — это один из основных приборов в космосе, и от его показаний многое зависит.

Ткань скафандра неожиданно быстро стала распухать от внутреннего давления. Шлыков покосился на приборы.

«Вот как сейчас лопнет эта новая модификация!» — молнией пронеслось в голове, и неприятный холодок разлился по телу.

«Ладно-ладно, — успокоил себя Георгий. — Всё будет нормально».

Вспыхнули красные огни — откачка воздуха закончилась. Шлыков несколько раз повернул штурвал выходного люка и откинул крышку. В проём хлынул поток ослепительного солнечного света. Пришлось надвинуть на лицевое стекло дополнительный светофильтр, прежде чем выбираться наружу.

Космонавт в скафандре весит на Луне около пятнадцати-двадцати килограммов, но его масса равна тому весу, который он имел бы, находясь на Земле. Это несоответствие между массой и весом удивляло особенно тех, кто впервые попадал сюда. Сознание отказывалось признать этот факт, но реальность постоянно заставляла в него поверить, особенно во время ходьбы, когда явно создавалось ощущение, что внутри тела заключен тяжёлый упругий шар, который выдаёт своё присутствие в самые неподходящие моменты. И сколько раз новичкам приходилось подниматься с пола под смешки более опытных коллег. Правда, особая, «лунная», походка вырабатывалась очень быстро.

Шлыков неспешно шагал вверх по пологому склону, покачивая металлическим чемоданчиком в руке. Его окружал залитый беспощадным Солнцем мёртвый, будто золой засыпанный мир. Небо трудно было назвать чёрным; оно сияло мириадами звёзд, густо рассыпанных золотым песком по бескрайней бездне, и Солнце не гасило своим огнём их яркого блеска.

Георгий остановился и оглянулся. Для этого ему пришлось повернуться всем корпусом: угол зрения через лицевое стекло гермошлема был относительно небольшим.

Цепочка следов бежала от ног космонавта вниз по склону к сверкавшему зеркальной обшивкой космоботу. Он был похож на небольшую бочку с тремя длинными коленчатыми, как у паука-сенокосца, ногами. За космоботом растянулся зубчатой стеной кряж лунного цирка. Глубокие тени густой тушью залегли в складках горного хребта. Его уходящие в разные стороны вершины скрывались за близким горизонтом, и трудно было поверить, что там, за линией разделения неба и тверди, эта каменная гряда изгибалась, обегала по кругу огромное пространство, образуя гигантское кольцо.

Шлыков повернулся и продолжил свой путь. Он поднимался на небольшой холм, с которого надеялся разглядеть злополучный маяк. Он не смотрел по сторонам, как в свои первые дни пребывания на Луне, а по выработанной за два года привычке внимательно глядел себе под ноги, хотя однообразная, усеянная камнями лунная почва не выглядела опасной.

Подъём резко уменьшился, и скоро Георгий остановился на вершине холма. Он поднял глаза и замер. Если бы он был поэтом или художником, то, наверное, описал бы, как у самого горизонта на сверкающем от звёздной пыли чёрном бархате неба лежал огромный сапфировый шар Земли, изливающий из своих глубин ровный завораживающий свет, который приковывал к себе взгляды и заставлял сжиматься сердца тех, кто волею судьбы оказался во власти космической пустоты. Но Шлыков не был поэтом, к тому же слабо представлял себе, как выглядит настоящий сапфировый шар. Он просто неподвижно стоял и смотрел на родную планету, окутанную воздухом, жизнью и теплом. Правый край голубого диска был съеден тьмой наступающей ночи, и в эту тьму незримо уплывало извилистой бурой линией западное побережье американского континента. Полюса туманились белоснежными ледяными шапками. В синеве Тихого океана расплавленным золотом сияло пятно отражённого солнечного света. Казалось, земной шар светится изнутри. Не было видно ни единого облачка в атмосфере, что случалось весьма редко. Этой картиной можно было любоваться часами.

Георгий с трудом отвел глаза и внимательно оглядел лежащую перед ним долину. Взгляд скользил по слегка волнистой серой поверхности, местами изрытой большими и малыми

воронками от падения метеоритов и пересечённой ломаными линиями трещин. Всюду лежали камни, от которых длинно тянулись резкие тени. Дальше шёл сравнительно ровный участок, и на его ближнем краю, рядом с тёмной скалой, сверкала яркая точка. Это отражали солнечный свет хромированные детали радиомаяка.

«Где-то около километра», — прикинул на глаз расстояние Шлыков и собирался уже отправиться в путь, как его внимание привлекла едва заметная звёздочка, вынырнувшая из-за близкого горизонта. Она быстро поднималась в небе, и в наушниках гермошлема раздался характерный шум.

«Спутник связи», — догадался Георгий, провожая взглядом мерцающую звёздную пылинку.

Шум резко прервался, и возник равнодушный незнакомый голос:

— Два нуля семёрка, как меня слышите? Приём! Два нуля семерка...

— Я два нуля семёрка! — неожиданно для себя выкрикнул Шлыков и, спохватившись, более сдержанно добавил:

— Слышу вас хорошо. Приём!

В наушниках раздался чей-то далёкий возглас, и в гермошлем ворвался взволнованный голос главного инженера:

— Жора! Как у тебя дела?! Где ты находишься?!

— Всё нормально, Пётр Сергеевич, — ответил Георгий. — Я примерно в километре от маяка. Минут через десять буду на месте.

В наушниках послышался облегчённый вздох.

— Как скафандр? — спросил главный инженер.

— Прекрасно, — успокоил Шлыков. — Лёгкий, удобный. Микроклимат в норме. В общем, отличный костюмчик.

— Ты поаккуратней там, — донёсся голос начальника Базы. — Особенно не спеши, но и не затягивай с ремонтом. Как запустишь маяк, сразу сообщи. Не забывай, осталось семьдесят минут.

— Сообщу, если спутник над головой висеть будет, — пробурчал Георгий и невольно взглянул на небо. Мерцающая пылинка быстро приближалась к зениту.

Начальник Базы покашлял: спутники связи были для него большой темой. Планировалось «повесить» в космосе несколько спутников в зонах равновесия сил притяжения Земли и Луны. Но присланные два первых спутника по неизвестным причинам отказались работать. Разбирательство и перепалка между поставщиком и лунной базой продолжались уже несколько месяцев. А пока эфир заполнялся официальными шифрограммами, главный инженер вместе со Шлыковым и ещё двумя помощниками почти из ничего собрали небольшой маломощный ретранслятор. Оснастив его лепестком списанной солнечной батареей, они с помощью твёрдотопливного ускорителя забросили ретранслятор на низкую круговую орбиту. Спутник получил название «Малыш» и через каждые 110 минут всплывал над горизонтом, обеспечивая, хотя и с перерывами, контакт между базой «Земля-2» и пятью другими базами, разбросанными по лунному полушарию. А самое главное, появилась связь для тех, кто, подобно Шлыкову, отправлялся на космоботе в дальние районы. Раньше для этих целей через мощную станцию на Земле организовывали радиоканал, но он получался очень дорогим и неудобным: приходилось выжидать, пока земной шар провернётся на своей незримой оси и антенна наземной станции космической связи окажется в зоне видимости Луны.

В общем, главный инженер сделал всё, что мог, и теперь начальник Базы чувствовал себя обязанным предпринять решительные действия со своей стороны. Он с удвоенной энергией принялся забрасывать Землю срочными радиограммами с просьбами и требованиями прислать новые спутники, но в ответ получал одно: «Вопрос решается». И сейчас он понимал, отвечать придётся ему, если, не дай Бог, что-то случится со Шлыковым, и никого не будут интересовать оправдания. Начальник готов был плюнуть на всё и вернуть Георгия обратно, но тогда идущий к Луне корабль вынужден будет остаться на селеноцентрической орбите; сорвётся научная программа исследований, а за это снова ответит он, начальник базы. В общем, куда не кинь — всюду клин.

Начальник ходил мрачнее тучи и каждое упоминание о спутнике связи воспринимал, как упрёк в свой адрес. Но его никто и не думал упрекать. Шлыков, говоря о спутнике, не вкладывал в свои слова какого-либо подтекста. Он просто сказал то, что сказал, и больше ничего.

«Малыш» неотвратимо скатывался к горизонту и вскоре скрылся за неровным краем черно-серой гряды скал. Связь исчезла.

Георгий невольно вздохнул, постоял несколько мгновений в задумчивости и не спеша зашагал вниз по откосу. В голову лезли тревожные мысли и мешали сосредоточиться. Желание быстрее завершить работу и вернуться на космобот усиливалось с каждым шагом.

Неожиданно под ногой скользнул камень; Шлыков потерял равновесие и, взмахнув руками, рухнул в пыль. Чемоданчик с запасным маяком отлетел далеко в сторону.

— Чёрт! — выругался Георгий и кинул тревожный взгляд на манометры. Их показания остались прежними. На индикаторной панели, размещённой внутри гермошлема под нижним краем лицевого иллюминатора, не появилось ни одного тревожного сигнала. Шлыков облегченно вздохнул. Он медленно сел и посмотрел на свои руки; перчатки и рукава скафандра были густо испачканы серой пылью. Шлыков неспешно поднялся на ноги и стал отряхиваться. Пыль легко слетала с пластиковой ткани и легкими, почти невидимыми облачками опускалась на камни.

Очистив себя от пыли, Георгий выпрямился и поискал глазами чемоданчик. Тот лежал шагах в десяти на крупных каменных обломках. Солнце тускло отсвечивало на его металлическом боку.

Подойти и подобрать чемоданчик было делом нескольких секунд и не бог весть каких физических усилий, однако после этого Георгий вдруг почувствовал странную усталость во всём теле. Сердце билось ровно, но как-то необычайно сильно, и эта сила нарастала с каждым ударом; пульс очень чувствительно отзывался в висках и, казалось, если так будет продолжаться, то вены не выдержат и разорвутся от мощных толчков крови. Лёгкие тоже вели себя необычно: вдох проходил очень легко, но выдох давался с заметным трудом. В ушах нарастал шум, в глазах темнело, и вид лунного пейзажа казался каким-то нереальным, даже сюрреалистичным. Шлыков замер, закрыл глаза и постарался успокоить дыхание. Через некоторое время ему это удалось. И даже сердце перестало так громко отдаваться в висках.

Он открыл глаза. Всё было нормально. Лунные горы были лунными горами, лунные камни оставались лунными камнями, а Солнце всё так же ослепительно сияло в чёрном звёздном небе. И ещё оно сияло на металлических частях радиомаяка, до которого оставалось не более десяти минут ходьбы. Правее маяка и несколько ближе возвышалась скала. От неё тянулась вправо неприступной стеной чёрная каменная гряда, за которой скрывалась равнина лунного цирка Аристотель.

«Неужели у меня приступ „лунной лихорадки“? — подумал Шлыков. — Вот и до меня она добралась. Действительно, коварная болезнь».

Он снова посмотрел на стрелки манометров. Всё было в норме. Медицина не подтверждала существование такой болезни, но среди тех, кто работал на Луне, ходило поверье, что «лунная лихорадка» существует.

«Наверное, это было от неожиданного падения, — решил Георгий. — И нет никакой лихорадки». Ему не хотелось признаваться даже самому себе, что на несколько мгновений потерял контроль над собой и просто-напросто испугался.

Он окончательно успокоился и осторожным шагом направился в сторону маяка. Вскоре его походка стала уверенней; он вновь размахивал чемоданчиком и даже тихонько напевал себе под нос. Правда, теперь он более осторожно выбирал дорогу и думал о том, что неплохо бы, дождавшись посадки корабля, уговорить начальника экспедиции выделить ему один вездеход, чтобы добраться до космобота.

— Что значит — «уговорить», — бормотал Шлыков. — Надо потребовать! Я из-за них в отпуск не поехал, прилетел хрен знает куда и буду уговаривать, просить. Не-ет, дорогие мои! Только требовать! И пусть попробуют мне отказать...

Пройти оставалось всего ничего: уже четко были видны блестящие стойки треножника маяка. Глаза отыскивали циферблат электронного хронометра в центре приборной панели: до посадки корабля оставалось ещё около пятидесяти минут.

— Успею,— буркнул Шлыков.— Дел-то на пару минут; замену маяк полностью, а с неисправным буду разбираться на базе.

Он поднял глаза и встал как вкопанный. Он ничего не видел, то есть абсолютно ничего. Его взгляд утонул в чернильной черноте, и крохотная мысль о неожиданной слепоте стала раздуваться призрачной холодной медузой, готовой охватить сознание скользкими щупальцами ужаса. Скорее повинувшись инстинкту, Георгий снова посмотрел на приборную доску и убедился, что со зрением все в порядке: он прекрасно видел зеленоватое свечение стрелок и индикаторов. Тогда он обернулся и сразу всё понял: рассуждая с самим собой, он просто не заметил, как вошёл в густую тень, которую отбрасывала на поверхность теперь уже близкая скала.

— Что-то я сильно разнервничался сегодня,— пробормотал Шлыков, чувствуя, как в груди медленно растворяется холодок едва возникшего страха, но сердце продолжало учащённо биться.

Он вернулся немного назад, вышел из тени и зашагал вдоль её границы. Ему хотелось побыстрее развязаться с этим мелким, но досадным ремонтом, дожидаться посадки корабля, а потом в кают-компании содрать проклятый гермошлем, вдохнуть полной грудью хоть и искусственный, напитанный запахами пластика, озона и аптеки, но всё равно более земной воздух.

И вдруг он увидел такое, что заставило его остолбенеть. Сказать, что он застыл, словно громом поражённый,— это ничего не сказать. Возможно, просто не существует эпитета, способного описать то состояние высшего удивления, которое испытал Георгий Шлыков в тот момент. Под чёрным звёздным небом, по лунной пыли и камням бежала небольшого роста девушка в серебристой тунике. Её светлые волосы были стянуты на затылке узлом. Солнечным золотом сверкали на ногах сандалии, тонкие ремешки которых обвивали крест-накрест смуглые лодыжки. Рядом с девушкой, вывалив из пасти алый язык, бежала большая, похожая на водолаза, собака, и её густая белая шерсть серебристо искрилась на солнце.

Они бежали медленно, как во сне, едва касаясь лунного грунта, и пыль неспешно взлетала из-под их ног и так же неспешно опускалась.

Всё это было настолько фантастично, нереально и даже дико, что Георгий впал в состояние какого-то ступора. Его сознание, казалось, разбилось на множество осколков, каждый из которых существовал совершенно независимо от других. Мысли налетали друг на друга, путались, вертелись в голове, как мошкара: «Красивая женщина!.. Нет, это невозможно! Что за бред?!.. Воздуха же нет! Чем они дышат?!.. Бред, „лунная лихорадка”. Я болен... Это галлюцинация... Галлюцинация!!!»

Шлыков закрыл глаза и даже заслонил лицевое стекло гермошлема руками. Глубоко вдохнув, он задержал дыхание и принялся медленно считать: «Один, два, три... Неужели я заболел? ...шесть, семь... „Лунная лихорадка” — точно она! ...одиннадцать, двенадцать... Если всё обойдётся — слова никому не скажу про это! ...восемнадцать, девятнадцать... Мне всё равно в отпуск улетать. ...двадцать четыре, двадцать пять... Дома отдохну и всё пройдёт, а там пусть врачи своими объективными методами меня обследуют: если что-то не так, сами обнаружат. ...тридцать шесть, тридцать семь...»

В груди нарастала тяжесть, в ушах зазвенело, перед глазами замелькали разноцветные пятна, но он продолжал считать. Так он досчитал до ста восьмидесяти и выдохнул, затем медленно опустил руки и открыл глаза. Вокруг было по-прежнему пустынно, безмолвно и мертво.

— Фу-у ты,— шумно и с облегчением вздохнул Шлыков.— Слава Богу! Всё в порядке.

Он специально говорил вслух, чтобы слышать хотя бы свой собственный голос, и радовался тому, что пока нет связи с Базой: иначе там бы поднялся такой переполох!

— И ничего я не расскажу,— продолжал Шлыков говорить сам с собой.— Мало ли что может привидеться от усталости и переутомления. Вот были, и вот их не...

Он осёкся, и внутри у него всё похолодело. Его блуждающий взор наткнулся на две маленькие фигурки — девушка и собака продолжали бежать, быстро удаляясь от космонавта. Вот они завернули за высокую скалу и исчезли.

Георгий несколько мгновений оцепенело смотрел на эту скалу, потом вдруг дико вскрикнул и бросился бежать за ними.

Он бежал, не разбирая дороги. Сердце втиснулось в самую глотку и пульсировало там, мешая дышать. Шум дыхания врвался в уши и готов был разорвать голову. Шлыков уже совершенно ничего не соображал. Мысль о том, что надо как можно быстрее заглянуть за скалу, захватила всё его существо. Он даже порывался отбросить в сторону чемоданчик, но что-то удержало от этого.

И тут он успокоился. Даже перешел с бега на быстрый шаг. И даже пробормотал:

— Как много, друг Горацио, на свете, что и не снилось нашим мудрецам.

Причина этого спокойствия была в том, что девушка и собака не оставили следов на лунной пыли.

«А вдруг это не галлюцинация, а необычный мираж, — подумал Георгий. — Какой-нибудь лунный мираж. Мираж Шлыкова! Очень даже ничего — звучит...»

Он снова посмотрел на приборную доску в нижней части гермошлема; все показания были в порядке. Правда, внутренний манометр отмечал едва заметное увеличение давления, но это отклонение было в пределах нормы.

Наконец Шлыков добрался до скалы. Её каменная поверхность была изрезана сетью трещин и покрыта кляксами густых теней, рождённых бесконечным множеством выступов и неровностей. Георгий прикинул, что, пожалуй, на эту скалу можно взобраться без особого труда: склоны были не очень отвесны.

Он продолжал идти, и вскоре крутой бок скалы начал заворачивать вправо и затем слился с каменной грядой, идущей дальше — в сторону горного кольца лунного цирка; Шлыков оказался на краю бескрайней равнины, превращённой в посадочную площадку космодрома. Георгий повернулся всем корпусом налево и посмотрел в сторону радиомаяка; до него оставалось каких-нибудь двести метров. Возникла мысль о том, что сначала надо разобраться с маяком, а уж потом гоняться за призраками, какими бы реальными они ни были. Борьба между чувством долга и инстинктом исследователя продолжалась только несколько мгновений, и вот человек в белом скафандре как бы нехотя двинулся в сторону сверкающего хромированными деталями треножника.

«У меня ещё будет время осмотреться, — думал Шлыков. — У меня ещё целый вагон времени».

Он бросил взгляд на табло хронометра: с момента последнего сеанса связи прошло 22 минуты. Значит, до посадки корабля осталось где-то минут сорок, а если быть совсем точным, то — тридцать восемь.

Ещё целых тридцать восемь минут! За это время можно заменить не один, а десять маяков... и даже сплясать вокруг каждого из них.

Шлыков усмехнулся и посмотрел в сторону скалы. Через мгновение, отшвырнув в сторону чемоданчик, он изо всех сил бежал, и даже не бежал — летел, едва касаясь ногами лунной поверхности, забыв о чувстве долга и вообще о каких-либо чувствах. Он бежал к каменной гряде, ярко освещённой жгучим Солнцем, потому что там, у самого подножия, призрачным зеленоватым светом мерцал огромный туманный купол. Сознание отказывалось в это верить, но сквозь легкую аквамариновую дымку купола хорошо просматривались ветвистые деревья с богатыми кронами. В голове мощным пульсом билось: «Мираж, мираж, мираж...».

Но это был не мираж.

Лениво шевелили изумрудными листьями деревья, похожие на земные тополя. Их гладкие золотистые стволы обвивали фиолетовые лианы. Густая высокая трава покрывала всю землю вокруг, и сквозь этот зелёный ковер пробивались необычные цветы с крупными серебристыми бутонами.

— Воздух, деревья, трава, серебряные цветы, — бормотал Георгий, стоя у самой стены прозрачного купола. — Этого не может быть. Этого просто не может быть!

Он закрыл глаза, сосчитал до десяти и снова открыл глаза. Купол оставался на месте.

— Я сошёл с ума, — равнодушно констатировал Шлыков и посмотрел себе под ноги. Он стоял на выжженном солнцем реголите, а в двух шагах полыхала зелёным огнём жизнь. Эти два мира были отделены друг от друга почти невидимой прозрачной плёнкой; рука в перчатке натолкнулась на её упругость. Георгий нажал сильнее, и пальцы прошли сквозь оболочку. Их сильно сдавило со всех сторон, словно они погрузились в ртуть. Захотелось сорвать какую-нибудь травинку и рассмотреть поближе. Шлыков медленно опустился на колени и потянулся к ближайшему растению, похожему на лист гигантского ландыша. При этом упругая граница купола почти достигла плеча, а рукав скафандра, оказавшийся по ту сторону, плотно обжал руку. Лист оторвался легко, но Георгий поднёс к стеклу гермошлема скрученную ссохшуюся трубочку, которая рассыпалась при первом неосторожном движении: растение, попав в мёртвый мир, было мгновенно высушено вакуумом. Шлыков находился в мире смерти.

Всё, что происходило сейчас, было похоже на странный сон. Сон, в котором всё — реально. Сознание цеплялось за какие-то жалкие объяснения: сон, мираж, галлюцинация. Оно отказывалось признать одно — это происходит на самом деле. И этот отказ возник из представлений о строении мира — о том, что может быть и чего быть не может, — из жизненного опыта, наконец. А нужно было смотреть на это глазами ребёнка. Просто смотреть и просто удивляться, не мучаясь тем, что всё это противоречит науке.

Шлыков поднялся с колен, постоял несколько мгновений и затем медленно прошёл сквозь невидимую оболочку купола. Ткань скафандра плотно облепила тело; манометр показал, что внешнее давление почти в два раза превышает земное. Заплясали разноцветные столбики индикации газоанализатора: кислорода — 46,2 процента, азота — процента. Остальное составляла смесь нейтральных газов, в которой больше всего было ксенона. Это Георгий отметил чисто механически, по старой привычке. Ещё у него мелькнула мысль, что здесь можно находиться без скафандра.

Через несколько шагов сапоги стали мокрыми от росы. Покрывавший их слой лунной пыли сначала превратился в грязь, а затем счистился упругими сочными стеблями шуршащих под ногами растений. Шлыков старался не наступать на серебряные цветы, очень похожие на цветы лотоса. Вскоре пришлось продирается сквозь заросли кустарника и переплетённые лианами ветви деревьев. Широкие мокрые листья хлестали по ткани скафандра. Иллюминатор гермошлема покрылся водяными кляксами и каплями. Георгий остановился, отлепил от иллюминатора обрывок зелёного листа и протёр стекло рукой. Но стало ещё хуже: капли слились в сплошную водяную пленку, сквозь которую внешний мир снова показался призрачным — нечётким и размытым.

— Чёрт! — выругался Шлыков, размазывая воду по стеклу. Скафандр был явно не приспособлен для влажной среды, да его, в общем-то, не для этого и создавали. Георгий пожалел, что у него нет во внешнем кармане платка или чего-нибудь подобного.

«А почему бы не снять шлем? — мелькнула совершенно сумасшедшая мысль, и глаза произвольно покосились на цветные столбики газоанализатора. — Кислород, азот, благородные газы; никакого метана или циана. Да и автоматика не позволит снять скафандр, если внешняя среда будет опасной».

И руки сами потянулись к шее — к внешним замкам.

Шлыков не смог бы сейчас объяснить, почему он поступает так, а не иначе. Возможно, потрясение от происходящего было настолько глубоко, что голос разума, накрепко связанный с инстинктом самосохранения, оказался бессильным. Мысль о том, что здесь могут существовать опасные вирусы и бактерии, даже не возникла.

Замки сработали. Раздался короткий, быстро затихший свист. С болью заложило уши — это внешний воздух ворвался внутрь скафандра; выравнивая давление — пришлось сделать несколько глотательных движений.

Георгий стоял со шлемом в руке среди высоких влажных деревьев. Он ощущал запах дождя, цветов и свежей травы. Лица касался прохладный ветерок. Это был яркий, светлый мир, но небо над головой было чёрным, с россыпью звезд, и от этого на душе становилось жутко.

Через несколько шагов Шлыков вышел из рощи и остановился на краю большой поляны, сплошь усеянной серебряными цветами. На поляне с цветком в руках стояла девушка в серебристой тунике. У её ног лежала собака. Они внимательно, без всякого удивления смотрели на пришельца в странном одеянии.

Георгий не знал, что делать дальше. У него кружилась голова, и всё плыло перед глазами — наверное, от сильного волнения. Он провел языком по пересохшим губам и медленно, на ватных ногах, двинулся к двум непонятно откуда взявшимся существам. Всё было как во сне, необычном сне — слишком реальном и совершенно невозможном. И этот сказочный лес, и эта поляна, и эти цветы с пьянящим ароматом, и этот лохматый пёс, чьи бока ходили ходуном от частого дыхания, и эта девушка в серебряной тунике.

Всё это было.

И этого не было.

Шлыков остановился перед девушкой. Он посмотрел в её невозможно синие глаза и вдруг испугался, что она исчезнет, растает как утренний туман. Он хотел сказать что-нибудь, но слова не шли из его пересохшего горла. В голове возник целый рой мыслей. В самом деле — кто стоял перед ним? Существа какого мира, если это не было галлюцинацией? Уж слишком земной вид они имели. По человеческим меркам этой девушке, а точнее, молодой женщине, можно было дать лет около тридцати. Вглядываясь в её лицо, Георгий увидел едва заметные морщинки возле глаз, и этот маленький штрих вдруг снял все сомнения: перед ним стоял человек из плоти и крови. Огромный лохматый пёс тоже вел себя слишком по-земному; ему было жарко, он шумно и часто дышал, высунув из зубастой пасти алый лоскут языка.

Женщина немного исподлобья посмотрела на Шлыкова и вдруг протянула ему свой цветок. Георгий пожалел, что на руках перчатки. Он осторожно поднес к лицу серебряный бутон, вдыхая тонкий, нежный аромат, напоминающий аромат утренней розы. Он ощутил щекой прикосновение упругого лепестка и снова подумал, что всё это на самом деле происходит. Он этим словно доказывал себе, что не сошёл с ума.

Внезапно пёс беспокойно шевельнулся и заворчал. Женщина бросила быстрый взгляд куда-то вниз и немного в сторону и затем тревожно посмотрела на Шлыкова, словно спрашивала, что он прячет за спиной?

— Что случилось? — спросил Шлыков и вдруг подумал, что это первые произнесенные им слова в этом странном мире.

Женщина снова показала на что-то глазами. Георгий поднял левую руку, сжимающую шлем и понял, что их заинтересовал именно шлем. Но тут он насторожился: из шлема доносилось какое-то бормотание.

«Да это же корабль! — ахнул Шлыков. — Как я мог об этом забыть?!»

— Я должен идти, — сказал он женщине. — Но я вернусь. Обязательно вернусь.

С этими словами он надел шлем и застегнул замки. В уши ворвался вихрь голосов:

— ...семёрка, семёрка, отвечайте!.. Я ЭР-четыре! Перехожу на круговую орбиту... Шлыков, ты слышишь меня? Что случилось?! ...Борт два нуля семь, ответьте! ...Не вижу третьего маяка! Что будем делать?! ...семёрка, семёрка...

Георгий бросился бежать к роще. На краю поляны он на миг остановился и оглянулся. Два фантастических и в то же время таких земных существа смотрели ему вслед. Он махнул им на прощание рукой и скрылся среди деревьев.

Ветви изо всех сил хлестали по скафандру. Стекло гермошлема снова покрылось водяной плёнкой. С трудом разбирая дорогу, Шлыков ломился через кустарник, как танк. Раза два он чуть было не упал. Наконец деревья расступились, и взору открылись серые горы и выжженная солнцем равнина лунного цирка; оставалось преодолеть почти невидимую границу воздушного купола. Внутреннее пространство гермошлема тонуло в тревоге радиоголосов. Георгий снова оглянулся. Деревья прощально шевелили изумрудной листвой.

— ...Я ЭР-четыре. Перехожу на круговую. До точки принятия решения осталось шесть минут. Радиомаяка не вижу.

— ...Шлыков! Шлыков! Ответь!!!

— ...два нуля семёрка, ответьте диспетчеру...

— Ну, ладно,— пробормотал Шлыков и медленно, словно в ледяную воду, вошёл в безвоздушный, мёртвый, но уже привычный мир лунного безмолвия. Он всем телом ощутил этот переход: скафандр снова раздулся, и вернулось ощущение какой-то обнажённости, незащитности перед внешней природой, но оно тут же отступило, сжалось и спряталось маленьким шершавым комочком где-то в горле. «Я не успел починить маяк!!!» — эта страшная мысль забилась в голове, подавляя собой все остальное. Глаза сами собой обшаривали горизонт и вдруг наткнулись на сверкающий треножник маяка.

— Так он же совсем рядом!!! — закричал Шлыков и бросился вперёд.

— Шлыков, это ты? Почему не отвечаешь?! — немедленно отозвался эфир голосом главного инженера.

Но отвечать было некогда. Георгий, может, и отозвался бы, но что-то ему мешало это сделать. Он физически не мог выдать из себя ни единого слова. Он бежал изо всех сил, и мысль о том, что недавно отброшенный чемоданчик затеряется среди лунной пыли и пепла, приводила его в ужас. И этот ужас мешал думать, сводил судорогой мышцы, мутил взор. Все приборы перед глазами слились в какое-то красно-зелено-фиолетовое пятно, а лунные горы и камни разрастались до невероятных размеров, лезли сквозь стекло гермошлема, толкались, заполняли собой все вокруг, мешали дышать и смотреть. И вдруг среди этого хаоса блеснул металлический прямоугольник. Сознание на миг прояснилось, и всё стало необычайно чётким и ясным.

— Шлыков, не молчи, отвечай! — настойчиво звал эфир и тут же другим, спокойным голосом, но в котором пряталось нервное напряжение, сообщал: — До ТПР осталось четыре минуты, маяка не вижу.

— Сейчас-сейчас,— бормотал Шлыков, поднимая чемоданчик. А может ему только казалось, что он что-то говорит, потому что База голосами главного инженера и диспетчера продолжала его настойчиво вызывать: они его не слышали.

До маяка было шагов двадцать — совсем ничего. Но и времени совершенно не оставалось. Уже немного навязший в ушах голос напомнил:

— До ТПР — три минуты. Маяка нет.

И тут же другой голос безнадежно произнес:

— Два нуля семёрка, ответьте диспетчеру.

Огромный корабль где-то там, в пустоте, нёсся по лунной орбите, неминуемо приближаясь к тревожной ТПР — точке принятия решения. Именно в ней старший пилот должен отдать приказ: включать двигатели торможения или уходить на следующий круг орбиты. Мощные радиоприемники корабля принимали сейчас сигналы со всех лунных баз этого полушария, обеспечив на некоторое время всеобщую связь. Они засекали почти все работающие на поверхности передатчики, но не уловили самого главного сигнала — сигнала от одного из посадочных маяков.

— Два нуля семёрка, ответьте диспетчеру...

— До ТПР — две минуты. Маяка нет.

Неожиданно в эфир ворвался чей-то властный голос.

— Внимание всем! Тишина на циркуляре!

Шлыков уже был у треножника. Он опустился на колени и теперь пытался непослушными пальцами открыть замки чемоданчика. Простейшие замки, которые мог бы открыть и ребенок, не поддавались.

— До ТПР минута тридцать.

Один замок открылся. Шлыков до крови закусил губу. Его бил нервная дрожь, из горла рвался кашель. «Скорее, скорее», — стучало в голове. Он проклинал всё на свете и в первую очередь свой новый скафандр. Внутреннее давление раздуло перчатки, и пальцы с трудом прощупывали замок сквозь прочную ткань.

— Ходить в нём удобно, работать невозможно,— бормотал себе под нос Георгий. Наконец второй замок тоже открылся.

— До ТПР минута десять,— донеслось из наушников.

— ...а работать невозможно,— продолжал бормотать Шлыков, пытаясь непослушными пальцами состыковать цилиндр излучателя с кабелем солнечной батареи.

— Минута! — совсем рядом раздался голос, в котором нервная нотка разрослась до целой гаммы.

— Сейчас-сейчас, — шевельнул одними губами Георгий. Проклятая вилка кабеля никак не вставала в гнездо разъема.

— Пятьдесят секунд! — торжественно прозвучали наушники.

Вилка выскользнула из пальцев, и Шлыков раздражённо зашипел, подавляя возникающий в горле нервный кашель.

— Сорок секунд! — вырвалось из шороха эфира.

И вдруг Шлыков ощутил всей кожей, всем своим существом, что по ту сторону этого шороха замерли сейчас в напряженном ожидании сотни, а может быть, и тысячи людей. И это ожидание не радиоволнами, а какими-то телепатическими каналами достигло сознания и заставило Георгия взять себя в руки.

— Тридцать секунд!

Он снова попытался вставить в гнездо упрямую вилку, и это ему удалось.

«Слава Богу!» — пронеслось в мозгу, но, как только он убрал руку, питающий кабель безвольно соскользнул на грунт. Шлыков не верил своим глазам. Он снова схватил кабель и внимательно его осмотрел: вилка была безнадежно сломана.

«Видимо, в спешке слишком сильно нажал, — пронеслась в голове мысль, и её тут же догнала другая. — Идиот!»

— Двадцать секунд! — донеслось из наушников.

Шлыков набрал в легкие побольше воздуха и заорал так, что зажгло лёгкие и зазвенело в ушах:

— Твою мать!!!

Он тут же ощутил, как всё содрогнулось от неожиданного крика, он словно увидел, как эти тысячи людей — по ту сторону эфира — вздрогнули, побледнели, недоуменно посмотрели по сторонам. И в это мгновение всеобщей растерянности, до ненормальности спокойный голос напомнил:

— Тишина на циркуляре.

Скорее всего это был первый пилот корабля.

И Шлыков неожиданно успокоился. Он почувствовал себя непробиваемо спокойным и абсолютно уверенным.

— Десять секунд! — прозвучало в гермошлеме. Дальше невидимый оператор озвучивал каждую секунду. — Девять, восемь...

«Я действительно идиот! — мысленно обругал себя Шлыков. — Там же есть встроенные аккумуляторы!!!»

— ...шесть, пять, четыре... — нервно отсчитывались последние мгновения.

Георгий Шлыков высоко поднял над головой цилиндр радиомаяка, словно факел, и на его боковой стенке большим пальцем сдвинул рычажок тумблера. Голос оператора пресекался, но затем скороговоркой выпалил:

— Есть сигнал от третьего маяка!

Шлыков снова ощутил, как множество людей в этот миг облегчённо вздохнуло.

— ...три, два, один! — окончил счёт оператор и несколько нервно, глотая слог, выкрикнул:

— Точка принятия решения!!!

(Прозвучало как: «Тчка прнятия ршения!»)

И, будто действительно ставя точку, раздался голос командира корабля:

— Садимся!

Теперь и Шлыков облегчённо вздохнул. Продолжая держать высоко над головой радиомаяк, он оглянулся. Зеленовато-синий купол воздуха был на месте, чётко рисовались кусты и деревья. Даже было видно, как ветер шевелит листвой. Но вдруг сквозь эту картину стала проступать другая — серая, с чёрными провалами трещин скальная стена. Купол неудержимо таял, растворялся в чёрно-сером фоне. Георгий почувствовал сильное головокружение, его начал бить частый кашель, разрывая легкие. Губы ощутили солоноватый привкус.

Купол исчез. Остались только камни и скалы.

Шлыков ещё успел заметить, как с чёрного неба скользнула крупная звезда, превратилась в маленький диск и выбросила ослепительный, тонкий, как спица, лучик света. Потом всё заволокло багровым туманом, и Георгий потерял сознание.

Сначала появилась жгучая боль. Она медленно растекалась в разные стороны, достигая определённых границ, и скоро разлив боли принял форму человеческого тела. Оранжевым пламенем силуэт тела переливался перед глазами Шлыкова. В какой-то миг он понял, что видит самого себя, и удивился, как это возможно? Внезапно всё поплыло перед глазами, откуда-то возник слабый свет, медленно разросся до размеров небольшой комнаты с белыми стенами и потолком. Боль, наоборот, отступила, сжалась до маленького пульсирующего комочка где-то в груди. Георгий вздохнул и широко открыл глаза.

Он сразу узнал медицинскую палату Базы. Здесь всё было ослепительно белым, пахло лекарствами и нашатырным спиртом. Откуда-то сбоку доносилось негромкое тиканье. Через некоторое время Георгий догадался, что это медицинские приборы отсчитывают его пульс, а если задрать голову и посмотреть в сторону тиканья, то можно было увидеть прямоугольный экранчик, где по чёрному полю бежал частокол зелёных импульсов. Ещё Шлыков обнаружил, что лежит весь переплетённый тонкими витыми проводами; они тянулись от многочисленных датчиков, приклеенных к телу пластырем, затем собирались в толстый жгут и исчезали за спинкой койки.

В двух шагах от койки высилась хромированная стойка капельницы. Дальше — у стены, рядом с входной дверью — стоял стеклянный шкаф, полки которого были заставлены разнообразными пузырьками и коробочками. Одна из прозрачных створок шкафа была приоткрыта. Из матовых потолочных панелей лился неяркий бледный свет.

— Эй! — позвал Шлыков. Получилось очень тихо и неубедительно.

— Есть здесь кто-нибудь? — повторил он попытку и прислушался. Кроме тиканья приборов других звуков не раздавалось.

Шлыков заворочался на постели и стал глазами искать кнопку вызова врача. Он не знал, где она находится и есть ли она вообще, но предполагал, что она должна быть где-то под рукой больного.

Внезапно входная дверь распахнулась, и в палату втиснулся совершенно лысый толстяк в белом халате до пят. Ткань халата сильно натягивалась на животе, а рукава едва прикрывали локти волосатых короткопалых рук. Это был хирург и главврач Базы — профессор Борис Аркадьевич Леонтьев.

— Ну что, герой, очнулся?! — пробасил он, добродушно осклабился и опустил свой широкий первый подбородок на второй — ещё более широкий.

— Всё нормально, — просипел Шлыков и поморщился: в горле неожиданно закололо.

— Что, больно? — ласково спросил профессор. — Это хорошо. Болит — значит, организм борется. Было бы гораздо хуже, если б ничего у тебя сейчас не болело.

— Если б ничего у меня не болело, я здесь бы не лежал, — буркнул Георгий.

— После всего, что с тобой произошло, это маловероятно, — сказал профессор и перестал улыбаться.

— А что, собственно, произошло?

— Видишь ли... — начал было свои объяснения Борис Аркадьевич, но тут зашуршал невидимый репродуктор и раздался голос начальника Базы:

— Доктора Леонтьева срочно прошу зайти ко мне!

Леонтьев вздохнул и направился к выходу.

— Я вернусь и всё тебе расскажу, — сказал он в дверях. — Потерпи немного. Тебе сейчас лучше всего поспать. И старайся не разговаривать: у тебя баротравма лёгких.

— Ничего себе — «поспать», — устало проговорил Шлыков, оставшись один. Он специально говорил вслух, наверное, из некоторого чувства протеста, но в груди действительно покалывало. Он закрыл глаза, но спать совершенно не хотелось. В голове вертелись обрывки мыслей, возникали и гасли картины лунных гор, равнин, звёздного неба и косматого

солнца. Всё это было ярко, чётко и понятно. Ещё он вспоминал женщину в серебристой одежде, цветы, огромную собаку, воздушный купол, деревья... Эти образы были призрачными и туманными.

Вдруг Шлыков ощутил чьё-то присутствие. Он вздрогнул и открыл глаза. Посреди палаты стоял, улыбаясь, худой светловолосый парень в синей госпитальной пижаме.

— А-а, Шура, это ты,— пробормотал Шлыков.— Как твой аппендикс?

— Да уж нет у меня никакого аппендикса,— радостно сообщил Колесников.— Ты-то как?

Он сделал два шага и осторожно присел на краешек койки.

— Я в полном порядке,— сказал Георгий и слегка покашлял, будто проверяя, болит горло или нет.

— Ну и ладно,— кивнул головой Шура.— Мне проф сказал, что ничего страшного, скоро поправишься.

— А что он по моему поводу ещё сказал?

— Ты что, Леонтьева не знаешь? Он все диагнозы при себе держит, никому ничего не рассказывает до поры до времени. К тому же комиссию у нас создали, разбирают твой случай, и, естественно, никто ничего не говорит. В общем, пахнет большими неприятностями.

Вдруг Шлыков вздрогнул и крепко схватил Шуру за руку:

— Слушай, а как посадка ЭР-четыре прошла?

— Да нормально прошла,— Колесников тихонько освободил свою руку.— Между прочим, если бы не ты, гробанулся бы корабль – во всяком случае была такая вероятность и очень большая.

— Почему?

— Видишь ли,— Колесников и пощипал себя за мочку уха.— Они после посадки провели тщательную геологическую, то есть селенологическую разведку, и оказалось, что на прямой линии, соединяющей два посадочных маяка — как раз те, которые работали,— грунт не очень надёжен. Ведь по правилам полётов в случае выхода из строя одного из трёх маяков разрешается садиться как раз в центре линии, которая соединяет два рабочих. Так?

— Ну, так,— согласился Шлыков.

— А в цирке Аристотель как раз в этом самом месте нашли вчера на глубине всего в один метр обширные пустоты. Мне селенологи об этом сегодня утром рассказали. Когда площадку выбирали, только центр посадочного треугольника проверили, а грунт по краям там бы не выдержал — это точно, уже посчитали. Так что на тебя сейчас все только и молятся, чуть ли не каждый час Леонтьева спрашивают, как он там, то есть ты.

— Ну-ну,— пробормотал Шлыков.— Вообще-то я не думаю, что они пошли бы на посадку без маяка, а встали бы на орбиту и дождались, когда третий маяк запустят. Я бы не смог, кого-нибудь другого прислали бы. Резервные же космоботы у нас есть. И сел бы корабль спокойно в центре треугольника без всякого риска.

— Да так-то оно так,— проговорил Колесников и снова пощипал себя за ухо.— Но тут ещё одно обстоятельство всплыло.

— Какое ещё обстоятельство?

Шура вдруг быстро оглянулся на дверь, потом наклонился к Шлыкову, чуть ли не к самому уху и, понизив голос, сообщил:

— У них там в навигационном компьютере, точнее в программе орбитального полёта, ошибка маленькая обнаружилась. В одном значении запятую не туда поставили. Представляешь?! Так что если б они на орбиту ушли, кораблю — кирдык. Вот так-то.

Шлыков был поражён. Неужели действительно всё может так совпасть и причём самым роковым образом? Он, правда, знал немало примеров удивительных совпадений и даже из собственной жизни, но таких ещё не встречал.

— Я и тогда говорил,— устало пробормотал он.— В пятницу тринадцатого лучше ничего серьёзного не делать. Нехорошее число.

Колесников только пожал плечами.

Через час в палату вошёл Леонтьев. Увидев, что его больные занимаются бурным обсуждением проблем из области теории вероятности, он нахмурился и опустил голову на грудь, при этом жирная складка второго подбородка накатила на ворот белого халата.

— Колесников, вы почему нарушаете больничный режим? — строго спросил профессор.

Шура вскочил с койки, вытянул руки по швам и чётко отрапортовал:

— Никак нет, господин профессор!

Он застыл, как оловянный солдатик, его глаза вылезли из орбит, а плотно сжатые губы с трудом сдерживали прорывающийся смех.

Леонтьев медленно приблизился к Колесникову, взял его за пуговицу пижамы и, глядя в потолок, задумчиво произнес:

— Гм... что-то я никак не могу вспомнить, когда у нас ближайший транспорт на Землю?

— Всё-всё-всё, — заторопился Шура. — Признаю свою вину. Я был не прав. Уже начинаю исправляться. Разрешите идти?

— И чем быстрее — тем лучше, — сказал Леонтьев, выпуская из рук пуговицу.

Колесников мгновенно исчез за дверью, и через несколько секунд из коридора донёлся его удаляющийся смех.

— Мальчишка, — беззлобно буркнул профессор, рассеянно озираясь. Наконец он увидел то, что искал — белый вращающийся стул на блестящей ноге.

— Я хочу с тобой поговорить, Георгий, — сказал Леонтьев, перенося стул к койке. По пути его свободная рука прикрыла дверцу стеклянного шкафа.

— Тут такое дело, — продолжил он, удобно усаживаясь и упирая руки в колени. — Собирается комиссия по расследованию обстоятельств несчастного случая, который с тобой произошел. Меня как раз по этому поводу и вызывал к себе начальник, просил, чтоб я со своей стороны составил медицинское заключение, так сказать. Сам-то что об этом думаешь?

— О чём? О заключении или о том, что произошло? — спросил Шлыков, глядя в маленькие серые глаза профессора.

— Естественно, о том, что произошло.

— А я и сам не понимаю, что произошло, — пробормотал Георгий, отводя взгляд. — У меня было странное состояние: я приближался к маяку и никак не мог до него дойти. Это было как во сне.

— Ну, а ты не мог бы рассказать подробнее о том, что ты делал и чувствовал, начиная с момента посадки и заканчивая потерей сознания?

— Пожалуйста, — ответил Шлыков. И, глядя в потолок, он рассказал обо всём, что делал, видел и чувствовал, ни словом не упомянув, однако, о таинственных и непонятных видениях. Он и не знал, как самому относиться к этому, но был твердо убежден, что если начнёт об этом говорить, то не избежать тогда психиатрической экспертизы. С другой стороны, ему очень хотелось, чтобы всё виденное им не являлось игрой затуманенного мозга, галлюцинацией, миражом. Хотя мираж — это явление природное, а следовательно, объективное. «Если бы это оказалось миражом, — подумал он, — я был бы уверен, что не свихнулся».

Когда Шлыков окончил свой рассказ, Леонтьев долго молчал, задумчиво глядя в стену.

— Ну, ладно, — наконец сказал он и хлопнул себя ладонями по коленям, поднимаясь со стула. — Так оно, скорее всего, и должно было быть. Ты не волнуйся, отдыхай, поправляйся, а я пойду пока займусь бумажными делами.

— Борис Аркадьевич! — воскликнул Георгий. — Вы же мне так ничего и не объяснили! Что со мной-то произошло?!

— Да, в принципе, ничего страшного, — спокойно произнес Леонтьев. — Просто что-то разладилось в системе контроля твоего скафандра — мне так объяснили. В общем, эта система, по непонятной пока причине, подняла внутреннее давление аж до двадцати атмосфер. Хорошо ещё скафандр выдержал, не лопнул. Короче, с тобой произошло почти то же самое, что случается с аквалангистами на большой глубине — азотное опьянение. При таком давлении азот начинает активно растворяться в крови, и человек может потерять

контроль над собой. Были случаи, когда аквалангисты сдирали маску с лица и погибали.

— Хорошо, что я не захотел снять гермошлем,— пробормотал Шлыков и вдруг сильно закусил губу.

— Да, это вполне могло произойти,— подтвердил Леонтьев.— Но тебе повезло, что твой гермошлем не сняли сразу же, как только внесли тебя в корабль. Кто-то обратил внимание, что скафандр как-то странно раздут, и догадался воспользоваться свободной кессонной камерой. Тебя поместили в неё, там сняли скафандр и затем несколько часов плавно снижали давление. Так что, считай, в рубашке ты родился: повезло тебе.

— Как утопленнику,— мрачно добавил Шлыков.

— Ладно-ладно,— улыбаясь, сказал профессор.— Не гневи Бога. Из такой переделки не каждому суждено выйти без потерь — уж я-то знаю. Вот только кашлять не надо было при высоком давлении: так и легкие можно совсем порвать.

И, уже стоя в дверях, добавил:

— А вот главному инженеру не повезло. Снимут его, скорее всего, с должности и на Землю отправят.

— Это за что? — удивился Шлыков.

— Ну как «за что»? Он ведь отвечает за исправность скафандров. Реально-то он, может быть, и ни при чём, но формально несёт ответственность. Хотя я в этом и не очень разбираюсь.

Он немного помолчал и, уходя, добавил:

— Я надеюсь, что комиссия объективно разберётся во всём.

Шлыков остался один. «Ага, разберётся,— думал он.— Объективно! Разработчики скафандра будут валить на изготовителей и главного инженера Базы (а заодно и на меня), изготовители будут валить на главного инженера (и снова на меня), а главный инженер... Он ни на кого валить не будет: он, как всегда, примет всё на себя. Просто удивительно, как такой человек дорос до такой должности? Хотя, возможно, был бы похитрее да понапористей, сидел бы где-нибудь в Управлении, в большом кабинете, и бумажки пере-кладывал».

Но тут его размышления перебила другая, более важная мысль. Если это азотное опьянение, то никакого лунного миража не было и в помине. И женщина, и собака, и купол жизни — всё было простой галлюцинацией, бредом отравленного человека. Шлыков испытал неожиданное облегчение, но где-то, в самом дальнем уголке сознания всё же осталось разочарование — и сожаление.

«Жаль, что это только привиделось»,— вздохнул Шлыков и вдруг с раздражением стал сдирать с себя оплетённые проводами датчики и швырять их на пол.

Леонтьев оторвался от бумаг и удивленно посмотрел на Шлыкова, неожиданно появившегося в кабинете. Георгий был в одних пижамных штанах, его мощную грудь пересекало несколько свежих царапин.

— Что случилось?

— Дайте мне несколько листов бумаги и ручку,— потребовал Шлыков.

— Пожалуйста,— Леонтьев выдвинул ящик стола и достал всё необходимое.

— Мне надо написать отчёт о проделанной работе,— с какой-то злобой сказал Шлыков, забрал все, что ему протянул Леонтьев, и ушёл.

Профессор только пожал плечами.

Сидя на койке в своей палате, Шлыков угрюмо смотрел в стену и грыз ручку. Он не знал, как назвать тот документ, который собирался составить. Озаглавить его словом «Отчёт» казалось не совсем верно: Георгий хотел поставить акцент на том, почему системы скафандра неверно сработали. Может быть — «Объяснительная записка»? Но обычно объясняют свои ошибки, а Шлыков пока ещё сам до конца не разобрался в своих действиях. «Рапорт» — звучало слишком по-военному, к тому же на лунной Базе это слово почти не употребляли. Так ничего лучшего и не придумав, Шлыков вывел на первом листе: «Отчёт».

Он писал быстро, вместо стола пришлось воспользоваться круглым сиденьем единственного в палате стула.

Примерно через час Георгий положил перед Леонтьевым несколько листов, исписанных мелким, но разборчивым почерком.

— Передайте это, пожалуйста, в комиссию; вам это будет сделать легче и быстрее, чем мне.

Профессор хмыкнул и, ни слова не говоря, принялся читать принесенные бумаги, слегка шевеля при этом губами. Шлыков присел на свободный стул и принялся ждать.

— А зачем ты сорвал с себя датчики? — не поднимая глаз от текста, вдруг спросил Леонтьев.

Георгий посмотрел на кровоподтеки и царапины на своей груди.

— Извините, Борис Аркадьевич, просто в тот момент мне показалось, что они совершенно не нужны. К тому же вы мне сами сказали, что со мной всё в порядке.

— Ты всегда действуешь столь... импульсивно?

— Нет, — коротко ответил Шлыков.

— Ну-ну, — еле слышно пробурчал профессор, отложил бумаги в сторону и внимательно посмотрел на Георгия.

— Я, конечно, не технарь, — сказал он, — и могу отвечать только за медицинскую сторону этого дела, но скажи, ты действительно считаешь, что причиной повышения давления в скафандре послужил испорченный внешний датчик? Такое может быть вообще?

— Вот пусть комиссия и устанавливает — может или не может. Пусть проверят датчик, проверят программу микрокомпьютера: вдруг там тоже ошибка.

— А почему ты мне не рассказал о том, что споткнулся и упал, когда шёл к маяку?

— Я не придумал этому значения. А теперь вижу, насколько это может оказаться важным.

— Ну да, ну да, — пробормотал Леонтьев, снова придвигая к себе бумаги. — Во всяком случае для главного инженера это очень важно.

Шлыков молча ждал, пока профессор перечитает отчёт, но потом не выдержал и спросил:

— Борис Аркадьевич, а сколько вы меня здесь продержите?

— Что? — переспросил Леонтьев, поднимая глаза.

— Я спрашиваю, сколько мне лежать у вас в госпитале?

— А-а, — профессор откинулся на спинке стула, потер ладонью лысую макушку и склонил голову на правое плечо.

— Я думаю, дней десять, не больше, — сказал он.

— Это много, — спокойно возразил Шлыков.

Леонтьев развел руками:

— Тут уж, батенька мой, ничего не поделаешь. Пока не проверим тебя всего с ног до головы, терпи. И моли Бога, чтоб всё у тебя оказалось в норме: если что-то будет не так, придётся проводить повторный анализ, а это может задержать еще на несколько дней. Так что больничный режим не нарушай, иди в палату, ложись в коечку и отдыхай. Я распорядюсь, чтоб обед тебе прямо туда принесли. И, кстати, на ночь я лично прикреплю все датчики, и ты, уж пожалуйста, не срывавай их снова.

И более серьёзным тоном добавил, указывая на отчёт:

— А об этом не беспокойся, я всё передам.

Шлыков молча кивнул, встал и вышел из кабинета.

На другой день рано утром в палату вошёл Леонтьев. В левой руке он держал небольшой пакет из серой бумаги. Шлыков сидел на постели и читал книгу.

— Доброе утро, Борис Аркадьевич, — поздоровался он, закрывая книгу, но оставляя палец между страницами.

— Доброе, доброе, — пробормотал Леонтьев, косясь на жгут проводов с датчиками, аккуратно перекинутый через спинку койки. — А я к тебе с известием.

Он, как обычно, придвинул к себе одноногий стул, основательно уселся и упёр ладони в колени.

Шлыков отложил книгу, слегка откинулся на спинку кровати и засунул руки в карманы пижамной куртки:

— Что-нибудь по поводу моего отчёта?

Профессор молча кивнул и слегка покашлял. Шлыков, не говоря ни слова, выжидательно смотрел на него. Пауза затягивалась. Наконец Леонтьев подвигался на стуле и сказал:

— А ты ведь оказался прав — насчёт датчика внешнего давления. И с программой процессора ты угадал: там точно кое-что напутали. Я твои бумаги вчера сразу начальнику Базы передал, так они в лаборатории всю ночь сидели — всё проверяли — и минут десять назад мне сообщили результаты. Так что повезло главному инженеру. Они там, кстати, окончательное заключение пишут, хотели тебя вызвать, тебе тоже надо его прочитать и подписать, но я сказал, чтоб сюда все бумаги принесли. Здесь и прочтёшь.

— А конкретно они вам не сказали — в чём там дело?

— Что-то такое объясняли. Я лично так понял, что программа для процессора скафандра адаптирует его к различным внешним условиям. Им ведь можно пользоваться и в вакууме, и на атмосферных планетах. А в данном случае программа отработывала режим изменения внешнего давления от вакуума до одной атмосферы, и, когда повреждённый датчик вдруг показал повышение внешнего давления больше двух с половиной атмосфер, программа выполнила неверную команду и стала накачивать твой костюм воздухом. В общем, намылят кому-то шею там — на Земле.

Профессор замолчал и задумчиво поскреб толстым пальцем левую бровь. Шлыков сидел неподвижно и о чём-то размышлял. Наконец он вздохнул и тихо проговорил:

— Ну вот, всё и разъяснилось. Причём самым подробным образом.

А потом посмотрел профессору в глаза и произнёс не совсем понятную фразу:

— Жаль, что чудес не бывает: без них — скучно.

Леонтьев неопределенно пожал плечами, хлопнул себя ладонями по коленям и поднялся.

— Ладно, пойду я, — сказал он. — Да, кстати, — он положил бумажный пакет на край койки. — Это вещи, что были у тебя в кармане комбинезона и скафандра. Я их сюда сложил, всё на месте. А ты отдыхай, набирайся сил. Они ещё понадобятся: тебе ведь скоро на Землю, а там первое время придется не столько отдыхать, сколько по заседаниям комиссии бегать да на многочисленные вопросы отвечать.

— Меня это не очень-то беспокоит, — отозвался Шлыков. — А вот медкомиссии я боюсь. Они после каждого возвращения и перед каждым вылетом все косточки перебирают, а тут еще эта баротравма. Как прицепятся, так и спишут на Землю.

— Да, действительно, — пробормотал Леонтьев. — Хотя вот что. Я дам тебе письмо к одному своему хорошему другу. Он, конечно, выпотрошит тебя всего, как ты говоришь, косточки все переберёт, но если решит, что всё в порядке и для космоса ты годишься, — замолвит за тебя словечко. У него авторитет огромный, председатель Госкомиссии к нему прислушивается. Ну, а если что-то действительно не так, — Леонтьев развел руками, — тогда не обессудь. Здесь, как говорится, медицина бессильна.

— Да это и понятно, — тихо сказал Шлыков.

Профессор потоптался на месте, вздохнул: «Ну, ладно», — и пошёл к выходу.

— Борис Аркадьевич! — остановил его Георгий и, когда тот обернулся, негромко сказал:

— Спасибо!

Леонтьев кивнул и вышел из палаты.

Шлыков какое-то время сидел неподвижно, глядя в одну точку. Потом, дотянувшись до бумажного пакета, стал вынимать из него и раскладывать на одеяле разные мелочи: маленький перочинный ножик, ключи от квартиры на Земле, наручные часы с металлическим браслетом и шариковая ручка. Это было всё, что Георгий постоянно носил с собой. Он чисто механически сунул руку в пакет, вынул из него последний предмет и вдруг почувствовал, как сердце на миг замерло, а затем бешено забилось. Рука сжимала серебристый цветок лотоса.

— Значит, это было на самом деле, — одними губами проговорил Георгий. Он закрыл глаза, поднёс цветок к лицу и вдохнул тонкий, едва ощутимый аромат. Короткой вспышкой перед его взором ярко возник образ таинственной женщины — такой земной и нереальной одновременно.

«И я не могу рассказать об этом: меня просто сочтут за сумасшедшего,— подумал Георгий.— Я и сам себе не верю... Наверное, когда проверяли мой скафандр, цветок нашли во внешнем кармане и решили, что это мой талисман».

Шлыков открыл глаза. Странно, снова подумал он, это растение выдержало вакуум, не рассыпалось и теперь выглядит так, словно действительно отлито из металла.

Георгий осторожно прикоснулся пальцами к упругим лепесткам, и ему послышалось, будто раздался мелодичный звон серебряного колокольчика. Он принялся внимательно рассматривать цветок, но вдруг из коридора донеслись голоса нескольких человек. Люди быстро приближались и, видимо, остановились перед дверью в палату.

— Здесь? — спросил кто-то.

Шлыков увидел, как дверная ручка медленно стала поворачиваться, и, прежде, чем дверь открылась, широкая ладонь, на которой лежал серебряный лотос, сжалась в кулак.

В палату заглянул Леонтьев.

— Тут к тебе пришли,— сообщил он.— Это из комиссии: хотят с тобой встретиться. Тебе где удобно, здесь или у меня в кабинете?

— Я сейчас к вам подойду,— бесцветным голосом проговорил Шлыков.

— Ладно,— сказал Леонтьев.— Мы тебя ждем.

Он немного постоял на пороге, как-то странно посмотрел и вышел.

— Пойдёмте ко мне в кабинет,— сказал он за дверью, и послышался шум удаляющихся шагов.

Некоторое время Шлыков сидел в оцепенении, потом в ужасе посмотрел на свой кулак и медленно разжал его. На ладони вместо цветка лежала горстка сероватой пыли. Он повернул руку, и пыль ссыпалась с бледной кожи, превратилась в маленькое облачко, которое растворилось в воздухе без следа.

Георгий скрипнул зубами, вскочил с койки и заметался по палате. Он не понимал, что с ним происходит.

Неожиданно Шлыков остановился перед небольшим зеркалом, висевшим на стене. Он стоял и смотрел на свое похудевшее бледное лицо, всматривался в это лицо, словно пытался найти в нём новые черты. Он тяжело дышал. Он чувствовал, как из груди поднимается удушливая волна и глаза застилает тёмная вуаль. Он вдруг захрипел, и его мощный кулак ударил в зеркало. Он бил ещё и ещё, изо всех сил, до боли, до тех пор, пока толстое прочное стекло не пересекла извилистая трещина.

Обессиленный, Шлыков опустил на кровать и закрыл лицо разбитыми в кровь руками.



**Вадим
БОГДАНОВ**



ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ...*

* * *

Научи меня, научи — я смиренно прошу науки.
Научи меня хотя бы тому, что было.
Научи меня целовать, целовать твои руки.
Научи, чтобы они не остыли.

Научи глазам и губам, научи за любую цену,
Научи даже если поздно, даже если в последний миг...
Научи не молиться богу, как бьются в стену.
Научи... Это шёпот был, а теперь крик.

Научи меня не болтаться на крюке люстры.
Научи, что лгать — это меньшее моё искусство,
Что последняя роль — самому себе кринуть: «Браво!»
Научи меня, научи, я прошу, научи, право...

Научи, будто всё по-прежнему, научи я теперь пойму.
Научи меня, что ли, нежности...
Научи меня быть одному.

* * *

Если бы я был богом...
Если б я был бессмертным...
Если бы Пушкин не был, а я бы напротив был...
Если б я был хоть кем-то — я бы с тобою был!
Если бы я был грифом,
Я б мог совершенно секретно
Следить за тобой из-под неба,
Но что бы я смог поделаться с усталостью твоих крыл?

Если бы я был лосем,
Согласился б носить рога.
Я смог бы гонять любого сохатого от сохи.
Но если в лесу охота — я смог бы лишь в грудь жакан
Вместо тебя. Прости...

Если б я был волком,
Я бы выгрыз бюрократизм
Я смог бы — его, но не иглы чертополоха
Из лапы нежной твоей.
Если б я был человеком,
Ты сказала бы: «Да прекрати!» —
И я прекратил бы по слову любимой
Спрашивать — зачем я тебе.

Очень мужская поэзия Вадима — логическое следствие условий, в которых он вырос, и сочетания интересов, которые одолевали его и в детстве, и после. Первые пятнадцать лет он провёл в селе под Уфой, где и родился в семье учителей (мама преподавала литературу и русский язык, папа — историю и географию). Много читал, но и от сельской жизни не прятался, постепенно формируя убеждения, увлечения, умения. Знает, что такое каратэ, но и умеет неплохо обращаться с клинковым оружием и даже обладает кое-какой коллекцией его. Немало потопал по дорогам Башкирии и Урала, ходил за Полярный круг и в Хибины...

Столько впечатлений да при той образовательной базе, что получил в ранние годы — не мог не стать поэтом (хотя и проза даётся его перу).

Профессиональных образований два — математик-программист и юрист-правовед. И работал — программистом, юристом... Но и журналистом, редактором... Ныне возглавляет отдел маркетинга и рекламы в банке.

* Стихи даются в авторской пунктуации.

* * *

Слышишь, брось эту женщину, брось!
Ты не муж и она не жена.
За морями Елена живёт,
Что богами тебе отдана.

Ты оставь этот дом — тебя ждёт
Жадной Азии пурпурный кров.
Уходи в безначальную ночь
До стовратных твоих городов.

Будет зарево в трюмах трирем
Полновесной чеканной казны.
Уходи в предрассветный туман,
Если видел ты тайные сны.

Если плакался в звёздный лоскут,
Если всё невпопад, вкривь и вкось
Будет золото плодов Гесперид,
Только брось эту женщину, брось!

Сможешь вылакать счастья сполна,
Выше самой высокой из мер,
Или выколоть колом глаза,
Или зваться Великий Гомер,

Или просто стать равным богам...
Так за что тебе знать суждено,
Как старея пальцы её
Вертят старое веретено.

* * *

Может, я это выдумал?
Или сложил стихи?
Может во сне я высмотрел
Божьи черновики?

Черти и херувимы
Припомнили мне долги.
Может, ты пошутила?..
Смейся, только не лги.

Смейся: стуки вагонные,
Бег по этапу, бег.
Красные метры погонные —
Зэк я теперь, зэк.

Выпью болотную воду,
Сброшу таёжный гнус.
Я через пень-колоду
Волком оборочусь.

Вот из листов и строчек
Сохнут твои крыла.
Слышишь — ветер пророчит
Чёрные купола.

Лебедь навстречу волку —
Из полуночных зон.
Ветер даёт наводку
Нам на венчальный звон.

Месяц саблю клонится.
Бьются сердца вразнос...
Это моя бессонница
Или тебе не спалось?..

* * *

Хочешь сказку? Не веришь — ладно,
Но в драконью лесную страну,
В непроторенные дороги,
Сохранившие тишину,
Уводил стихоплётов и бардов
Из подъездов, от алкашей
Старый гений мессир Леонардо,
Распорядитель шабашей.
И брели они как с похмелья,
Грязь месили, ругались — жуть,
А над ними летели ведьмы,
Заметая метлами путь.
Полагаешь, душа бессмертна?
Запродать бы глупую мне,
Чтоб смотреть, задыхаясь ветром,
Как ты мчишься на помеле.
А потом отыскать в безумьи,
Среди тысячи жарких тел...
Ты смеёшься. Конечно грустно.
Только я б всё равно хотел
В это адище безоглядно.
А потом хоть гони взашей
Подмастерье мсье Леонарда,
Повелителя шабашей.

* * *

Не поверите, господа,
Я когда-то был глупым мальчишкой,
По салонам рубился в картишки
И выигрывал города...

Вы наверное скажете: «Враки!»
Не от жадности, право же, нет,
Города эти ставил я на кон
И выигрывал белый свет.

Белый свет мне на чёрта не сдался,
Я с создателем бился ва-банк,
И копейкою медной катался
Белый свет между ярых гуляк.

«Здесь,— вы скажете,— место морали».
Да, вы правы, действительно здесь,
До копейки меня обобрали —
Шулера не допустят чудес.

Ну скажите ещё: «Разве жалость!
Даровая — и так бы пропил!»
Свет не жаль — ты другому досталась.
За тебя я колоду крапил.

Так тащите же дёгтя и пуха,
Коронуйте вонючим горшком!
Белый свет — вот она невезуха! —
В твоих пальцах блестит пятак.

* * *

Золото исполнено цены.
Свет исполнен трассами фотонов.
Память ли исполнена вины?
Или я перед тобой вины исполнен?..

Мир исполнен страха и греха,
Небо — крови, мерзких жаб и молний.
Смертный миг — предчувствием стиха
И опустошением исполнен —
мне поведал прошлым судным днём
ангел, преисполненный огнём.

Молитва-моноритм

Послушай меня
Этим утром к тебе
Я шёл
Этой ночью к тебе я падал
Я шёл наступая на тень на тень
Я падал на нож начинал разбег
На горло своё наступал и падал
Послушай меня я падал к тебе
Как будто не бес не с небес я падал
Я не оступался я шёл к тебе
К тебе этой ночью я падал падал
Я падал на крыши чёрных машин
Как будто в кино на машины падал
Я шёл к тебе по туннелям жил
Я жил по квартирам но падал падал
Я шёл и падал в разливы ржи
В обрывы рыжих суглинков падал
За ворот закладывал виражи

К тебе как гребкопатель падал
Скрежетом камня
скрипом доски
Двумя рушниками
падал по душу

Горстью земли
из чужой руки...
Послушай меня
Ты меня послушай

* * *

На поле, где бились крики
Ликующей злой победы,
Набить свежатиной брюхо
Собрались трупоеды.

И был один молоденец —
От крови ворочал рыло.
А главной была старуха.
Всего их семеро было.

Вот где для них раздолье —
Набраться жирка и силы.
Не нужно в гнили копаться,
Не надо вскрывать могилы.

Надолго они б наелись
И спать завалились в норы,
Но только в поле стемнело —
На поле пришли мародёры.

Они разогнали нежить.
Достали мечи и наганы.
И стали обшаривать ранцы,
Рвать зубы и лезть в карманы.

Попрятались трупоеды,
Скулили в кустах ракиты.
Но я всё это не видел —
Я в поле лежал убитый.

* * *

Наше время опять отклонилось
от верной оси.
Шапки летят — значит головы рубят.
Вечером, когда осень пробьют часы,
Вспомним мы то, что будет.

Накрапает дождь путевые заметки,
Двигаясь по просёлкам страны,
А листья серые будут хвататься за ветки,
Которым они не нужны.

И взахлёб, то сбиваясь с ритма,
То, переходя на жёсткий размер,
Кто-то зафиксирует в рифмах
Время сопряжения сфер.

Кто-то лучший, чем я рассказчик
О нас поведает нежившим, другим.
Не бойся волхвов, дары приносящих —
Я стихи слагаю к ногам твоим.

По знаменьям, кофейной гуще
Мы прочли гимны новых дней...
Ты над нами рассмейся жгуче —
Юность старости мудреней.

Отразит все земные царства,
Словно взгляд пропуская за...
Горький сгусток антипространства —
Неопознанная слеза.

* * *

Не спрашивай! Не убивай рассвет.
Нам их осталось на двоих несколько.
Я для тебя не подхожу — ответ.
И мне другим уже не стать — бестолку.

Не торговал и не копил впрок,
На позолоту я извёл золото.
Ты ждёшь, что будет из меня прок
Лишь потому, что выгляжу молодо.

Прости, что мыкаюсь, тебя зля,
Не рву себе то, что на всех делено...
Когда пойму, что прожил жизнь зря,
Пойду и просто посажу дерево.

* * *

Да,
я такой и сякой!
Я такой и сякой, как ты видишь.
Нет, я не бес
и меня не прогонишь — Изыди!
Я — не дурак,
ну хотя б применительно к «выпить».
Я!.. — (впрочем скромность) —
последняя буква в твоём алфавите.

* * *

Ночь. Костёр. Река слышна.
Божия погодка.
Мы пьянеем без вина
От башкирской водки.

Месяц тянет на рога
Чёрную кудель...
Помнишь — Белая река
Звалась Агидель?

Помнишь шли купцы и голь
За таёжной данью.
Приносили хлеб да соль,
Русские названья.

С кандалами, под клеймом
Грубы и плечисты
Ставили казённый дом
Горе-скандалисты.

Те, что звались «вор и тать»
В костромах и тулах
Спаивали «в бога-мать»
«Северных амуров».

Мы оттуда «есть пошли»,
Нас с того настою
В крепостцу Уфу свели,
Над рекой Уфою.

Много нас со всех сторон
Беглых, плетью рваных,
Без хозяев, без имён...
Просто «богом данных».

На, ещё стакан плесни —
Что-то плохо греет.
Хороша, как ни скажи
Водка с Белебея.

* * *

Пусть умирают люди как цветы,
Рассыпав ворох лепестков бессильных,
В прожилках тонких символов чернильных,
Хранящих формулы бессмертной красоты.

Пусть умирают люди как цветы,
Не в душном омуте отравленных постелей,
А на земле, открытой для метелей
И для лучей, рождающих мечты.

Пусть умирают люди как цветы.
Пусть поминают их друзья и птицы,
В соцветиях распознавая лица,
А в лепестках знакомые черты.

Пусть умирают люди как цветы...
Но только росы утренние знают:

Цветы не гибнут — только засыпают.
Так я засну, так засыпаешь ты.

* * *

Дождь, как по Маркесу, потерявший начало,
Не может найти окончание —
Строки смыло водой.
Время, которому быть,
Возможно, уже настало.
Может быть... но как убедиться,
если в часах разнбой.
Если нас заперли в доме
Морось и лужи, которые
Раньше казались землёй...
Поговори со мною.
Пожалуйста — мне так нужен
Голос твой — чуть простуженный —
Просто голос твой.

Когда...

Когда ежедневное небо
было чистое и молодое,
когда земля была пряна
не скошенной травой,
когда я поймал в ладонь
пушинку солнечной скуки —
ты не отняла руку.

Сохли дожди,
и я был знаком с тобой
уже больше года,
когда кто-то сыпал листья
с низкого небосвода,
когда уходили в лужи
берестяные пироги,
когда ветер пел горе.

Когда сэкономили солнце
и транжирили холод,
когда выключали день
и зажигали город,
когда муж твой думал,
что верит тебе безмерно —
легче принять ревность.

Умерло время,
и то, что правда для всех —
стало для нас ложно,
когда лёд звенел — нет,
когда таял снег — можно,
когда из своей весны
нас не окликнули люди,
когда это всё будет...

* * *

Январь. Перестановкой дней слагаем
Из разности. Тебе — письмо. А мне — сарказм.
Рука дрожит, кривые строчки — спазм
Я мну листок и комп перегружаю
И не простишь. И не прошу. Едва ли...
Не по сезону в слёзы и пургу
Я восхищён изяществом сандалий
Твоих, что придавили грудь мою

Напомню — ночь, январь, письмо...
Ты — адресат письма, увы, не боле
И как не усомниться поневоле
В устроенности жизни...
Устроенной в надежде на зарплату
На бонусы в конце календаря
Толкает мордой в бок мой друг кудлатый
И гонит писать в стужу января

Мы метим килограммы и парсеки
И снега горы и асфальта льды...
Подростки трутся, ждут подъездной мзды
Мы думаем про них, что — гомосеки.
Мы не такие, точно.
Глажу замать
Письма
И чищу строки, словно морду скраб
Не склонный к сейвам Бог стирает память
И отнимает право на бекап

Бесснежная зима

1

Давно не нападали снегопады
Твои дороги затянула грязь
И потому внезапно не напасть
Мне из засады
Ты гонишь и меня и на меня
Я — за тобой, но звякают подковки
И мчишься ты от пробки до парковки
И пачкается чистая броня
А хочется, а хочется снегов
Чтоб завалили города по крыши
И рты, и уши завалили лишь бы
Моих-твоих не слушать матюгов
Не догонять, не ждать — и что за чёрт
Замкнуть тебя петлею Мебиуса
Обрушить в плюши пуншевого вкуса
Укрыть от гопоты машинных орд
И чтоб не гнать! Не ставить в третий ряд
Не запирать, не задевать бордюров...
Пусть снег смягчит напор твоей натуры
И снова я кричу на кой же ляд

Нам Боже дал свой богохульный дар
И зимы, состоящие из грязи...
А я — что кот, который напроказил
О бок твой трусью... муар, муар, муар

2

Прошли в небесах снегопады
Сугробины туч намели
Не ведая снизу земли
Не чувствуя в этом запады
Колхозники ждали снегов
Ждала непокрытая озимь
Мы били ушанками оземь
Крича о пропаже голов
Дал в уши затрещин мороз
Трещали сопельные реки
И грели ростки человеки
Соломинами папирос
А насогревал чертогон
Но всё не давали старухи

В предчувствии голодухи
А ночью под самый разгон
Когда отрыгалась закусь
Пошел я отлить возле хаты
И вижу — небесной лопатой
Снега нам кидает Иисус
И я — где снега и хлеба
С землей целовался горстями
И бил коченя перстами
Надбровья покатога лба
А осенью после жатвы
Мы девок вели в сеновалы
И нам наши девки давали
В предчувствии сытной жратвы
Я сбив на затылок картуз
Полез уже где-то за пятой
Вдруг чувствую — сзади лопатой
Задело
 подумал
 Иисус



Роман ЯПИШИН



Конфорка

Молоко закипает. На медленной скорости
Пробирается к краю железного мира,
Выпускает молочные щупальца-лопасти
И хватает плиту, обрاملённую жиром.

Только есть огонёк в этом белом стремлении
Состояться вне рамок привычной кастрюли.
Выражая пассивное сопротивление,
Я сижу на ободранном кошкою стуле.

И не стану мешать. Посреди этой утвари,
Всех немислимых стен, молоку не комфортно.
Я бы тоже сбежал. Но зачем-то отсутствует
Подо мной красный круг раскалённой конфорки.

Долгий сон

Я читаю забытую книгу с конца —
Жду знакомых строк.
И знакомые строки мерещатся,
И далёк итог.

Из земли встают табуны коней,
И земная гладь
Не мешает им поднимать людей —
Значит, оживать.

Значит, воевать, значит, снова в путь,
Значит, снова дом.
Тошная постель. Не могу уснуть.
Люди за столом.

Жившие в былом, бывшие в живых
Живы и пьяны.
Спорят и кричат, и слова их — жмых,
И глаза темны.

Только всё не так. Вырываю страх
Из листвы страниц.
Страх, что это я. Страх, что я неправ.
Люди смотрят вниз.

Как на стёртый пол муторного сна
С грязного стола
Падает огонь, подаёт им знак
Оставлять тела —

Здесь никто не прав. Выловить скорей
Явь из сотен лет.
И сверкнёт блесна ранних рыбарей —
За окном рассвет.

Его поэзия противоречива, неоднозначна, образы парадоксальны и неожиданны. Порой кажется, что и мыслит он не вполне по-русски. Но это — в аспекте традиционной литературы. А просто — меняется русский язык, впитав в себя — кто-то скажет: мусор — востребованные временем новые термины, иностранные слова. Молодёжь проще относится к этому явлению. Что ж, есть поэт — найдётся и читатель, которому созвучны данные метафоры, эта конкретная логика. И пусть этот читатель не навсегда!

Каждому — своё.

А что поэзия Роману Япишину? А вот что: «поэзия — это вопрос смысла. Не обязательно всей жизни, может быть, просто времяпрепровождения. Мне это интересно, и я себя в этом вижу».

Зима

Змеиная зима.
Податливая тень
Струится с потолка.
Меня не обнимай.
Уже который день
Я мягче молока.

Пролей меня скорей
На тонкие слои
Кристалльных метастаз.
В объятья пустырей,
В статичные ноли,
В мой двадцать пятый раз.

Наждачные точь-в-точь
Зацокают дожди
Шершавым языком.
И вывернется ночь
Рассветом позади,
Прокишим молоком.

Тогда наверняка
Кривой круговорот
Закончится зимой.
Согнувшись у ларька
Февральский небосвод
Откашляется мной.

Темень

Повернули реки вспять
За земную рукоять
Отшумевший озверевший
Гнётся сучьями орешник
Полночь лязгает ключом
Спичку чешет чиркачом
Помнят собственные лица
Только старики и птицы
Днище солнца на замке
Темень вьётся на руке
Остывает оставляет
Облетает тает тает
И бредёт молва назад
В непроглядные глаза
Отпевают на рассвете
Сны
искусственные дети.

Река

Щенки рассмеются в мешке,
И смех под водой расслоится.
Укрытая рыба в реке
Потащит на дно колесницу.

Туда, где прорыта дыра
Отпущенными червяками.
Где ты так давно умерла,
Что небо покрылось песками.

И остервенеет река,
Впиваясь в засохшие русла
Теплом своего молока,
Мычаньем немого искусства,

И станет как счастье тверда,
Как время, текущее в камне.
Целуя собой города,
И плач превращая в молчанье.

Прозрачная сущность твоя,
Едва загустевшая в тело,
Вернётся в речные края,
В которых она обмелела.

Когда ты стеклянной рукой
Натянешь речные поводья,
Весь мир обернётся водой,
Влюбившись в твоё половодье.

Рыбье рабство

Как тебе живется в рыбьем рабстве?
Где глаза открыты у прохожих,
Где стеклянные волнуются медузы,
Где нет снов и где их быть не может.
Рыбий мир для снов безмерно узок.

Как тебе живётся в рыбьем ритме?
Между тонких фиолетовых растений,
Где над плавным миром стынет чайка —
Смерть, неотличимая от тени,
Осыпается на воду горстью талька.

Только поднятые волны правы
В бесконечном неземном поклоне.
Поднимись навстречу им всем телом —
Ветер оцарапает ладони,
Отшлифованные морем до предела.

И когда ты выйдешь на поверхность,
Где-то у дождями сытой Клязьмы,
То в последний раз увидишь, как беспечно
Время вьётся мошкаркой и вязнет
В тоне волн. И тонет в волнах вечность.

Здесь на суше только взгляды окон
Так же молчаливо ищут пищи.
Брось им пыльный отблеск по привычке,
Оставляя тело без отличий.
И нырни в подъезд уже по-птичи.



**Виктория
ИВАНОВА**



МОРСКИЕ КАМНИ

• Миниатюры

Лавка

«„Ищу себя” — так я назвала бы передачу, которая постоянно транслируется в моей голове. Я заканчиваю университет в этом году, и сейчас для меня важно понять, чего действительно хочу, выбрать, по какому пути идти дальше, каким воздухом дышать, и кто будет рядом со мной. Помимо учёбы работаю репетитором по русскому, и это занятие приносит мне удовольствие. А творчество не независимо от наличия свободного времени. Я позволяю этому привилегированному мудрецу забирать столько времени, сколько ему потребуется».

Пишу я с двенадцати лет, и одно для меня стало ясно — не писать, не мыслить, как человек, который создаёт переплетённый, многоликий, многоголосый мир, — я уже не могу. Когда не чувствую — не пишу. Я не умею писать мёртвой душой. Для меня проза также связана с чувствами, как и поэзия. Это тоже нечто тонкое, сплетаемое из тонких, но прочных, крепких нитей. И эти нити я беру из жизни; я благодарна людям, которые были, есть или только будут рядом. Они дарят мне вдохновение и знание. Они протягивают клубки, чтобы я вязала свою прозу».

Тук-тук.

— Можно?

— Здраааасьте... Давненько у нас не были. Зачем пожаловали? У нас новинок уйма! Законсервированный страх, коробочка терпкой мужественности; можно сказать, только с полей собрали... Да, да! Ещё тюбики разных глупостей! Свеженькие! Только-только с производства! Мешочки с грецкими тайными желаниями... а скорлупка - чудо! При наступлении зрелости кожура плода, высыхая, лопается на части и сама собой отделяется, а желания сбываются. Одно только неладно, конечно... Тень знает, какие там желания выросли! Зато скорлупки все цветные!

— Цветные?!

— Да, да! Самые что ни на есть цвета радуги... Будете брать?

— Нет... Спасибо...

— Шарлотта испекла нынче Нежность. Не желаете ли? Только из печи!

— Я сегодня ничего, наверно, брать не буду...

— Как??? И даже облака вам в подушку не нужны? Ну, может, хотя бы...

— Я к Вам по делу.

— Ну что же Вы молчали? Говорили бы сразу. Может, всё-таки стаканчик музыки? М?

— Я очень тороплюсь... Меня ждут...

— Эко! Какая важность...

— Извините, а Вы не могли бы разменять мне цвет?

— Снова чёрный?! Крупной купюры?

— Угу...

— Беда с вами! Где же вы все их берёте, что ни посетитель, то менять...а чем прикажете менять, коли торговли нет... Хоть бы брали что-нибудь... А то всё менять да менять... Ну, ладно... Не вешайте только нос, не могу на Вас смотреть, честное слово! Разменяю я Ваш чёрный. На оранжевый, жёлтый, голубой и зелёный, идёт?

— Угу.

— Я пока с кассой разбираюсь, присядьте в кресло, пожалуйста, осторожнее только, там Мысли... Можете погладить, не бойтесь, они мурлыкают.

Пёс

— Запах засухи...

— Как определила?

— Скептик. Вечно ты такой. По ногам, конечно. Смотри сам: исцарапаны сухой травой.

— Это просто июль.

— Это просто не та дорога.

— Обуй сандалии и... прикрой плечи — сожжёшь.

— Ну, долго ещё?

— А я тебя заставлял со мной идти? Сама захотела.

— Не с той ноги встал?

Молчит. Катит вперёд свой велосипед, который то и дело наступают на кочки и недовольно дзынькает. Будто и он утомлён этим ослепляющим острым зноем. А его хозяин молчит. Шагает уверенно вперёд по пыльной колючей дороге. От жары он повязал рубашку на голову, и по загорелой кофейной тощей мальчишечьей спине скатываются капельки пота.

— Природе нужен зонтик...от солнца.

Оборачивается на мой голос. Щурится, чуть скаля ровные крупные зубы. Улыбается небрежно и лениво. Между нами снова мир и сухая поникшая трава. Продолжаем путь.

— Смотри! Там впереди какой-то ангар?

— Нет, старый сеновал, может...Стой! Куда? Куда побежала? Вернись.

Раз, два, три, четыре, пять... Я иду искать. Догони?

— Я кому сказал? Вернись! Я что, бегать за тобой ещё должен?

Догони. Что же ты стоишь. Со столбом электрорепедач ростом меряешься?

Отбрасываете только тени и не больше.

Бросает в белое море тысячелистника велосипед. Отмахивается от колючей жёлто-головой свербиги. Догоняет у ржавого покорёженного высокого сооружения. Хватает за руку. Сердится. И в манерах не церемонится.

— Сказал — нельзя туда! Черту видишь? — носком проводит ровную черту, взволновав пыль.— Нельзя.

— Я только хотела...

— Ты возвращаешься домой.

— Нет!

И вот когда он уже начинает тащить меня за руку, не глядя, чертополох под босыми ногами или махровый клевер, раздаётся залиvistый радостный лай. Я рывком освобождаю руку и прикипаю к щёлочке меж досок.

— Тут щенок! Щенок!

Пытаюсь просунуть ему ладонь — не получается, только закрываю щель.

Чёрно-белый щенок с глубокими мягкими добрыми глазами лижет ладонь и приветливо твякает. Машет хвостом, как вентилятор. Парной аромат маленького тёплого существа.

— Давай заберём его?

— Нет.

— Почему? Почему?!

— Потому что нет.

— Он мне нужен! Я буду заботиться о нём, я буду любить его, мы будем гулять вместе по утрам... я привезу его в свой город!

— Нет.

— Ну, пожалуйста?

— Нет. Он не твой.

— Он будет моим.

— Нет. Он чужой. Ошейник, видишь? У него уже есть хозяйка. Он ждёт свою хозяйку. Не тебя.

— Ему со мной хорошо будет! Его тут бросили.

— Нет. Тебе хочется, чтобы его тут бросили, а на самом деле...Он сам тут ждёт. Вон там, приглядишь, есть дыра под балкой... Он просто ждёт.

— Нет!

— Да. И перестань перечить. Ему воля нужна, его место здесь, а не в твоём городе. А здесь он пока ждёт свою хозяйку. И она у него есть. Ты опоздала.

— ...ко мне... — доносится мягкий женский голос.

Высокая царственная незнакомка в небесном платье подзывает к себе щенка. Он тявкает и вылетает пулей из своего укрытия. Расстилается у её ног. Не щенком, а взрослым псом с мудрыми глазами. Больше не виляет радостно хвостом. Кладёт голову на колени склонившейся хозяйки, и молчаливыми тёплыми глазами будто говорит ей о своей усталости, о том, что ждал её. Она теревит его за ухом, как старого приятеля. Встаёт и лёгкой босой поступью уходит с ним в сторону реки.

Я остаюсь смотреть на их спины...

— Нам тоже нужно идти... — прерывает мягко и заботливо. — Дурочка, не рыдай... Ну, перестань... Эх, ты! Ноги вон все изрезала травой... Сейчас на велосипеде тебя повезу...

Срываю головку ромашки. Пожухлая от жары, но с медовым запахом. Пальцами в кулаке крошу её желток, будто она виновата, что не гадать по ней.

С солнышком в руках

Сандалии сняла. Босиком по камням мокрым, скользким... Ступала чуть дыша по ключевым развилкам. А после воды — мягкая свежая пустошь. А после травы — ромашковое, васильковое сено. И колет стопы, и щекочет лодыжки.

Улыбкой на руки к тебе скользнула. В одеяло травяное обнажённые ноги мои прятал и голову кучерявую сонно склонял. Чтобы в лоб целовала. Чтобы в миг всё прощала. Руки запоминала, лицо.

Руку разжал... Пальцами вцепилась: не пущу! Не пущу. Упаду без тебя. Пропаду... Не отдам тебя никому. Нитку на руку твою повязала, нос задрала: иди, и не нужен вовсе! Без тебя проживу.

Украдкой. Чтоб не дышал мной. За нитью снова ступала... Слепая. Немая. По камням. По воде. По треснувшей пустоши и замёрзшей траве. Оборачивался - в сторону плелась. Будто не рядом! Будто отдельно дышу. Только в каждом вдохе и выдохе имя твоё! Только каждая секунда тобою пропитана! Каждая мысль тебя обнимала...

Хрустнула старая ветка под стопой. Шаг. И всё же. Недолог путь. Тут уж не перепрыгнуть, а только свернуть. Я дальше босиком — с тобой — не хочу. Не могу. Нить эта режет руку твою и мою. Отпустила. Отпустила... Обрезала нить эту. Воздушным тёплым змеем тебя отпустила. Мысли в шкатулку сложила. И зайчик солнечный на руке легко заплясал. Потеплело. Дальше — без тени моей тебе лететь. Мне — босиком — по камням — по развилкам до песка, до солёной русалочьей воды. Донести. В ладонях солнечный танец.

На рассвете

Воробьём непоседливым, шустрим имя твоё во мне трепыхается, бьётся о прутья. Что ни мужчина — повод вырваться и выдать меня. Твоим именем и чужих, и родных окликаю...

Но ведь приемлю. Но ведь как есть... всё принимаю. Есенинщина во мне, слышишь? Двадцать пятого года. Смирение. Но ведь имя твоё во мне живо! И перья его ласково разглаживаю, просыпаясь рядом с другим. С нелюбимым любимым. У окна на рассвете, где солнце красными глазами подглядывает из-за высоток, мысли на клавишах воспоминаний имя твоё в мелодию облачают. Я стою и не слушая чужое дыхание, думаю о тебе. И воробья усыпляю в себе.

Такая тоска по тебе. Знаешь? Не знаешь. Такой ты глухой и слепой ко мне. А мне так много хочется тебе рассказать. И что город мой сейчас на рассвете — это библиотека или

книжный магазин. Каждое окно — книга: роман, повесть, рассказ, может, новелла. И моё чужое окно вчера ночью было рассказом, а может, просто миниатюрой. И будка сторожа на автостоянке ночью — тоже рассказ. Может, я напишу о нём когда-нибудь. Но сейчас утро только зевает. И мне остаётся твоё имя.

Я разменяла цвета. И то, что для тебя припасла — выменяла, как торговка. Отдала ненужному. Ненужное ненужному. Минус на минус. Блокнот с «необходимыми делами», где были обозначены кубики тепла для тебя, — выбросила. Осталось только твоё имя. Чужое твоё имя. Осталось его вытолкать, выпустить в форточку. Не брать с собой. Не брать.

Русалочье

Он вёл меня. За руку. Без руки. Дышал мне в затылок, держа за плечи. Шарахался от меня в сторону на этих пропахших солью и тиной бирюзовых улочках и глаза прятал (мол, иди, не подсказываю) — в незнакомец играл. Вёл. Завязывая глаза колючим, пахнущим Чужим шарфом. Толкал вперёд, крича: «Разуй уши, чёрт тебя...». Он говорил мне... о многом...

И всегда был прав. Почему ему открыто то, что мне не доступно?

Он говорил: потерпи, перед операцией всегда так страшно, потом сонно, немного больно. Будет мутно, туманно. И во сне тонуть будешь.

Тонула. Не захлёбывалась, а уходила на дно. Медленно, плавно, бесшумно. Будто время замедлилось: задержалось оно в какой-то пивной с приятелем.

Говорил: погоди, не спеши, ничего. Вынырнешь. И ходить научишься. И сюиты танцевать пальцами по полоскам солнечного света ранним счастливым утром... и разбитого стекла в ногах не будет. На песке танцевать под присмотром светлоокого неба будешь без боли. Всё ты сможешь.

Говорил, чтобы улыбку не снимала, что стирать её руками или в машинке нет надобности. Сочувственно за руку держал и просил не проклинать.

Говорил: чем больше я злости в себе варю, тем больше травлю саму себя. Выбросил все колдовские ингредиенты. И зелье это ничуть мне не поможет научиться шагать.

Просил отрыть мякиши нежности, заботы и любви. Просил не бегать от теней — коли привязаны оковами, так уцепятся за мной и в другой порт. А ещё... подталкивал к людям. Говорил: иди, выведут и подскажут через какие дворы шагать, а какие арки — обходить. Через эти встречи и собрала карту. Теперь, говорит, всё в твоих руках. И ногах, конечно. Теперь-то уж не сбивайся на чужие радиоволны, по своей беги. Лучше босиком и пешком. Как тогда...

Насчёт три и — побежали? Наперегонки! До реки? До реки!

И чихала пылью дорога под стопами, солнце судьёй следило за нами, а полынь качала головой...

Он ведёт меня за руку. Без руки. Говорит: оглядываться не вздумай, не Лотова ты жена, в конце концов. У тебя есть маяк в море. Вот и плыви. Светит ведь. Греет через километры.

Письмо

Мне нужен залив. Я требую залив! И даже твой прибой любимый, наверно. И соль на коже вместо одежды. Просто необходима! Вся эта морская волокита, связанная со вторым южнославянским влиянием, привела тогда нас в Новороссийск. Мне жизненно необходимо...

Сколько можно копать в этом дырявом деревянном корыте? Послушай... Мне на мой двадцать первый год подарили огромный... Нет, послушай, не смейся, мне подарили просто гигантский зонт! Под ним уместились бы все наши дети. Представляешь, если бы у тебя и меня было вдруг одиннадцать детей! И все бы под этой радугой на ножке-крючке уместились бы... Долго ещё ждать? Пока ты там копаешься, я уже пятый замок смогу построить, благо песка полный пляж... Ты знаешь, что я увезу отсюда в уральские горы? Нет, не обнажённые тайны моря... Не то... Я увезу мокрую прилипшую к телу одежду...

Помнишь, мы бежали с берега, когда дедушка-море рвал и метал под дождём? Ты упал на песок, и он, дрожа от морского гнева, прилип к твоей груди, ты после жаловался, что у тебя песок на зубах скрипит...Фу! Целоваться ещё лез. На набережной расстелилась я: босоножки изжили свой срок - ремешок вовремя лопнул — нога соскользнула и подвернулась... Ты ещё крикнул: «Выбрось их к чёртовой...». Присев на корточки, осторожно стал убирать порвавшийся подол сарафана с разбитой коленки. Падать я мастерица. Это тебе не песок во рту. Помнишь... Помнишь кафе это... Будто стеклянный куб... Название никак не могу схватить... Что-то похожее на «Гамбринус» или «Бегемот»... Причём тут бегемот?

Оно ещё светилось, будто к новому году его фонарями опутали. Но главное - музыка. Она лилась, струилась оттуда, будто и правда чудесный Сашка там на скрипке играл... И мы танцевали. На улице. Под диким ливнем, который соревновался с нами в пьяном безумстве танца. Я — босиком (сделала, как ты велел — босоножки оставила в урне), ты песочный, взъерошенный, как весенний воробей.

Вода на ещё горячем асфальте расплзлась в тёплые лужи, скрючившаяся одежда, бесстыдно прозрачная, прилипла к телам... А посетители кафе приклеились к стеклу и смеялись, фотографировали. Ты, раззадоренный этим вниманием, так лихо скакал и вертел меня, что танцевать было просто невозможно! Смех так и пробирал... потом ещё как-то глупо раскланялся, пустил парочку воздушных поцелуев со словами: «Спасибо, спасибо! Цветов не нужно!». Дурачооок.

Но ведь это был ещё не конец. Помнишь, что ты сделал потом? Нет, вспомни! Ты же меня взвалил на плечо при всех и поволок, махнув: «Adios, amigos». Дурачок.

Вот что я увезла от тебя. Всё-таки хорошо, что тогда мы не взяли мой зонт-радугу. Сейчас я запечатаю это в конверт, вложу купленную в субботу открытку, наклею марку и верну то, что увезла, — тебе. Бумерангом. Мне сейчас очень нужен залив! Просто жизненно необходимо, чтобы ты снова копался в этом деревянном корыте, многообещающе мне показывая, что «ща всё будет».

Дождит

Удивительно то, что могу почувствовать запах твоей комнаты. Коснуться холодной спины твоего рабочего стола. Дырчатую плоть твоих занавесок, только тронутых солнцем, в ладонях ощутить — могу. И о кружку вчерашнего выпитого чая — запнуться. Какой ты, должно быть...

Какой ты, должно быть, смешной и неловкий во сне. И всё ты бродишь. Бродишь, бродишь. По улицам своим просолённым раздутых и разутых районов. Идёшь между спящим кладбищем и старой тюрьмой по трамвайным путям. И снова улицы и дороги. Переступаешь по лесенкам через пороги, руки знакомым жмёшь. До самого центра, до самого солнечного сплетения твоего города выцеловываешь дорогу шагами. Бродишь. Бродишь. По трассе, где ветер качает конский дух. Голо. Пустынно.

А у нас тут дождит. Дождит. Дождит тревогой — прищемил душу, и плотнее дверь прикрывает, не замечая нитей в проёме. Кто ж в такую погоду провожает? Кто ж целует, обнимает, осторожной быть завещает? А у нас тут тополя кисточки свои распустили. Дождит, сбивая аромат проклюнувшейся зелени...

Дождит, дождит, дождит. Волосы мокнут в и кудри — бунтуют. Дождит... А меня ручкай загадывали... Сказали, что похожа. Веришь? Что кожа солёная и волосы в волны сплетаются. И раковина вместо сердца. Прими меня с хвостом? Прими? Мне будет совсем не больно босиком по песку с тобой ходить. Бродить. Бродить. Бродить...

А утром из пледа выкарабкиваться. Спотыкаться о кружки. Занавесками шуршать. Прятаться от тебя за плотной шторкой и слушать, как шаги твои обнажённые меня ищут. И босоножки мои на месте, и платье на спинке, и дверь изнутри заперта. Шторка твоя дышит. Слышишь? Мной.

Какой ты, должно быть, беспокойный и смешной, когда ищешь меня и не находишь. Дождит у нас. И ветры шныряют — хозяйева улиц. Дождит. Кто ж в такую погоду провожает?

Поезд

Поезд. Дорога. Туда, куда я еду...там будешь ты. Ты будешь на коленях моих бумажной птицей, буду перелистывать твои крылья. Я просто решила, что возьму с собой твою любимую книгу. (Свою — подарю. Отошлю в ссылку). И ты будешь совсем рядом. Совсем-совсем. Там, где пробегали твои глаза и шныряли мысли, буду я — высовывать нос из-за угла, пока ты не видишь, разглядывать и узнавать твой почерк. Ты будешь рядышком. Плечом к плечу молчать. Вместе со мной щурить глаза, выше нос держать в след засыпающему солнцу за окном. Поезд будет стучать зубами. Но ты будешь рядом.

А ты знал, что мыслями своими человека можно спасти? Вот он и не знает, что ты думаешь о нём. Не чувствует твоего взгляда. Ему холодно и страшно, быть может, на улицах чужого города. Он думает, что он один. Совсем один. И никто его не любит. А ты сидишь в шерстяном с кружкой в руках. И мыслями о нём — греешь. Укрываешь его, обнимаешь мыслями. Чтоб никто не навредил! А он думает, что его не любят... Такой большой и такой... смешной. Как же он не понимает? Что молишься порой о нём. Когда вспоминаешь, что на свете где-то он бродит.

Поезд. Дорога. Туда, где буду я совсем одна... Там будет другая музыка. И имя ей тишина. Пусть живёт себе в светлой комнате, где будут распахнуты окна... Так, чтобы вливался почти божественный холодный свет. И грубоватые белые занавески будут барахтаться на ветру, танцевать, взлетать и падать, взлетать и опускаться плавно, иногда их будет уносить в сторону, и они будут ударяться о притолоку... Это покой. Это счастье — «не любить». Да, счастье. И такое бывает.

А книга пусть будет спать на коленях. Пусть она прячет робость первого затерянного в старом сундуке поцелуя. Которого так и не было. Я буду порой молиться о тебе. Ведь ты такой смешной... Такой большой и не знаешь, что я тебя укрываю мыслями иногда. Скоро поезд. Пора идти. Это музыка...

Фотографировать

Зажжённые свечи. Ароматные палочки. Зелёный час с мятой. Два вида мёда. Уют создаёт запущенная стиральная машинка.

Сижу, смотрю, как наполняется она водой, как капли по иллюминатору мелким дождём скатываются на одежду. Дождь внутри. А я снаружи. И у меня ночь свечечная.

Странно видеть за окном твои руки в лице других рук. Странно видеть свои ладони, пальцы в чужих, напряжённых. Запугалась. Что написал? Пугаюсь в наших руках. Где ты, где я. Пойду мыть голову в новую книжку. Пиши мне.

Только словами можно сфотографировать то, чего нет.

Прощание у моря

И помню слова, что обещали думать тепло, что подбадривали: не одна, друзья любят, и есть ты у меня. И соль морскую с губ я помню. А знаешь, твоя теплота вырисовывает улыбку на моём лице — полотно. Ты даришь мне вдохновение. Я предвижу, как ты музыку снова ваяешь, и так меня тянет к озорству: спрятать для тебя музыку хоть под подушку твою, хоть под сиденье в трамвае. Чтоб нашёл ты её, когда устанешь от поисков. В знак надежды после отчаянья.

А тут я немного мёрзну, простудой новой окутана. Ноги по-турецки на лавке у фиалкового фонтана под собой жму. И стараюсь исцелованной солнцем спиной не прижиматься ни к чему. Это тоже маленькая и хитрая боль. На пирсе надежды огни горят, словно взлётная полоса для нас. А мне так хочется, чтобы босые холодные ноги ты в ладони взял, присев напротив. И сказал, что поздно и пора домой. Что лекарства тобой припрятаны,

и постель уже застелена, а билет мой на поезд ты выбросил. Чтобы больше об отъезде не думала. Ведь дом свой нашла у песочной постели дедовой.

Но море спит, море уснуло. А ты, поужинав, проклиная жару и усталость, сбежал к своей музыке. Той, что в ладонях твоих и в глазах. Я, дописывая прощальные письма, по звёздной лестнице одна домой добираюсь, чтобы выпить горячего, собрать чемодан. И двести ступеней, а может, и боле, снова считаю. Загадав очередное желание. И у третьей, у той, что для любящих, я замираю. Переступаю. Одиноким начертано: не касаться надписи. Присаживаюсь рядышком. И подаренные мыльные пузыри на прощание пускаю. Глядя, как море притихло. И отвернулось.

Ангелом-хранителем

Если бы меня спросили, кем я хочу стать в следующей жизни. Знаешь, я бы перевернула вокруг себя мир, я бы сожгла все мосты, отдала бы лучшие свои жизни, лишь бы раз. Только один единственный раз во всех перевоплощениях. Мне позволили. Быть твоим ангелом-хранителем. Ничего к тебе не чувствовать, но быть всегда с тобой, оберегая твоё дыхание. Слушать, как бьётся твоё сердце. Доброе. Мудрое. Смелое сердце. Это то, чего я не могу в этой жизни.

Я была бы самым ответственным ангелом. Всегда-всегда настороже. Отгоняла бы любую напасть. А если бы ты в своём свободном одиночестве начал бы светиться тускло — крепко обняла, не чувствуя твоей теплоты, не помня её. Не зная, что только ты один, только крошки твоего живого тепла, подаренные случайно на перекрёстках наших встреч, брошенные в нищую мою душу, когда-то помогли жить мне земной. Я обняла бы тебя только для того, чтобы отогнать душливые мысли. Которые не похожи на смелого тебя. Я бы знала всех твоих женщин, и мне было бы ни чуточки не щекотно от боли. И вокруг меня не было бы чужих мужчин с пустыми холодными руками. Боли не было бы совсем. На губах было бы только одно незначущее, не несущее смысла слово. Четыре буквы. Три звука. Боль.

Я бы тебя не любила. Но берегла. И берегла бы твою единственную, берегла бы твоих детей, присаживаясь у ног седовласого деда. Уставшего. Но, по-прежнему, с горячим сердцем. Я бы берегла каждую сединку этого красивого мудреца. Я по-прежнему обнимала бы тебя, чтобы отогнать... её, приходящую по ошибке не к тому. Я бы тебя долго ей не отдавала.

Если бы меня спросили, кем я хочу стать в следующей жизни. Знаешь... Я бы не смогла... Знаешь! Я бы стала ангелом-хранителем твоего сына! Чтобы ты жил всегда! Чтобы часть тебя ступала по земле крепко. Его бы я сберегла. Не помня, что мечтала земной — быть его матерью. Я отгоняла бы от его доброго, смелого, свежего сердца все напасти. И бесконечно и больно, тихо, чтобы Господь не узнал, любила бы тебя. Во всех перерождениях, во всех жизнях, я всё равно любила бы тебя. Хоть земная. Хоть морская. Хоть небесная. А внутри крошки твоего тепла. Сына нашего я бы спасла.

Гадать по линиям ног

«Линия жизни короткая и прерывистая, удивительно, что ты вообще жива. Линия любви чёткая, как и линия судьбы — всю жизнь будешь любить одного человека». Московские предсказания по правой, а то, что предки на левой, у сердца, завещали — иное.

Почему по линиям ног не гадают? Может, мы и творим руками чудеса да пакости, но ноги-то ведут нас вперёд.

Раскалённое поле колосьев пшеницы рассыпалось песочным печеньем. В этой лазурной, ватной тишине неба колосья склоняют уставшие головы на плечи соседей. Они почти недвижимы в своей медитации. Воздух отлетевшей от тела душой возносится ввысь. В своей прозрачности он похож на мыльные переливающиеся, танцующие пузыри. Только

мельче. Резкий, короткий треск кузнечиков. Их стрёкот ленив — утомлён полуденным зноем. В щетиистой траве в синих обрезанных джинсовых шортах и белой старой майке сидит Солнце. На кучерявой лучистой голове - венки из васильков, ромашек, колокольчиков и полыни. Небесный близнец танцует в его кудрях, не тронув зелень глаз. Не выжгла пепельная жара зелёные сочные реки. Только заставила шкуриться. От чего у глаз обрисовались чёрточки, будто камень в воду бросили.

Оно сидит на сухой, выжженной земле, вытянув левую босую пыльную ногу, правую согнув в колене и локтём упершись на неё. Свободной рукой Солнце чертит бесформенные угловатые, замкнутые узоры, циклические бесконечности. Оно сгребает в свою мозолистую ладонь пыль и сухие былинки, крепко сжимает и медленно высыпает сквозь разжатые пальцы. Оно не смотрит на круговорот песка в своей руке, оно впилося изумрудными камешками в небо. Моё солнце грезит о небе.

Бархатная коричневато-рыжая бабочка, будто припудренная нежными голубыми тенями у тельца и начала мягких точечных крылышек, легко слетела ему на кончик вздёрнутого носа. Солнце моргнуло. Полевая красавица хлопнула крылышками и мягко вспорхнула. Подразнив Солнце, она поднялась выше...

Его нельзя одно оставлять. Оно совсем без меня пропадёт. Пышная длинная васильковая юбка цепляется за траву, обречённо ползёт по земле, сметая мои босые следы. Ступаю осторожно. Шурша, но не дыша. Почти крадусь, сжимая пальцы на ногах, когда сухая трава обидчиво и раздражённо кусает кожу. Солнце следит за бабочкой, забыв о пыли в руке, когда я усаживаюсь у его ног. Я хочу взять его ладонь... Но в моей руке остаётся только пыль и сломанный стебелёк. Солнце оставило у моих ступней венки и ушло, не обернувшись. Солнце опаздывало. Оно выбрал небо.

Заходи

Когда я заклеиваю ноздри окон на зиму малярным скотчем, я думаю о сухом хрусте, с каким оторву его, отворяя окна навстречу пыльному солнцу. О том, как оно будет гладить теплом обнажённые плечи и шею. О том, какие мысли будут меня посещать. Краска, ремонт, обои, мыть, мыть, конопатить дыры весной. Думаю, какой размеренностью, ленью семнадцатилетнего подростка, сонностью и покоем будет дышать мой дом. И моя подушка, не видящая дурных снов уже целый год. А только заманивающая тебя в ирреальность, когда совсем туго и когда уж очень ты далеко (вдруг перестану помнить дыхание).

Когда я откусываю скотч, я думаю том, что время неповторимо, я доживаю последние дни и скоро неизбежный поезд. И что мысли эти я выходила в парке. И что, действительно, слишком много мест по Ремарку накопилось в его чудных углах. И пора бы прикрыть эту лавочку. Я думаю о том, как море будет биться где-то за набережной.

Когда я глажу кривые белые малярные полоски, я думаю о том, как ты впервые сам зажжёшь свет в моём окне. О том, как ты придёшь в мой дом без обуви. Босиком. И уйдёшь, не споря, не доказывая, а веря мне — так надо.

Только скотч ещё не закончился. Заходи в эту зиму ко мне? На минутку. Ведь он тебе тоже пригодится. У тебя тоже окна дышат, и зима.



Геннадий БРОДЯГИН

ХЛЕБУШКО

- Были из книги

Хлебушко

Геннадий Александрович Бродягин родился в 1936 году в Свердловске. Трудовую деятельность начал в Каслях токарем. После окончания Высшей профсоюзной школы в 1964 году 22 года прожил в Челябинске, работая на разных должностях в кинофикации. В 1986 году вернулся в Касли, где проживает на пенсии.

Цепкая память дарит сюжеты для невыдуманных рассказов о Южном Урале.

Бабка встаёт с восходом солнца, будит меня: «Вставай, внучок, пойдём за хлебушком в лавку». Наша лавка, для «островских», была на улице Советской.

Очередь занимали вечером. Утром начиналась перекличка, обычно фамилии очередников выкрикивали уважаемые в Каслях выборные люди, они же наблюдали за входящими в лавку пацанами, старухами, стариками, молодыми женщинами с грудными детьми на руках. Очередь притихла, выборный кричит: Заколяпина, Шмакова, Иванов, Затыкин, Варганова... Запнулся кричащий. «Кричи шибче, чё вчерасева язык ли чё ли оттоптали»? Выборный громко кричит ещё фамилий с десятков. Опять останавливается, не может разобрать. «Кто писал, мать вашу так?» Из очереди выходит «глазастый» и вдвоём не могут вычитать. Кто-то перестарался: здорово наклюнвил химический карандаш, пятно на фамилии получилось. «Пропускаем, или как?»

Очередь решает: «Кричи на 5 фамилий выше и на 5 фамилий ниже». Одна женщина вспоминает: «Это, наверное, Шурка Мочалина, что живёт в домике на два окошка на берегу у Поганого моста». Очередь решает: «Не вычёркивать, может, обрящется».

Снова кричит: «Беленькова, Чернышёва, Ермаков, Казакова, Ахлюстина». Никто не отвечает. Из очереди кто-то говорит: «Может, кто из ребятёнок заболел. На самого похоронка пришла. Одна теперича горе мыкает с тремя — мал-мала меньше. Живёт-то она у завода, как речку-то пройдёшь, третий дом от угла, схожу к ней, ой, горюшко-то». Очередь вздыхает, охает: скоро ли мужики-то наши немца-то перебьют?

Дальше кричат: «Бескрёстнова, Свистунов, Овчинникова, Суслов, Бродягина». Наконец-то, и нас выкрикивает. Бабка отзывается: «Здесья» и наказывает мне: «Держись за тётей Маней, смотри у меня, никуда не уходи». И передаёт мне драгоценные бумажки-карточки, а чтоб не вытащили, кладёт их в карман,вшитый внутри куртки, и прикалывает булавкой. Теперь я самый главный в семье Бродягиных. Стою, слушаю, что бают. Одна толкует, что у них в краю сразу три похоронки пришло: «Ох, горюшко». Вся очередь охает, у каждого своё горе.



— Пойду накормлю свою ораву. Вчерась заняла у соседки ковшичек гороху, разопрел поди...

Другая говорит:

— Попозжа приду, дед уж, наверное, приплыл с рыбалки, ушицу надо сварить.

— Тоже пойду,— говорит старуха слева.— Хотела юбку сшить из ситчика. Да мучка под-вернулась, обменяла на 2 стакана сеянки — завариху сварганю.

Знаю, это крутым кипятком из самовара мука заваривается, только всё время мешать надо, чтоб комочков не было. Вкуснятина — пальчики оближешь!

Кто-то причитает: ни крошечки в доме, ни крупинки, ни картошечки...

«Было полведёрка отрубей, сухариков мешечек, картошки на варево — всё ворюги утащили из чулана».

Это уходят задние очередные, которые знают, если и привезут хлеб, всё равно им не хватит сегодня.

Очередь решает: послать нарочных на хлебозавод, который находился на углу улиц Свердлова и Ретнёва.

Искупаться бы, позагорать. И берег недалеко, за пожаркой, но нельзя уходить, надо дожидаться посыльных. Идут посыльные, не торопятся, значит, нерадостную весть несут. Так и есть, сообщают, что хлеба сегодня не будет, муку не привезли.

Народ растекается по своим проулкам, и я отправляюсь домой, кишка кишке кукишку кажет, брюхо к позвоночнику прилипло.

Сегодня опять без хлеба придётся швыркать похлёбку. А, может, сухарницу сварганит бабка? Это еда из сухариков и лука, если было молоко, то маленько сухарница забеливалась.

Из окошка знакомый запах паренок из репы. А я вспоминаю, как бабка доверяла мне допаривать похлёбку из капустных, свекольных листьев, из дудок-перьев луковых, которые в стрелку росли. Подставлял лавочку к шестку и подгребал угли длинной кочергой под котёл.

Бабка наказывала: «Как на часах кукушка прокукует 12 раз, выгаскивай варево». Считаю — 12, захватываю ухватом и ташу по кирпичам печи на себя, поднять котёл ещё не хватало силёнок. Потом шёл в огород, звать дедку с бабкой. «Айдате, хватит робить, готова похлёбка!» Кормилец ведь я!

Утром опять побудка: «Вымой сурну-то и беги скорей на перекличку. Да ладом смотри на гирыки-то, а лучше тётю Марусю попроси, чтоб посмотрела. Дадут булку с привеском».

Давали на деда 700 граммов, а на нас с бабкой, как на иждивенцев, по 300 граммов ржаного чёрного хлеба.

Ребягня бежит, кричит: «Везут, везут!» Народ зашевелился. Кто с грудными детьми, устремляются домой за заменой. А мы, пацаны, старухи, старики, выстраиваемся друг за другом в линию и пятимся назад, пуская в ниши очередников. Пятились всё дальше и дальше от лавки, аж до пожарки. Передние крестятся на купола церкви: слава Богу за милость. Им хорошо, им-то хватит хлеба. Подъезжает телега; лошадьё управляет, как всегда, дядя Гриша. Он кричит: «Расступись, народ», и подпихивает телегу с ларем хлебным к приёмному окошку. Сегодня хлеба должно хватить всем, потому что за ларем ещё мешок из рогожи лежит. Открывается ларь, и аромат хлебный застилает всю улицу.

Приёмка хлебушка закончилась. Помощник дяди Гриши собирает ладошкой крошки хлебные и отправляет их смачно в рот. Возчик идёт в лавку для сверки с продавцом количества привезённого хлеба. А нам надо успеть выдернуть из хвоста лошади несколько волосков для рыбалки.

Пустой ларь уезжает. Думаю, хоть бы давки не было, хоть бы не лезли. Как бы не так! Появляются взрослые ребята, начинают оттеснять очередных. Что будет? Опять кому-нибудь кости переломают. А бывало и так: очередные выстраиваются в три-четыре ряда плотным кольцом, чтобы не пустить без очереди. Ребята снимают с себя рубахи, ботинки. И как только двери лавки открываются, они подсаживают друг друга, лезут по головам, а кто поменьше, попроторнее, прячется в старушечьих юбках и проскакивает в лавку. Начиналась давка. А когда её не было?! Всегда давка. Кто сильнее: или очередные, или ребята взрослые?! Кричат и те, и другие:

«Давни, давни!» И так всегда — пока не ворвутся в лавку ребята, очередь стоит на месте. А если трудармейцы нагрянут, то пока они все не отоварятся — очередные не пикни.

Стоим мокрые, платье прилипли к женским телам, рубахи хоть отжимай. У кого рукав порван, у кого — платье, мало кто останется с пуговицами на одежде, но зато все с хлебушком! Чернее чёрного подожжённая буханка. А корка верхняя отчеперилась от мякиша, как подошва от ботинка. Крепко держим в руках, чтоб не вырвали.

Однажды при входе в лавку пробка образовалась из людских тел: и ни туда, и ни сюда. Я возле дверного косяка оказался. Несладко было, думал, кишки наружу вылезут или косячки переломаются.

Кричат задние: «Давните ладом!» И вот «пробка» влетает в лавку, я ощупываю себя: всё ли на месте. Ног только своих не чувствую, потоптались на босых-то моих ногах. Ничего, отойдут, лишь бы хлеба хватило. В лавке набилось народу — дышать нечем: людской пот

густой. Хоть противогаз надевай. Закрывать бы ноздрюльки руками, но их выгащить невозможно: плотно зажаты мокрыми телами. Терпеть надо, во что бы то ни стало добраться до прилавка.

Наконец, продавщица подаёт мне булку и привесок граммов на 200, я с трудом выбираюсь из лавки и бегу скорее домой, зажимаю хлебную сумку крепко, чтоб не вырвали. По сторонам украдкой озираюсь, а если сзади вдруг услышу звук шагов, то ходу добавляю. По дороге съедаю привесок, угол горбушки один, ещё один — корочке, обгрызаю все четыре уголка.

Подхожу к дому чинно. Бабка в окне: «Кормилец идёт». Сколько радости-то — донёс до дома булку. Передаю бабке булку обкусанными углами вниз, чтоб дедка не увидел. Бабка качает осуждающе головой. Знает, что привесок был. Отрезает на середине ровно обкусанную часть, манит меня пальцем, достаёт из кармана фартука и суёт мне втихомолку. Заработал ведь. Выскакиваю в огород, по-быстрому проглатываю этот драгоценный кусок.

Садимся каждый на своё место. В середине стола — чашка с похлёбкой. Дед начинает хлебать, и мы с бабкой направляем свои деревянные ложки в общую чашку. Хлебаем молча. Дед стучит о край чашки: пора хлебать похлёбку с гущиной — картошка и немного зерна.

Всё, дедка с бабкой крестятся. Дед залезает на печь, бабка на середине устраивается на койку возле горки, чтобы в брюхе завязалось. Я — на улицу. Бабка вслед говорит: «Серёдка съта, и краешки заиграли». Так и есть — пацаны давно уже на улице.

А горе-то настоящее было впереди. Однажды очередь моя подходит к прилавку, я — в карман за карточками, а их нет. Булавка есть, а карточек нет, карман располосовали лезвием бритвы. С рёвом выхожу из лавки, иду, реву, никто не успокаивает. И только осуждающе говорят: растяпа, ты, растяпа.

Захожу в избу. «Почто без хлеба-то? — спрашивают дед с бабкой — Да не базлай. Чё случилось?» Заикаясь, сквозь слёзы еле выдавил из себя: «Карточки украли». Бабка всплеснула руками, уронила на лавку: «Ба, ба...» Хлопает себя по ногам. «Горюшко-то какое! Горюшко-то ка-ко-е...!». Думаю, конца и края не будет причитаниям. «Как жить-то будем? Карточки стащили! На месяц! Без хлебушка-то целых двадцать дней жить!» Дед воняет жжёной газетой, пуская едкий дым самосада. «Непутёвый. Это ты по головке-то его гладишь. Вот и догладила». Выходит, громко хлопая дверью.

А, была не была, сигаю в открытое окошко на улицу, к пацанам. Вот тогда первый раз и курнул я. Кто-то дал мне чинарик (окурок). Сижу на каменке, пацаны в чикку играют, а мне не до игры. Проболтался на улице до вечера, но спать-то идти надо. В темноте юркнул под одеяло с головой и тихонько подглядываю: что делается в избе. Другая уже изба — неуютная, бабка с дедкой по ней витают тенями, молчком. Чужой я для них, чужой. Да провались всё в тартарары! Хоть бы мамка приехала. Дед бабке говорит: «Пиши письмо в Свердловск, пусть мать его к себе забирает!» И лезет, кричтя, на печь, белеет кальсонами, и вот, наконец, лямки от кальсон скрываются за занавеской печи.

Голову высунул из-под одеяла, выдохнул горюшко, смотрю на русалку, нарисованную на ковре. Некрасивая русалка стала. И рубли мои, 33, висят пачкой коричневой на гвозде (дадены мне от постояльцев за работу мою). Да пусть дед с бабкой забирают. А как быть с тайником: битами, плашками, бабками, костяшками, мухами, чижиками? А! Спрячу на сарае...

Зовёт Лесовичок

Зовёт он в золотую осень, зовёт в природу-матушку родную. И знаю, что опят-то нынче нет. А он зовёт в опятные места, на тихую охоту приглашает. Долго убеждать меня не надо, лечу. За окном — благодать.

Да мне собраться — только подпоясаться. А может, сегодня повезёт: найду опят для фотоснимка.

Не грибовно нынче, а значит и не хлебовно. Когда быть опять — раньше-то народ определял по православному календарю. Страда опятная начиналась в августе, около дня Лаврентия Святого, а уж второй слой грибной ждали к Рождеству Богородицы. И вроде дождички тёплые прошли в сентябре, с Вишнёвых гор туманы начали сползать в ложбины, а опят как не было, так и нет. На мой взгляд, причина тут одна — холодные стояли ночи. А грибам нужен распар.

В каких местах я только ни бывал! И лишь одно «гнездо» нашёл в Елани на берёзе. В Урале на одном пеньке да на берёзе две семьи опят удалось сыскать.

Народ всё рыщет по лесам, и всё — напрасно. Кто найдёт несколько грибов на грибницу, считает счастьем. А сколько изрыто, поднято лесной подстилки, ворохами мусора лежит! «Грибник» озорничает, мягко говоря, уродует природу. Такому «грибнику» название одно — грабитель-трутовик.

Оторвана, избрана подстилка на лесной поляне, земля плешинной стала, блестит, как голое колено. Рёбра-корни берёзонки обнажены, торчат надломленные из земли. На кучах мусора лежат метровые костянки-плети, напрочь оторваны от генетической среды. Грибница с растениями и корнями деревьев ещё недавно в тесном соседстве жила, питательные вещества отдавали друг другу безвозмездно. Полнейший симбиоз в природе, и много лет общим столом питались.

Это грабитель-трутовик детскими грабельками поработал, чтоб несколько грибочков малых отыскать. Эх-ма, и сколько времени природе надо потрудиться, чтоб вновь закрыть израненную землю плодородной тёплой подстилкой! Невдомёк ему, что грибница, под мусором теперь лежащая, смогла бы людям отдавать свои дары ежегодно много лет в одном и том же месте.

Грибник-то настоящий каждый год на этом месте бывал и без грибов не уходил. Он знает, что к чему. Идёт в лесу степенно, осторожно. Увидал неровности в подстилке, бугорок ощупает, найдёт грибок, раскроет, покрутит шляпку гриба вправо-влево, освободит от грибницы, а лучше — осторожно срежет.

Грабителя, пожалуй, надо просветить об удивительном явлении природы, о жизни грибного царства. Гриб — мясистое растение без веток и без листьев, организм, крахмал содержащий, поэтому люди причисляют грибы к живому миру. В шляпках грибов — миллионы спор-семян, водой ли ветром, а может, птицей переносятся они в плодородную среду.

Частенько наблюдал я, как рождается грибница на лесном пне. Один лишь бог знает, когда попали споры на него. И давно уже сделался этот пень родовым «поместьем» для опят. Обычно в августе или в сентябре появляется слизь серая на этом старом пне у комля, и с каждым днём разрастается вверх по пню целая колония грибочков — одна семья. Через три-четыре дня — пупырышки прощупываются. А ещё через три-четыре дня пень будет кудрявым от молодых опят. Простая плесень вкуснятину рождает.

Чудо-плесень, без неё хлеба не испечь и пива не сварить, не изготовить сыра. Специально выращенная плесень служит для получения лимонной кислоты. В 1942 году у нас в России выращен из плесени пенициллин. Жаль, поздно вато учёные изобрели большой целебной силы антибиотик. Из-за отсутствия пенициллина тысячи людей ушли в мир иной, и мой отец ушёл из жизни скоростижно молодым, в 1939-м, а был бы пенициллин — пожил бы мой отец ещё на этом свете.

Чудодейственная плесень прорастает паутины нитями. Учёные называют это явление природы — мицелией, в простонародии — грибница. Большую площадь она занимает в гумусе, 30-50 сантиметров прибавляет в год во всех направлениях, растёт в два-три слоя и в благоприятный год богатый урожай грибов даёт. Тогда их собирают в июле, августе и сентябре. В сентябре — самый крепкий гриб.

В страдную пору на каждом старом пне, на упавшем дереве, на торчащих из земли корнях — ну хоть косой коси — опята! На вырубке приятный хруст слышится — это грибники опят собирают, на человека норма — круп-чаточный. Всё впрок зимой пойдёт. «Осень-запасиха, зима-подбериха». Чтобы спину привести в порядок, на дереве опят режу, бывает, на осине или на сосне, но чаще — на берёзах, на них опята крепенькие, толстенькие растут, крепыши...

УРАЛЬСКАЯ ЛИНИЯ

№ 2

Альманах

Литературно-художественное издание

Оформление и вёрстка В. Н. Курбатова

Формат 70×108/16.

Бумага офсетная.

Усл. п. л. 19,4.

Тираж 1000 экз.

Отпечатано с готового оригинал-макета

Подписано в печать 13.03.2014

Заказ №

ОАО «Челябинский дом печати»
454080, г. Челябинск, Свердловский пр., 60